

Ф. Кандель • НА НОЧЬ ГЛЯДЯ



Феликс Кандель
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ

Феликс Кандель

НА НОЧЬ ГЛЯДЯ

Роман

ПОСЕВ

Обложка работы Вадима Филимонова

ISBN: 3-7912-2008-X

© Possev-Verlag, V. Gorachek KG, 1985
Frankfurt a. M.
Printed by Polyglott-Druck GmbH

ДИНА И МАРИНКА

1

Кладбища наши — горе наше.

Кладбища наши — зеркало наше.

Кладбища — отражение неустроенной, наспех сработанной жизни.

Будто временно поселились тут в ожидании нового расселения. Будто пригорюнились покорно в тоске по затянувшимся переменам. Будто грезят терпеливо по жизни иной, заманчиво прекрасной.

Могила к могиле, памятник к памятнику, ограда к ограде: сбились в кучу пугаными овцами, учуявшими в кустах горлодера-волка.

Зимой — под снежным молчанием, весной да осенью — под грязью разлитой, летом — в травяном раздолье...

”Господи, прими дух ея с миром”.

Крест гнилой, к земле склонившийся. Глыбища мраморная с перечислением заслуг. Табличка жестяная с фамилией вкривь-вкось. Плита цементная с шестиконечником. Пирамида бетонная со звездой, с пропеллером от самолета. Крест из водопроводных труб в голубой масляной краске, увитый цветами бумажными. И еще глыбища, и еще табличка, и столик со скамейкой за мощной оградой, и холмик безымянный, бурьяном забитый, и липка из могилы проросшая, а на стволе сверху вниз, линючими белилами, буковка к буковке: ”Тоня Зото-

ва, 17 лет” ... Кем были, как жили, что о себе думали — все тут, на виду, на малом пространстве. И чванство прижизненное, и слава посмертная, и простота ненавязчивая, и горе показное, горе прожитое, горе каменное. ”Инженер-полковник”, ”Генерал-майор” , ”Лауреат Сталинской премии”, ”Искусствовед”, ”Экономист и литературовед”, ”Член КПСС с 1918 года” — пропуском, характеристикой, гарантией в привилегированный рай...

”Спи спокойно, сынок наш милый. Суждено так, видно”.

А по дорожкам — груды похоронного мусора, стебли цветов засохшие, остовы венков, дождем смытые, лапы еловые, розы бумажные, ленты поблекшие, фото безымянные, неведомо с каких могил, с глазами раскрытыми, пугаными, как у потерявшегося ребенка. И березки, тенью осеняющие, и воронье неумолчное на вершинах, и церковь погостная, досками заколоченная, и побирушка неприметная с цеплючим глазом, и бравые мужички-могильщики, глиной переляпанные, в ожидании неминуемого магарыча, и контора казенная с преискурантом на захоронение, и служительница снулая, равнодушием замораживающая, и каменотес-старичок в закутке, обалдевший от заманчивых предложений, а над всем этим — беда, нужда, обида и тоска, тайное облегчение и нажива...

”Господи, не суди мя по грехам моим, а суди мя по милосердию Своему”.

Зимой, на кладбище городском, завалы снега нетронутого, кресты по горло в пуху, камни с надвинутыми шапками, взгляд девчоночий с занесенной до глаз фотографии, будто тянет из-под снега голову, чтобы разглядеть вдалеке долгожданного гостя, и тропка, пробитая затейливо среди тесных могил, в ногах и по ногам, а на конце ее — камень,

прозрачной пленкой укутанный, цветок на снегу, морозом обожженный, чистота и уют. И вернее всего — горе стариковское, боль родительская топчут к детям дорожки частыми своими посещениями.

”Дочка моя, горе мое, тоска моя...”

”Мамочка — это конец...”

Летом, на кладбище сельском, полевом, буйство трав покосных по пояс, веселье птичье, ветры немолчные, а вокруг все опахано тракторами до крайних могил, и рожь наливаются рядом колосковой спелостью, или цветет клевер, или подсолнухи склоняют задумчиво тяжелые головы свои, и забредают порой стреноженные кони, да пробегает напрямки, укоротив путь, малышня деревенская, и полежать тут мягко, и погрузить сладко, и уходить отсюда нет желания.

А весной да осенью не ходи на кладбище: завязнешь, промокнешь, загваздаешься глиной липучей. Долгие в наших краях осени, и весны у нас — не дружные...

”Господи, да будет воля Твоя!”

А в праздники, а в дни уставные, приходят сюда родственники, усаживаются вокруг по-семейному, пьют и едят, и песни запевают, и мертвых поминают, и оставляют на прощание еду земную, да стакан граненый, на сук насаженный, — посуда для будущих поминаний, а кое-где и водочку льют на могилу: видно, уважал ее покойник при жизни.

А в будни, а в дни тихие, копошится одиноко невидная старушка, домовито и беспечально, пропалывает, подметает, наводит небогатый уют, будто в своем углу, и лист с дерева, опавший ненароком, долго тут не залежится, перелетит на могилу соседнюю, никем и никогда не прибранную.

А то соберется под кустиком компания мужская, расстелит газетку на плите, разложит закуску не-

хитрую вокруг бутылок, и кладбище им — не кладбище, и покойник — не покойник, а просто сторонний, безденежный наблюдатель, что не рассчитывает при дележе на долю свою сорокаградусную.

”Вечная память тебе, Петя!”

Рычат за леском самосвалы, рокочут в глубоком небе самолеты, голоса живые перекликаются в отдалении, а тут — зыбкий покой, нестойкая тишина, что взрывается порой медью оркестра, голосом оратора, стонами женскими.

”Счастлив, кто знал его!”

И за одним гробом — толпы нескитанные, горе половодьем, любопытство неутоленное, толкотня и давка, зависть и жадные подробности, а за другим — кучка редкая, слеза задавленная, стеснение и неловкость от случайных, впроброс, взглядов. Кто ложится под крест, кто под звезду, кто под одну фамилию. И затихает кладбище на время, и обвыкает новая могила, усыхая венками, ржавея металлом, исподволь зарастая сорной травой. А там, глядишь, новая медь, новые голоса да стоны женские... Рядом татарин, рядом армянин, рядом русский с евреем: загробный интернационал. Они уж и в Бога не верили, и молиться не молились, а лечь всякому охота посреди своих. Глядят с частых фотографий глазами ясными, давно сгинувшими, улыбаются открыто, хмурятся подозрительно, важничают значительно перед случайно любопытствующим, что бродит меж тесных рядов, читает надписи, вглядывается в лица, отсчитывает сроки их жизни. И позавидует одному за долгий его век, и посочувствует другому за чрезмерную краткость, и примерит свой год, и утешится, и огорчится, и пойдет весело прочь, отмахивая рукой, или побредет задумчиво, заново ощущая непослушное тело свое...

”Спи спокойно, мой друг! Ты уже дома, а мы еще в гостях”.

А в городе, в шумном безразличии, притулилось не к месту кладбище старое, умирающее, сдавленное с боков домами-исполинами, где не хоронят давно, а только ждут с нетерпением, когда же, наконец, отступятся живые от мертвецов своих, когда перестанут навещать, чтобы снести его поскорее да застроить по готовому уже плану. Сколько им ждать придется? Вечная память, — она на какой срок? А пока что ветшает кладбище, памятники земле кланяются, кресты деревянные трухой изошли, фамилий уже не разглядеть, и ворота узорные оббиты, как обкусаны, и заборы проломаны, дыры забиты горбылем да неструганными досками. И тут же, посреди всеобщего умирания, сетчатая ограда выше головы, плиты ухоженные, надписи четкие, скамейка покрашенная, ящик с инвентарем под амбарным замком, маслом смазанным от сырости, — обстроили могилу, как дом обстраивают: с хлевом, сарайчиками и амбарами, — и глядят хозяева с фотографий, как глядят из оконцев, глазами насупленными, недоверчивыми, на прохожего человека. Эту породу не переждешь. Эти от своих не отступятся. Этих — только выселять со скандалом...

”Дорогая, мамочка, вечный тебе покой! От любящих твоих детей — Шуры, Дуси, Маши, Мити, Пети, Томи, Сережи”.

”А жития ему было шестьдесят лет”.

А в пригороде, в дачном краю, распахнулось на версты кладбище-новостройка, полем продутым до горизонта: ряды ровные, дорожки укатанные, но по-старому — тесное, скученное, бараками перенаселенными на великой территории. То ли экономия места, то ли безразличие, а может сбились по прежней привычке пугаными овцами, учуявшими в

кустах горлодера-волка. И памятники тут стандартные, и ограды одинаковые, как разрешено-положено, но в нарушение единообразия — елочка новогодняя со стеклянными шариками, в изголовье воткнутая: звон-перезвон от шарика к шарiku...

”Спасибо, что ты была...”

— Ах ты, мерзавка! Тебя в милицию надо, в милицию!..

— Да кто ты такая? Кто ты?! Подумаешь, велика цаца...

— Я женщина больная, больная! Имею право на два места...

— Она больная!.. Мы, что ли, здоровые?

— Мерзавка, мерзавка, мерзавка!

— За мерзавку ответишь. Мымра толстозадая... Расселась на двух местах, и еще вякает.

— Я больная, больная! Мне врач велел...

— Больная — дома сиди, порошки глотай. Заткнула проход, а другим — по воздуху летать?

— Мерзавка, мерзавка, мерзавка!..

— Женщины, — сказала Дина, страдая, — ну что же вы? Вспомните, куда мы едем...

И голос из хрипатого динамика:

— Следующая остановка — кладбище.

Пассажиры зашевелились дружно, гурьбой полезли к дверям, доругивались напоследок, а она обождала в сторонке, пропустила всех, последней сошла с опустевшего автобуса. Встала у обочины, поправила белую панамку на седой голове, глядела, как бегут они через дорогу, к воротам, несут к мертвым обидную для тех поспешность, растрепанность, горячность: суетные, взбаламученные, неостывшие от ссоры, дороги и жизни. С давних пор приучилась она входить сюда подготовленной, успокоенной, проникнутой его состоянием, чтобы беседовать с ним на равных. Потому и готовилась

загодя к визиту, неделями молчаливая, от мира отключенная, а на кладбище долго бродила посреди чужих могил, обвыкала, настраивалась, чтобы подойти к нему покойно и отрешенно, чтобы сказать просто, обыденно, не вызывая зависти-раздражения: "Здравствуй, милый, вот я пришла".

Сбоку от ворот, прямо на траве, расселись торговки с цветами в ведрах, в кастрюлях, в буйных охапках, и тут же, с краю, скромно и пристойно, улеглись кучками на дерюжке морковка, петрушка, мелкая свекла. Шедшие туда, к мертвым, брали цветы, шедшие назад, к живым, — овощи.

Дина купила букетик гвоздик, подивилась в который раз гордой их стойкости, — хризантемы стареют неряшливо, гвоздики — благородно, с достоинством, — вошла в открытые ворота. Справа, у приплюснутого домика, толпились провожатые, растрепанная женщина обвисала на сильных руках, гроб в кумаче стоял на железной каталке, и редкая тень от резного облачка проскальзывала в последний раз по отрешенному лицу. Суетился в толпе распорядитель, деловитые музыканты облизывали мундштуки труб, малой кучкой переминалось в нетерпении начальство, и старый еврей на костылях, в ермолке, в широченных брюках трубами книзу, пыхтел шумно и обидчиво.

— Шапки надеть, — громко сказал еврей. — Гроб закрыть. Музыку отослать. Иначе я молиться не буду.

И стукнул об землю костылем.

Распорядитель шарахнулся к начальству, те отмахнулись с небрежением, и, будто по их знаку, охнули разом тарелки, басом вздохнул геликон, под нестройную грусть понесли по главной аллее венки, подушечки с наградами, крышку гроба, покатали каталку. Женщина, на руках обвисшая,

начальство особой кучкой, сослуживцы плотной толпой, и приотставший старик на костылях, и Дина — в панамке, с гвоздиками.

Скакнула из-за памятника бабуля — глаз сорочий, спросила, запыхавшись:

— Люди, как звать-то?..

— Моисей, — ответили из толпы, — Маркович.

— Господи, упокой душу раба твоего, Моисея, — запела, поспешая, выглядывая зыристо, протискиваясь к самой каталке, и пустой рукав у жакетки болтался сиротливо. — Господи, прими душу его на покаяние...

— Уберите женщину, — сказал еврей, окончательно отставая. — С Богом я буду разговаривать.

А она уж в первом ряду, рядом с женщиной, на руках обвисшей, растолкав начальство высокое:

— А ты поплачь, милая, поплачь, легче будет... Господи Сусе, Господи Сусе, Господи Сусе...

И закрестилась торопливо, вызывая косые взгляды начальства, испуг суетливого распорядителя, общее непохоронное любопытство.

Подошли к раскрытой могиле, растеклись вокруг по узким проходам, посреди оград и памятников, тесно утыканных, и бабуля — глаз сорочий в первом ряду, и Дина в сторонке, за деревом, щекой к прохладному стволу.

Вышел вперед ответственный мужчина и сказал без бумажки, на память, от души, словами, затертыми от частого употребления, а потому всем понятными, всеми одобренными. О заслугах покойного, о редких его душевных качествах, о памяти вечной, нестираемой временем. Кто пригорюнился, кто прослезился, покойник слушал внимательнее всех, стыл в неземной важности, и Дина вспомнила те, не столь давние, похороны, тягостную их ненужность, и загрустила искренне по человеку, которого

Уже нет, и по памяти, которой не будет, и по женщине, на руках обвисшей, и по самой себе.

— Спи спокойно, дорогой Моисей Маркович! Мы тебя никогда не забудем.

— Аминь! — заключила бабуля — глаз сорочий, чем и испортила официальную часть. — Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй...

Мужчина перемигнулся с распорядителем, тот рванулся к музыкантам, перескакивая через могилы, но тут приковывлял старый еврей на костылях, шумно отдуваясь, потребовал на ходу:

— Гроб закрыть. Шапки надеть. Музыку убрать.

— У нас общественные похороны, — сказал ответственный мужчина. — Не религиозные. Понимаете?

— Понимаю, — сказал еврей. — Я так вас понимаю, что вам делать нечего.

И ткнул концом костыля в ответственную ногу.

Прибежал распорядитель, запрыгал в возбуждении, зашептал, вытягиваясь на носочки:

— Старуха... религиозная... Воля матери...

Начальство отошло за дальние памятники, кое-кто потянулся за ними, озираясь тревожно и любопытно, услышав вдруг голос сильный, напев странный, слова чуждые, неуместные под небом этим, среди деревьев этих, могил и людей. Слушали, недоумевали, глядели во все глаза, — мурашки по спине, будто старик этот немощный, приткнувшийся на костылях, страстно звал кого-то на помощь, жаловался и объяснял, молил, укорял и снова молил. И вот уже умолкло враз воронье, дрогнули дальние кусты, примялась трава, и пошел издалека невидный караван — мимо могил, оград и людей. Шел караван путем своим вечным, многотрудным, нес на плечах старцев седобородых, красавиц смуглых, детей говорливых, юношей стройных — мертвецов народа своего. А поводырь ступал впереди

ногами натруженными, глядел упрямо вдаль глазами усталыми с веками набрякшими. Прошел караван мимо под напев гортанный, унес в дальние края заблудившегося сына, чтобы похоронить его в земле святой, в земле заповедной, Богом данной и Богом отнятой. Утихли кусты потревоженные, распрямилась трава, загалдело воронье: умолк голос — ушел караван...

— Аминь! — заключила бабуля — глаз сорочий и перекрестила гроб.

Потом была суэта прощания, вопли и стоны, толкотня с венками, и старому еврею кто-то из родственников сунул в карман деньги, а заодно и бабуле в протянутую руку, и потянулись все назад, малыми кучками, вразброс, и музыканты после работы побежали к автобусу, деловитые и озабоченные, и повели прочь женщину, на руках обвисшую, а она все оборачивалась назад к оставленному, брошенному, покинутому.

Старый еврей возле Дины пошуршал бумажкой, вздохнул, сказал, не глядя:

— Надо дать еще рубль.

И она дала.

Пошла было прочь, да застеснялась уходить с цветами, воротилась, положила гвоздики свои в общие охапки, сказала тихо:

— Слышь? Я к тебе заходить буду...

И по тропке, по аллейке, в привычную ей сторону, а рядом бабуля — глаз сорочий вдевает невесть откуда взявшуюся руку в пустой рукав жакетки, говорит с осуждением:

— Все-то у них, у евреев, не по-людски. И поплачут не так, и помолятся. Живут вроде по-нашему, а умирают по-своему.

— Вы тут работаете? — спросила Дина.

— Я тут живу. Старик у меня тут, а я при ём. На

ночь домой еду. — Сложила рубль вдвое, еще вдвое, еще и еще, упрятала в карман: — Я не прошу, не думай. Сами дают. На поминание. Утром в церкву пойду, свечку за него поставлю. Бог один, Он пусть и разбирается.

Шли они рядышком, подругами закадычными, ковылял следом старый еврей на костылях.

— Старик мой, — сказала с удовольствием и даже губы облизнула, — шустрый был. Эти-то, по зиме — квелые да утихшие, а он — шырк да шырк, шырк да шырк... Помирать начал, гляжу — обирается: Господи, Твоя воля, — я за попом! Врачи прискакали, укол сделали, смерть спугнули... Воротилась: он за столом сидит, редьку трескает, хлеб буханками наворачивает. Я ему: чего прихватился? Не ешь все-то, на потом оставь. А он: где оно у меня, твое потом? Помру — не доем...

— Давно схоронили? — спросила Дина.

— Девять годков. Мне бы за ним пора, — будет уже, загостилась, засиделась в бабках, да закон не велит.

— Закон?

— Закон. В его могилу через пятнадцать лет хоронить дадут. Вот и прикинь, сколько еще землю топтать, чтобы со стариком лечь. Век вместе отлежали, на одной перине: чего это порознь валяться?

— Будет вам, — сказала Дина, содрогаясь. — Говорите вы страшно.

— Эва, — отмахнулась. — Я продержусь. Срок за половину пошел. У меня мать до ста лет орехи зубами щелкала. Я в нее.

И побежала вбок по тропке, и оглянулась напоследок:

— Не бойсь! Я продержусь...

И сгнула за ближними оградами.

— А я нет... — подумала сразу. — Вон, сколько ждать!

И обидно ей, и безразлично, и завидно.

Пошла дальше по знакомой дорожке, узнавая по приметным памятникам нужные ей повороты, а в отдалении ковылял старый еврей на костылях, отставал заметно. По тропочке, по другой, в тесноту, в скученность, в нагромождение памятников и оград, где камень черного мрамора, портрет под стеклом, строгая, с достоинством, надпись: "Александр Аполлинариевич Горский. Писатель". Издали увидела глаза улыбочивые, ворот распахнутый, волосы копной трепаной, милую ямочку на подбородке: сердце прихватило в горсть.

— Здравствуй, Саша, вот я пришла...

Он умер давно, Александр Аполлинариевич Горский. Давным-давно, за много лет до похорон. Никто этого не заметил, никто даже шапки не снял: вокруг кишмя кишело такими, как он, шустрými мертвецами, — и потому долго еще томился, ждал формальной смерти, погребения, юридического оформления случившегося. Ждал долго — многие годы.

Он был писатель, Александр Аполлинариевич Горский. Писатель, которого мало кто знал. "Горский? Не помню... Горский? Что-то, вроде, слышал... Горский? А что вы написали?.." Но каждому не напомнишь, что ты написал, каждому не растолкуешь, как мучался при этом, каждому не вдобышь, как страдал от неудач. Плохо написать — это не менее трудно, чем написать хорошо. А ведь он не хотел, чтобы было плохо. Этого никто не хочет. Все хотят, чтобы было хорошо и проходимо. Остро и наверняка. Социально — и второе издание. Потрясение основ — и государственная премия. Правда

наотмашь — и прижизненный памятник. Но так еще ни у кого не получалось. Почти ни у кого.

У него было много книг, у Александра Аполлинариевича Горского. Толстые и потоньше, с супером и с цветными иллюстрациями, с портретом автора и с лестным о нем предисловием. Книг было много, с переводами на башкирский, казахский, литовский, книги гордо стояли на полке в его кабинете, плечом к плечу, от стены к стене, но не было среди них самой главной его книги, которая непременно обязана быть у хорошего писателя. Самая главная книга — это откровение и слезы, прозрение и боль, мудрость и понимание, чтобы утешились ею обиженные, раскаялись вероломные, обрели силы подвижники. Всякая очередная книга задумывалась как самая главная, но уже в середине работы надежды не оправдывались, мечты не сбывались, и надо было скорее кончать эту лабуду и тягомотину, обреченную на неминуемое издание, чтобы жадно наброситься на следующую, без сомнения, самую главную книгу. И опять разочарование, и опять надежда, опять и опять. "Я писатель", — говорил он с застарелой боязнью разоблачения, и чуткие собеседники улавливали эту боязнь, а он улавливал то, что они улавливали, а они — что он, а он — что они..., и не было этому конца, как не было конца запойной работе, любимой и проклятой, заманчивой и невыносимой.

— Здравствуй, Саша, вот она я, — и опустилась тяжело на привядшую траву, вытянула с облегчением ноги, спиной привалилась к деревцу, что росло в проходе. — Хорошо у тебя, дышится легко, толчки не давят... Посижу — в глаза погляжу. Несла тебе гвоздички, одну белую, две красных, да на могилу свежую положила. Не сердись, ему нужнее. Ему обвыкать еще...

Он не лгал в своих книгах, Александр Аполлинариевич Горский, нет, он не лгал. За это его уважали редакторы, чуткие к откровенной лжи, не желавшие чересчур мазаться в том дерьме, что валялось им на головы в рабочие часы. Но он и не говорил правду. Правду не перенесли бы те же самые редакторы, державшиеся за свои места, — "Что за глупая бравада! Кого вы хотите удивить?" — но правду не перенесли бы и неискушенные читатели, которые уже отвыкли от нее, жесткой, скрипучей и неудобной, как ложе отшельника. Потому он и жонглировал посередке, Александр Аполлинариевич Горский, ублажая стеснительных редакторов и извращенных читателей. Они все жонглировали посередке разрешенной полуправдой, виртуозы по части выискивания нейтральных тем, те, кто не хотел продаваться сразу и всласть, целиком и за большие деньги, те, кто продавался ежедневно и по копейкам. А к финишу они приходили к тому же, что и наглые, удачливо популярные, финишем им было бесплодие, благополучие и казенный некролог. А оправданием им было: "Лучше я с полуправдой, чем другой с ложью". А утешением им было: "Читатель этого хочет". А девизом им было: "Не надо быть бóльшим дерьмом, чем само дерьмо". А наказанием им было: едкая зависть к удачливым, обида на время, их породившее, тоска по самой главной, так и не написанной книге.

— Сколько с тобой не видались? — сказала. — Месяц целый... Дни — будто перелицованные. Вроде новые по утру, ненадеванные, а приглядишься — изнанка... — Помолчала, подумала, погрызла сухую травинку. — Ночью проснусь, по квартире хожу, место себе ищу. Чужая она, необласканная, который год живу: как поперек... Вот что тебе скажу: дом, где не было радости, не станет твоим домом.

Так, гостиница... Только цветы могут жить на любом месте: куда ткнешь, там и растут. — Подумала: — И то не все...

У него были удачи, у Александра Аполлинариевича Горского, долгие и несомненные удачи, которые страшнее любых неудач. Он издавался непрерывно, книга за книгой, и оттого ему завидовали, а не сочувствовали, его хвалили, а не жалели, ему подражали, а не сомневались в его искренности. Это все были признаки творческих удач, от которых не спасешься, которые подталкивают в спину постоянно и безжалостно. Каждая новая фраза, каждый поворот сюжета открывали перед ним многие пути, по которым можно пойти..., но писал он по договору, но аванс был получен и давно истрачен, но и работал он для того, чтобы напечатали, да и книга очередная не была для него самой главной его книгой, ради которой стоило идти на жертвы. Это было его ремесло — писать и печататься, и в конце каждой работы поджидала его новая заявка, новый договор, и только внешне еще казалось, что зависит от него выбор цели, потому что давно уже он был запрограммирован на неминуемую удачу. Зимой, в Тимирязевском парке, Александр Аполлинариевич Горский увидел однажды картину, которая его потрясла. Был кросс на десять километров. Бежали солдаты. В сапогах, ушанках, гимнастерках без ремней. Красные, потные, морозный пар изо рта. И позади всех — очкастый, сутулый, мертвенно белый парень, давно выдохшийся, в полубеспамятстве, бежал, выбрасывая как попало ноги, откинувшись назад, спиной зависая на подпирающих руках, а позади него дружно пыхтели два крепыша и деловито подталкивали в спину. Они гнали его к финишу, неживого уже, чтобы он не портил им общих ротных результатов. А он уже ничего не сообщ

ражал. Он и бежать не мог, и остановиться, и упасть замертво. Его гнала вперед внешняя, безжалостная сила к цели случайной и бессмысленной. И уважаемый писатель Александр Аполлинариевич Горский ощутил явственно на своей спине чьи-то настойчиво подталкивающие руки и жаркое собачье дыхание на затылке. Удачливым людям вредит богатое воображение...

Шла мимо невысоких оград баба пышная, рослая, силой налитая, в платье цветастом, с граблями на плече, будто весело возвращалась домой с дальних покосов, намахавшись вдоволь, нанюхавшись всласть травяных дурманов, пропотев насквозь и остужаясь на легком ветерке, на широком раздолье.

— Шурочка, здравствуйте! Сколько не виделись!

— Здорово, мать! — откликнулась. — Где пропадала?

— Я еще живая, — заторопилась Дина. — Живая еще... Ты не думай! Так, приболела чуть.

И полезла в сумочку за деньгами, за платой установленной. Чтобы следила Шурочка за могилой, прибирала, ухаживала, цветы по весне сажала. Всякий год, как истекал снег ручьями, торопилась она на кладбище, находила Шурочку незаменимую, совала деньги в карман, оповещала на будущее: "Я еще живая! Живая еще..."

— А я, — сказала Шурочка радостно, — в Кисловодске была. По путевке профсоюзной. Здоровье свое лечила.

— И правильно. Вам у нас болеть нельзя. Вам — здоровой быть. Вон, сколько на вас!

— Воду пила, — похвасталась та. — Ванны принимала. Кино смотрела. На танцы ходила. Ничего у меня не болело, а теперь и подавно.

— Вы, Шурочка, выглядите прекрасно. Цвет лица удивительный.

— Это уж я отмылась... А загорелая была: куда там! Даже сватался один, из желудочного санатория. Вы, говорит, Шурочка, созданы для меня. Я такую, говорит, всю жизнь искал, найти не мог. Вы где, Шурочка, работаете? Я и брякни: на кладбище. Сразу отстал...

— Вы, Шурочка, — попросила, — до снега приберите. Как в том году. Очень я вам благодарна.

— И не сомневайся, мать, пригляжу за твоим. Все мною довольны. Не ты первая.

Упрятала деньги в карман, вскинула грабли на плечо и пошла бодро, весело, отмахивая широко, ступая твердо, оглядывая с высоты обширное свое хозяйство...

А как он начинал! Ах, как он начинал! Он хорошо начинал, Александр Аполлинариевич Горский, дай Бог всякому. Свежо, наивно, просто и искренне. Он вырос в русской интеллигентной семье, с традициями, органической порядочностью, верой в справедливость, для которых читать было, что дышать, писать — что думать. Которые пронесли идеалы свои сквозь смуту и кровь, голодуху и жестокость времени. И глаза открытые, и сердце доверчивое, и милую, безвольную ямочку на подбородке — знак обреченности. Таких только и бить, таких только и гнуть, на шею садиться — только к таким! Сколько их осталось — наивных? Как им было выжить — доверчивым? Где они гниют теперь — искренние? ”Здравствуй, племя, младое, незнакомое...”

Он был ребенок, Александр Аполлинариевич Горский. Вечный ребенок, обреченный на неминуемые потери. Легкий характером, живой интересами, удивленный и взволнованный теми малостями,

которые для других — пустяк, банальность, в лучшем случае — снисходительность. Сначала выросли его сверстники и ушли от него. Потом набрались опыта редкие его друзья и тоже его покинули. И наконец, стали взрослеть его дети и отдаляться от него, один за другим, а он оставался ребенком посреди взрослых своих детей. Может, потому он так страстно их желал, чтобы продлить контакт с такими же, как он, удивленными и взволнованными, так горевал, когда они выросли, с таким нетерпением ожидал внуков! С годами росло общее непонимание, естественность его с годами воспринималась как причуды и чудачества возомнившего о себе гения, и он замыкался, он нехотя опускался на глубину, пока все они резвились на поверхности. И когда волей случая или по необходимости он всплывал в их верхние, бурливые слои, чувствовал себя неудобно, не на месте, как глубоководная, видом своим странная рыба. И долго ему на поверхности — гибель. И нету им хода внутрь. И в этом — его отличие.

— Устала я, Саша, — сказала она со вздохом. — Ходить устала, глядеть, слушать... Вот бы просыпаться через день! Люди вокруг толкучие... Они меня и не замечают — что я им? — а синяки остаются. Не снаружи синяки — внутри... Я уж ругаю себя, ругаю: сама, наверно, такая была, в молодости к другим толкучая. Сколько я синяков понаставила!..

Но они не оставляли его в покое, удачливые и практичные. Они в нем нуждались, благополучные и циничные. Он был им нужен, Александр Аполлинариевич Горский, вечный ребенок. Всякому было выгодно взять его в единомышленники, такого чистого и такого честного. Всякому было лестно похвастаться его расположением. Всякому было нужно, оторвавшись на миг от заволаживающей су-

етни своей, прикоснуться к его простоте, напитаться искренностью, приобщиться к естественности. Так, порой, шустрый прохожий, пробегая мимо церкви, встанет вдруг, как остановленный, задумается, с непокрытой головой несмело войдет внутрь, стеснительно приткнется у двери с острой тоской по обделенности. Постоял, поглядел, прикоснулся к их вере — и побежал дальше по неотложным своим делам. Потому они и приходили к Александру Аполлинариевичу Горскому, впивались в него жадными комариными хоботками, высасывали, торопливо насыщались тем, чего продолжала требовать их душа, тем, что давно и быстро растратили они в погоне за несущественным. И при нем они были уже другие, на себя не похожие: алчность и цинизм оставляли они на улице, подлость и обман — на вешалке. Он легко отдавал себя, щедрый, переполненный через край, и они это чувствовали на расстоянии, они налетали волна за волной и отваливались сытыми, пузатыми комарами, омытые и обновленные, до следующего нескорого посещения. Они ничего не давали ему взамен, да им и нечего было дать. Потому что все они были потребители, которые, высосав одного, тут же кидались на поиски следующего. Они его разворовывали по капле, оставляя комариные укусы, яд комариный, который жег беспокойством, запоздалой боязнью остаться опустошенным. Может, потому он полюбил широкие и толстые свитера-оболочки, неизменную свою одежду, куда можно спрятаться, может, потому и носил длинные пальто, застегнутые наглухо, и шарф до подбородка на случай возможной встречи на улице. Но спасения от них не было. Не было ему спасения ни в пальто, ни в свитере, ни за запертой дверью, потому что не только они — он сам себя разворовывал. Но это он понял потом.

— Соседка моя, смешная старуха, — ты и не помнишь, поди? Вчера говорит на лестнице: "Может, и живу для того, чтобы моя собака радовалась моему приходу". А у меня и собаки нет... У меня зато — Маринка. Заберемся в кресло, накинem один платок, шушукаемся — тараканами запечными. Иной раз тошно, сил нет, а надо, Маринке надо: она спрашивает, а я отвечать должна. Про тебя спрашивает. А что я знаю про тебя? Хорошо мне при тебе было: вот и все мое понимание. А она: отчего хорошо, да почему, да как?.. Книжки твои читала, все подряд. Поняла? — спрашиваю. Поняла. А что поняла? Молчит. Думает. Она думает, а мне боязно. Мне за нее боязно...

По утрам он никогда не сомневался. По утрам он был полон уверенности, которой хватало, чтобы дожить до обеда. С обеда он начинал сомневаться. Жизнь давала тому поводы. Жизнь врывалась к нему телефонными звонками, газетными полосами, радиопередачами. И к ужину он уже не верил в себя совсем. К ужину накатывало тягостное состояние непоправимого, ошибочного, бессмысленно сработанного. Было тошно, муторно и погано от разговоров, мыслей, табака. Но за ночь по капле заполнялся резервуар, скрытый родник журчал успокоительно, и к утру он был полон уверенности, которой хватало ему до обеда. И так продолжалось годами. Он привыкал к жизни, Александр Аполлинариевич Горский, он ей поддавался каждой строкой, каждым поворотом сюжета и выбором темы. И вот родник его стал иссыхать, давал порой перебои, его заваливало мусором полуправд и хламом оправданий, и бывали уже случаи, когда он просыпался такой же неуверенный, как и засыпал. И даже еще больше. Каждая новая книга на полке вставала оправданием и немым укором, каждая хвалебная

статья прибавляла ему уверенности и сомнения, и надо было все чаще и чаще подпитываться признанными удачами, как язвенник подпитывает себя ежедневно, чтобы не болел желудок. И когда вставал после работы, спрашивал себя у зеркала: "Кто ты сегодня: гений или дерьмо?" И отвечал честно: "Дерьмо. Я дерьмо". Или: "Гений. Сегодня я гений!" Но было так — редко.

Вслед за сомнением пришло к нему оправдание. Оправдание, которого следовало ожидать. Не убежденное и значительное, но суетливое и раздражительное от мелких укусов совести, изобретательное и высокомерное в спорах с самим собой. Ему не дано было власть насладиться оправданиями, ему не дано было уклониться от царапавших душу сомнений, как не дано избавиться от милой и безвольной ямочки на подбородке — знаке обреченности. Проклятая наследственность. Интеллигентская порядочность. Папа Аполлинарий вбил на века... Он уже искал причины вне себя: "Когда ничего не разрешают!"; он уже уходил из дома, где жили воспоминания о нем, вчерашнем, где глядели на него свидетели его превращения, чего он, настоящий, не мог им простить. Он уходил туда, где знали его только сегодняшнего, возвращался назад, не прижившись, и снова уходил. Многие его коллеги вокруг менялись непрерывно квартирами, мебелью, женами. Многие бежали от места и от свидетелей, а надо бы — от себя... В писательской поездке по пограничному округу их привезли как-то на отдаленную заставу, показали вышки, собак, нейтральную полосу, три ряда колючей проволоки, вправо и влево до бесконечности. "И так, — гордо сообщил сопровождающий, — по всей нашей границе, безразрывно, замкнутой линией". И почтенный писатель Александр Аполлинариевич Горский зримо

представил себе эту всеохватывающую проволоку, вышки, собак и себя внутри. Творческим людям мешает богатая фантазия...

— Красавица, а красавица! Удели минутку.

Дина подняла непослушную голову, повела вбок глазом:

— Вы это мне?

— Тебе. Кому же еще?

Вышел из-за дерева косматый, буйнобородый старик в затертых джинсах, в куртке на молнии, с шальными, хулиганистыми глазами.

— Муж?

— Муж, — согласилась. — Мой муж.

— Мы с ним соседи. Через две могилы — моя.

Дина охнула, выставляя вперед руки, а он встал рядом, хохотнул с удовольствием:

— Не пугайся, красавица, я еще живой.

Был он ловкий, подвижный, высматривал озорно и весело, будто молодой парень напялил на себя седой парик и чуть сгорбился.

— Говорите вы странно, — с опаской сказала Дина. — На кладбище так не шутят.

— Будет тебе! Сама-то чего делала?

— Рассказывала... — созналась. — Живой был — все ему рассказывала. Как теперь отвыкнуть?

— Умница, — похвалил дед. — А мне станешь?

— Вам — нет.

— Обидно... — запечалился. — Ты придешь, новости выложишь, а мне и не слышно. Я на ухо туговатый. Через две могилы не разобрать.

— Уходите, — попросила Дина. — Вон, кладбище какое огромное: мало вам места?

— Куда это — уходите? — возмутился. — От своей могилы не уйдешь. Зря я место выбирал, что ли? Березка в изголовьи, березка в ногах. Пойди, сыщи

лучше. Да и на памятник деньги истрачены. Слушай! — закричал. — Ты говори громко, в полный голос, я и услышу! Новости всякие, истории, слухи... Ты говори: я страсть какой любопытный!

Дина натянула панамку на голову, — так, вроде, построже, сказала сурово:

— Что вы хотите, гражданин?

— От, непонятливая! — завопил дед, а глаза хулиганистые так и скакали озорно на заросшем лице. — Тебе что, на пальцах объяснять? Пошли — покажу.

— Никуда я с вами не пойду.

А он уж подхватил ее за плечи, приподнял, подтолкнул по тропке:

— Пойдем, красавица, пойдем... Сейчас все поймешь.

Через две могилы насыпан был аккуратный холмик с ухоженным цветником, с мраморной дощечкой и двумя березками: одна в изголовье, другая в ногах.

— Ну! — сказал победно. — Читай.

Дина прочитала: "Афанасий Петрович Курочкин".

— Вслух читай!

— Что вы командуете? — возмутилась.

— Эх, молодежь пошла обидчивая! Афанасий Петрович — думаешь кто?

— Ничего я не думаю.

— И зря. Я это, поняла? Я — Афанасий Петрович Курочкин. Вот он, перед тобой стою.

— Я пойду, — сказала Дина. — Мне пора. Меня дома ждут.

— Ну, куда ты пойдешь, куда? Я это, я, и могила моя. Сам себе заранее холмик насыпал, ясно тебе? И цветочки, и плиту мраморную... Очень мне это место показалось. Год целый выбирал...

Дина недоверчиво улыбнулась, сказала еще растерянно:

— Разве можно так?

— Можно?! — дед захохотал, содрогаясь, космы на голове запрыгали в беспорядке: — Да я не спрашивал ни у кого! Тут прогалинка была посреди могил, пустое место... Я и соорудил сам себе. — Склонился к ее уху, зашептал в азарте: — Я уж и землекопам деньги дал. Придет время — они все сделают.

— Ловко... — похвалила Дина. — Если, конечно, получится.

— Получится, — сказал твердо. — У меня получится. — Ухмыльнулся в бороду, сощурил глаза: — А и не получится — что за беда? Пока живой, приятно мне знать, что в хорошем месте лежать буду. А помру — вот уж забота! Делайте себе, как хотите. Мне плевать!

— Минуточку, — сказала. — Если плевать, зачем же я буду вам рассказывать?

Дед даже руками развел:

— Ну и тупая же ты, красавица! Зачем могила эта, затем и рассказывать. Мне-то теперь приятно знать. Лежу себе в хорошем месте, в приличной компании, посреди двух березок, и новости твои слушаю... А?!

И опять захохотал, тряся космами.

— Знаете... — сказала Дина. — Мне тоже будет приятно. Я говорю, а меня двое слушают. Только... — запнулась. — Я вам не все буду говорить. Свое — шепотом, новости — громко.

— Это конечно, — согласился. — Это пожалуйста. Что для него, то для него. Договорились?

— Договорились...

— Ну и ладно. Бывай, красавица.

И пошел прочь, ступая часто и пружинисто.

— Извини, — крикнул, — что с наскака. Уж я такой! Что втемяшится: вынь да положь. Озорник.

Выдумщик. В каждой избушке — свои игрушки.
— И хорошо.

Проводила его взглядом, махнула чуть на прощанье, пошла назад, на прежнее место, спиной привалилась к стволу:

— Ой, Саша, и не поверишь...

Так бы он и жил, Александр Аполлинариевич Горский, так бы и процветал в мучительном благополучии, поедом выедавая самого себя, да случилось событие, вроде непримечательное, результаты которого трудно было предположить. Они переехали в другой дом. Они переехали в новый дом, потому что в старом ему стало тесно, мешали дети, мешал шум бульварный, мешало многое другое, не имевшее отношение к дому, в нем самом заключенное. Наверно, уже тогда он был болен. Возможно, его следовало лечить. Очевидно, сам переезд на новое место подтолкнул психику. Но как распознать болезнь духа у столь удачливого писателя? Что может насторожить в такой благополучной судьбе? Сомнения? Так у кого их нет! Неудовлетворенность? На то он и творец. Вечная тоска по ненаписанному? Залог будущих удач. На все было свое оправдание, и в каждом оправдании — зародыш новых сомнений... Они переехали в новый, удивительный дом, в котором жили одни писатели. Левые и правые, славянофилы и западники, удачливые и непризнанные, богатые и нищие, враги и единомышленники — в одном подъезде, на одной площадке, на общих лоджиях, дверь в дверь, стена в стену, пол к потолку. Любая кухонная ссора могла перерасти в нескончаемый творческий конфликт, бытовая неурядица — в принципиальное расхождение позиций, личная неприязнь от вынужденного общения — в групповщину и фракционизм. Они жили в доме писателей.

Застолья до полночи. Шатания по улицам. Набеги к сонным соседям за бутылкой водки. Косые взгляды из чужих домов. Споры и крики. "Курей нажрут, — судачили поутру домработницы, — и гур-гур-гур, гур-гур-гур..." Критик-всезнайка, несносный говорун, будто перхотью, обсыпанный слухами. Литературная дама с неизменной сигаретой, невыносимая в радикальных своих суждениях. Признанный поэт-кликуча с мятыми листками стихов и пузырьками пены в углах рта. И неподкупный редактор с волчьим аппетитом, которого приглашали постоянно, потому что он брал взятки едой. И смазливая филологичка, обезумевшая от богемы и от необходимости всякое утро просыпаться в новой постели. И прыщавый отрок в углу комнаты, примеривающий свой путь в искусстве. И запойный юморист, беспощадный сатирик, который приходил незванным и гордо обличал еще необличенное. И совсем уж темная личность, работник аппарата, секретариата, неизвестного ведомства, которого откровенно боялись пускать в дом и еще больше боялись не пускать. Гур-гур-гур... Гур-гур-гур... Они жили в доме писателей. Круглые сутки его жильцы сидели за столами и печатали на машинках. Стук стоял слитный и однообразный, напоминающий неумолчный шум затяжного осеннего дождя. Кому нечего было печатать, тот бил по клавишам просто так, чтобы соседи не подумали, что он в простое. Кому надоедало бить вхолостую, тот лежал на диване с подушкой на ухе, чтобы не слышать, как его обходят. Зависть и подозрение, обида и ненависть! И приемник приятно запустить на полную громкость, и молотком шарахнуть по стенке, и дверь садануть в подъезде. Чтобы они, писучие, вздрогнули. Чтобы у них, безостановочных, перо выпало из рук. Чтобы они, неумные, враз

позабыли все, что придумали... Они жили в доме писателей. Ночью, с улицы, раздавался истошный крик: "Все равно напечатаю роман! Все равно!.." Потом удары, вопли, писк, и опять: "Все равно напечатаю!" Сонные писатели с ненавистью вглядывались в темноту. "Все равно напечатаю!.." Интересно, о чем? В каком издательстве? С авансом или без?.. Они жили в доме писателей. Порой бурлило по этажам слухами: кто-то, отчаянный и отчаявшийся, перекидывал через оградительную сетку крамольное детище свое, обреченное на забвение в письменном столе, печатался за границей, и поднимался шум, вой, зависть вскипала через край, гнев и осуждение, и вслед за тем незамедлительное отлучение от издательств и домов творчества, от особой поликлиники и ресторана в доме писателей, пристальное внимание и опека, доносы и слежка, и иностранцы-посетители, и дежурные черные машины с востроглазыми топтунами под окнами, и освещители-лифтерши, про которых шутили однообразно и с унынием: сержант Глаша, лейтенант Аня, майор Марья Фоминишна... Они жили в доме писателей. Неожиданно умолкала чья-то машинка: человек уходил из дома. Кто в окно, кто в петлю, кто — дуло в рот... Инфаркты и инсульты не в счет. Вот тебе поставили клетку и узкий сетчатый коридорчик, и ты с разбега врываешься внутрь, молодой и горячий, гордый и неповторимый, диким, необузданным зверем, — ты опрокидываешь приготовленные для тебя тумбы, отшвыриваешь трапецию, раскидываешь по сторонам круги и катушки. Но что тебе делать тогда в тесной клетке? Рычать и бить лапой по сетке? Грызть зубами железо? Дремать в мудром презрении? А время уходит, а жизнь не останавливается, и есть хочется — вкусно поесть, и пить хочется — сладко попить, и апло-

дисменты не помешали бы, и звери в соседних клетках давно уже выполняют за сахар и под музыку несложные свои упражнения, которые ты, конечно же, выполнил бы лучше..., и тогда ты от безысходности придумываешь свою, неповторимую расстановку тумб, и трапецию перевешиваешь по-иному, и круг сдавливаешь в эллипс, и на катушку ставишь катушку. И вот ты уже прыгаешь с тумбы на тумбу в оригинальной последовательности, и на трапеции повисаешь головой вниз, и сигаешь через горящий эллипс, чего никому до тебя не удавалось, и балансируешь на двух катушках. Ты, гордый и исключительный, удивительный и своеобразный! Ты даже сахар даешь сам себе, после особо удачного трюка, потому что унижительно для тебя — для тебя! — брать его из чужих рук. Вкусный, хрустящий сахар, который не переводится уже теперь в твоей кормушке. И вот уже гремят аплодисменты — признанием твоих заслуг, толчком к новым свершениям, но со временем к тебе привыкают, в каске залеживаются непроданные на тебя билеты, а публика валом валит на новый спектакль, к несомненному гению, что наловчился прыгать через два горящих круга на катушку. И ты остаешься в клетке, укрощенный самим собой, с сахаром, но без аплодисментов, со свободой творчества, но и с обязательными теперь тумбами, с едким сожалением об упущенном и с непременным желанием сотворить сногшибательный трюк. Чтобы удивить всех. Чтобы доказать и возвыситься. Но нет у тебя новых шансов, нет уже и выхода обратно, кроме как через казенный некролог, или — вдруг — взрывом озарения: головой об тумбу, в круг, в петлю, в окно, дуло в рот...

— Сентябрь, — сказала с сожалением и оглядела листву зеленую, сочную, с мазками желтыми, кое-

где. — Скоро грязи тут будет, снегу навалит, холода пойдут... Ты не скучай. Лежи давай, жизнь нашу вспоминай. Других тоже вспоминай, я не в обиде... — Закашляла, отвернулась, сердито потерла глаза: не любила она плакать, не любила, когда он видел ее слезы. — Я знаю, чего ты в них искал. Ты меня искал, другую, разную... Разве на это обидишься? Только в первый раз испугалась — ты меня прожил. А потом поняла... Оттого и отпускала беспечно, принимала назад с радостью. Ты говорил: "Я пришел, Дина". Пришел — и ладно. Для меня ты и не уходил... Ты вспоминай давай, все вспоминай, что прожито, ни от чего не отворачивайся. Ты вспоминай, тебе есть чего...

Они переехали в дом писателей, и Александр Аполлинариевич Горский с первого дня ощутил некое неудобство. Неудобство — не более. Можно было свалить вину на обживание, на привыкание к месту и к людям, можно было оправдаться тем, что невозможно сосредоточиться под вечный стрекот чужих машинок. Короче, ему расхотелось работать. Слишком много вокруг было пишущих, и немолчным шумом работы своей они отбивали всякую охоту: до лучших из них не дотянешься, к удачливым не опустишься, так зачем тогда все это, какой смысл? Он уходил с блокнотом в Тимирязевский парк, забивался в кусты, в самую глухомань, но и там не было желания взяться за карандаш. Он уезжал в дом творчества и через месяц возвращался без единой строчки. Он запирался на недели в своем кабинете и бездумно глядел в потолок, как в чистую страницу. Вставала перед ним неясная проблема, некий несформулированный вопрос, на который непременно следовало ответить. Причем, мучал его не сам ответ, — он знал, что ответ появится сразу, — мучал вопрос, которого он

пока не знал. Вопрос вопросов, над решением которого и думать не надо: только сосредоточиться и задать его самому себе. Но сосредоточиться он не мог. Все мешало ему, и вещи в первую очередь. Он их убирал, переставлял, клал на место. Это была неравная борьба, обреченная на проигрыш. Только он уставал и складывал руки, а они уже окружали его, уже лежали кучками и поодиночке в самых неподходящих местах. Он запихивал вещи в шкафы и в ящики, с глаз подальше, но и там, невидимые, они мешали ему своей неупорядоченностью и явной ненужностью. У него уже был пустой кабинет. Чистый стол, кресло, полки без книг. Потом он избавился и от полок. Чтобы сосредоточиться на главном, задать себе основной вопрос, на который незамедлительно придет верный ответ. Но как сосредоточиться, как?! Его раздражали уже не порядки. Пятно на полу, лопнувшие обои, трещина на потолке, и он вечно чего-то приклеивал, прибивал, тер и подмазывал. Он суетился до изнеможения, но не порядки не уменьшались, они нагло лезли в глаза, будто потешались над ним. Не порядки были дома, на улице, везде. Даже природа со временем стала не так строга, даже природа, которая никогда его не подводила. Сломанной веткой, потрескавшейся корой, пожухнувшим листом. Он был уже болен. Он был серьезно болен, Александр Аполлинариевич Горский, в поисках невозможной гармонии, которая одна лишь способна выстроить четкий и однозначный вопрос. В то время он почти не разговаривал. Он даже не здоровался с соседями. Он проходил по улице, уткнувшись глазами в землю, невольно подмечая выбоины и трещины на асфальте, вздрагивая от громких чужих слов. Все вокруг было пошло и нестерпимо, вокруг и внутри него. Можно избавиться от банальных слов.

Но как избавиться от банальных мыслей?.. Он давно уже ничего не писал. Он с омерзением отворачивался от старых своих книг, которые все еще переиздавали. Он даже не читал других, чтобы не раздражаться понапрасну. Приводят к тебе писателя, будто под конвоем: предисловие спереди и послесловие сзади. От этих предисловий-послесловий начинались у него приступы удушья. А еще ему навязчиво снился юг, море, Бердянск, открытая эстрада, театр оперетты лилипутов, крошечная и писклявая Сильва, карликовый и высокомерный Бони, низкорослый, вразной, кордебалет, потерявшийся на малой сцене. Днем они загорали на пляже, всей труппой, и среди них — два брата и сестра, лилипуты, и их мать — полная, крупных размеров женщина. Дети укладывались рядком после купания, поперек обычного махрового полотенца, вторым полотенцем она покрывала их сверху, а сама садилась под грибком, вязала безостановочно крошечные свитера, охотно и беспечно рассказывала любопытствующим о себе, о муже-великане, о детях-лилипутах. Чем они его тогда зацепили? На какие навели мысли? Он помнил только свое волнение, безумное желание вникнуть и разобраться. Карликовая жизнь? Театр кукольных человечков? Великан, породивший пигмеев?.. Он записал этот факт в записную книжку, впрок, про запас, как записывал многое, никогда потом не пригодившееся, и со временем смысл записи потерялся, ощущение выветрилось и пропало навечно. Только внешнее дано было ему помнить: юг, море, Бердянск, театр оперетты лилипутов... Пришел из парка, достал грудку записных книжек, порвал, не проглядывая, обрывки спустил в унитаз. Вдруг, он почувствовал острую заинтересованность к другим людям. Они стали его волновать и трево-

жить. Они включились в его жизнь, и без их участия он уже не мог прийти к верному решению. Ему стало казаться, что другие люди — это тоже он. Он чуть не умер от страха при виде старушки, чудом вынырнувшей из-под грузовика, явственно ощутив удар в бок, хруст костей, тяжесть рубчатого колеса на теле. Он закричал в ужасе на всю улицу, когда на прохожего навалились с кулаками пьяные мужики, почувствовав на лице их зловонное дыхание, липкие пальцы на горле, слепую, дурную злобу. Он задохнулся горловой спазмой, натолкнувшись на девочку, что бежала вприпрыжку с кислородной подушкой, и глядел вслед, обмирая, хватая неподатливый воздух посинелыми губами, как тот, неизвестный, которому и предназначался этот кислород. Он болел даже за собак. Он дрожал за их — за свои — беззащитные ноги, которые так легко отдавить в уличной толкотне. Даже голуби его беспокоили. Голуби, топтавшиеся на карнизе и заглядывавшие в окно, когда он ел. Кусок не лез в горло! Даже стакан, обычный стакан на краю стола, мучал его своей беззащитностью. Стакан мог упасть с высоты, и он физически ощущал вечное предчувствие падения, холод в сердце, комок под горло, удар и брызги осколков. Он прямо извелся от тревоги, потому что вокруг него было много его самого. Он проникся их бедами, он исчезал сам, заваленный и задавленный горами чужих судеб, он не хотел быть ИМИ, окружающими, но он не мог уже ИМИ не быть. Он ИМИ стал. "Все, — сказал. — Я теперь всех понимаю". И сопротивляться нечего. И спорить. И биться в поисках выхода. Только — идти сдаваться...

— Все думаю, — сказала тихо, — как мы с тобой прожили? Хорошо или не очень? Были у нас дни — ни у кого таких не было. Были минуты — другим

и во сне не приснятся. Сколько у нас с тобой мест на земле! наших, ничьих больше... Одни Патриаршие чего стоят! Очень уж скоро все кончилось... Жизнь, подлая, уходит неслышно, на кошачьих лапках. Ты говорил так, твоими словами живу, прежними... — Сняла с головы панамку, затеребила пальцами, обрывая поля: — Скажу тебе такое, чего не говорила прежде... Не хотела признаваться, да ладно уж: дура была — ничего не скрывала, душой и осталась. Мало мне тебя. Не насытилась за годы. Работа все забирала. Когда женщины — не так обидно... А тут... Зачем ты писал? Ну, зачем? Книжку какую ни открою, все наше с тобой, секретное, другим напоказ... Не для них прожито. Не сердись, больше не буду... Будто жил со мной, чтобы писать было о чем! Все, прости дуру старую... Будто нас обоих в обложки загнал, и не выберешься! Ты не слушай меня, не слушай, это я так... — И заплакала, не отворачиваясь, частые слезы потекли на подол: — Зачем ты ушел? Плохо — я бы утешила... Сколько я тебя утешала за жизнь за нашу? С кем мне теперь быть? На кого молиться?.. Нечестно так-то... Незаслуженно...

Был ливень за окном. Потоки воды. Пустая улица и асфальт в пузырях. Посреди мостовой шла босиком по лужам, в блаженном изумлении, беременная женщина. Мокрое платье обтягивало тугой живот, длинные волосы облепили лицо и плечи. Шла, счастливо улыбалась, несла в руках туфли. "Приведите ее! — закричал Александр Аполлинариевич Горский. — Сейчас же ко мне!" И привели к нему беременную женщину — пузо под подбородок. Усадил за стол, налил чаю, сам сел напротив, глядел, утихал беспокойством. Даже пошутил: "Приходите ко мне почаще". И умиротворение сошло на него. Краткое, быть может, на считанные часы. Малая пе-

редышка, за которую он успел сосредоточиться и понять. Какое нам дано в жизни спасение от страха вечного падения с края стола? Само падение. Осталась на обоях торопливая надпись, поперек, красным фламастером по маленьким клеточкам: " ... и закрывается насовсем последняя страница книги..." Осталась от него одна только фраза, неизданная, неотредактированная, не пропущенная через частый гребешок цензуры: " ... и закрывается насовсем последняя страница книги..." Не издавать же ее отдельным изданием, с предисловием и комментариями. Только выбить на памятнике, внизу под портретом: " ... и закрывается насовсем последняя страница книги..." Ты давно уже добился такого состояния, когда никто тебе не нужен. Еще одно усилие — и ты не будешь нужен самому себе. И ночью он выбросился из окна...

— Пора мне, — сказала. — Сегодня день такой. Мальчики мои придут. Я уж калачи купила, масла вологодского, вина бутылку... Год не видались.

Встала с трудом на затекшие ноги, пошатнулась, руками ухватилась за ствол.

— Ну так что, — сказала. — Живу, милый, я еще живу. Ты не обижайся: кому-то жить...

А уйти — сил нет. Шаг назад, и то через боль.

— Я приду, — сказала тихо. — Ты жди. Грязь — ничего... Сапоги куплю резиновые, с шерстяными носками — тепло...

Уходила — пятилась, глядела неотрывно на фотографию: глаза доверчивые, улыбка веселая, волосы копной трепаной, и ворот распахнутый, и ямочка на подбородке...

И ограда железная все перекрыла.

Маринка с утра распелась, развеселилась: стих нашел. Ходила по квартире расхристанная, нечесаная, беззаботная, давила пятками пол: плечи назад, пузо вперед. Швыряла вещи куда попало, возила за собой стулья для шума и грохота, а на люстре-плафончике уже повис розовый лифчик — символ свободы.

Родители улетели вечером. Только прибежали с работы, похватили чемоданы — и на самолет. Чтобы дня отпуска не пропадало. Раньше всегда вместе ездили: одну от себя не отпускали, одну дома не оставляли. А теперь чего ж? Теперь бояться нечего. Пятый месяц. Всем на обозрение. Куда ее, такую, на пляж выпускать? Ни один купальник не налезет. На прощанье стали целоваться: мать накричала вдруг, наговорила всякого, видно, долго копила-прятала. Маринка слушала, не возражала, только пыхтела обидчиво, но в дверях не утерпела, спросила ехидно:

— Ты когда меня рожала, тоже разрешение просила?

Мать захлопала крашеными ресницами, захлебнулась возмущением:

— Она еще сравнивает!.. Да я замужняя была, замужняя!

— И я буду.

— Это ошибка была с твоим отцом, ошибка! Я потом расплачивалась...

— И я буду расплачиваться.

— Зато мы теперь как живем! Мы прекрасно живем! Игорь, скажи ей.

— Чего говорить? — буркнул Игорь и поволок чемоданы в лифт. — Так не видно?

— Откуда ты знаешь, как мы будем жить? — завопила Маринка. — Может, получше вашего.

— Пока не заметно.

— Тебе не заметно — мне заметно! — орала Маринка в открытую дверь лифта. — Я, может, нарочно наоборот сделала! Сначала детей нарожаю, а уж потом замуж пойду!

— Всё?! — яростно спросила мать.

— Всё.

И они провалились в бездну...

Маринка налила воды в ведро, шмякнула туда половую тряпку, поволокла, плеская, на кухню. Она возила тряпкой по линолеуму, не особо стараясь, а потом разогнулась, отдуваясь, глянула в окно и застыла горестно.

Так и стояла с тряпкой в руке, глядела, наливалась слезой.

И мокрый пол уже подергивался просохшими проплешинами...

Они сидели на трубе у бойлерной, петухами на насесте: Пашка Апресян и крохотный, тонкорукий Шкалик с лицом и фигурой доходяги-дистрофика. Сидели, молчали, сплевывали по очереди на асфальт. Другие ребята кучкой топтались в отдалении, лениво соображали, на что бы убить субботу. Денег ни у кого не было, желаний особых тоже, но больно уж небо над головой развернулось ясное да глубокое, может, последние благодатные деньки, и тянуло куда-то, утягивало со двора, от привычного безделья, а куда — словом не выразишь.

-- Ух, — сказал Шкалик мечтательно, — задраться бы с кем!

В каждом дворе есть свой припадочный, которому все нипочем. Который один ползет на всех, с воплями и пеной у рта, с кирпичем и куском железной трубы, которого не остановить ничем, разве что убить. Шкалик был такой припадочный. Шкалика с детства опасались задевать здоровые мужики.

Кому охота потом в больнице лежать, с проломанным черепом?.. Отца у Шкалика никогда не было. Мать у Шкалика жила с кем хочешь, но с ней никто не хотел жить. Она буйнила, материлась, в пьяной злобе выкидывалась из окна первого этажа и задремывала на газоне. Шкалик жил сам по себе, голодный и неухоженный, и Пашкина мать вечно его подкармливала. Ел он всегда много и жадно, как сам говорил, про запас.

— Шкалик, — сказал Пашка невпопад, — я женюсь вроде...

— Да знаю я, — Шкалик заерзал задом по трубе. — Наслышан.

Шкалик ревновал Пашку. К ребятам, к девочкам, теперь к Маринке. Шкалик считал себя лучшим Пашкиным другом и отвадил от него потихоньку всех приятелей. Даже девочки остерегались заигрывать с Пашкой в его присутствии. Но вот подросла Маринка, и теперь он не знал, что делать. Уходил от него лучший его друг, с которым можно посидеть на отглаженной задами трубе, поговорить, помолчать, поплевать на асфальт. Уходил к этой пигалице, с которой ему не справиться. И кирпич не поможет, и труба железная, и даже пена изо рта.

— Ты бы тоже женился, — сказал Пашка. — Чего ждать?

— Да кому я нужен?

— Дурак! Вон, сколько их бродит.

Шкалик подумал, пожал тощими плечиками:

— Можно, конечно. А куда мне потом ее девать? Комната одна. Мать пьяная. Стула, и то нет. Был стул, да я его сломал вчера. За ножки да об стенку.

— Зачем?

— Накатило, — объяснил Шкалик.

Помолчали, пощурились на солнце. Ребята в отда-

лении засвистели, заверещали, замаякали: шла по двору девочка в брючках в обтяжечку, привлекала внимание подчеркнутыми формами. Они тоже ее оглядели, ничего не упустили.

— У жены можно жить, — сказал Пашка.

— Можно, — согласился тот. — Да я уж ко двору привык. Тут меня все боятся.

— И там будут бояться.

— Не... — вздохнул. — Там свой Шкалик есть.

Пашка покосился на него:

— Тебе сколько лет?

Шкалик удивился:

— На что тебе?

— Интересно.

— Много, вот сколько.

— Сколько много?

Шкалик помялся:

— Тридцать в декабре...

— Иди ты!

— Точно. Это я так выгляжу. Как пацан.

— Тридцать, — повторил Пашка. — Ну, ты даешь!

Еще помолчали.

— Ох, и психанул бы я теперь! — сказал Шкалик.
— Есть у меня такое желание.

Пашка засмеялся вдруг:

— Нет у тебя никакого желания.

— Ну?

— И ну. Психуешь по привычке, чтобы пугались.

Тот даже вздрогнул:

— А что, заметно?

— Мне заметно.

Шкалик покосился на ребят:

— Да я их приручил, — сказал тихо. — Куда теперь денешься?

— Пошли они! — отрубил Пашка. — Живи, как хочется.

— А как хочется? Я и не знаю. — И толкнул Пашку в бок: — Ты, вон, тоже глядишь, чего они скажут.

— Тоже, — подумал Пашка, а вслух удивился: — Надо же! Они тебя боятся, а ты их. Во, заверчено!

— А ты думал, — сказал Шкалик.

Вышла из подъезда Маринка, размахисто, широким шагом пошла по двору, независимо размахивала крохотным кошелечком на золоченой цепочке. В кошелечек не влезало даже зеркальце. Так только: два пятака на метро да двучечки на телефон. На ней был длинный плащ почти что до туфель. Когда шла, полы у плаща отпахивались, высоко открывали ноги, холодок бежал вверх по телу. Хорошо!

Проходила мимо ребят, насупилась, сбилась с шага, повторяла упрямо:

— Ну и что же, что живот... И что же... Ну и что же...

Пашка слез с трубы, встал на дороге:

— Ты куда?

— Куда надо.

— Ей некогда, — объяснил Шкалик. — У нее дела.

Повернулась к нему, поглядела близко:

— У нас свадьба скоро. Приходи в ресторан.

— Шутишь, — сказал Шкалик.

— Приходи, приходи, я приглашаю.

— Мне и одеть нечего. В ресторан.

— Приходи так.

— У меня и денег нет. На подарок.

— Потом подаришь. Когда будут.

Шкалик тряхнул головой, развел в изумлении руками:

— А у меня никогда не будут.

— И ты приходи, — сказала Пашке. — Тебя это тоже касается.

Набычился, ответил грубо:

— Обойдемся без ресторана.

— Кто обойдется, а кто и нет.

— Ну и женись одна! — крикнул яростно и пошел со двора.

— Ну и буду!

Подошли ребята, встали вокруг, глядели с ухмылкой и любопытством.

— Всех приглашаю, — сказала. — В ресторан. Без жениха гулять будем. Хоть до утра.

— До утра в ресторане не выйдет, — сказал Шкалик. — Выставят.

— А мы домой поедem. Догуливать.

— Куда тебе — догуливать, — хохотнул угреватый мальч в кепке. — Родишь еще.

Ребята грохнули дружно, и Маринка даже отступила на шаг.

— Ты что вякаешь? — Шкалик уже стоял перед парнем, задирая кверху голову. — Ща умоешься, падла!

— Ладно тебе, не пугливый.

А Шкалика уже понесло. Глаза закатились, щека задергалась, тельце содрогнулось, трясущиеся руки, не попадая, отстегивали тяжеленную пряжку ремня.

— А ну павтари... — говорил неразборчиво, давась слюной. — Па-павтари...

Маринка встала между ними, схватила его за костлявые птичьи плечики:

— Юрочка, успокойся. Не надо, Юрочка!

Шкалик опустил руки, вздохнул, прикрыл глаза тонкими веками.

— Все, — сказал. — Пронесло. Благодарю ее, гнида, что без врача обошлось.

И ушел в подъезд.

— Ладно, мальчики, — улыбнулась Маринка. — Я пригласила, а там как знаете.

— Ну тебя к черту! — огрызнулся парень. — С припадочными пить — себя не жалеть...

Она вышла со двора на улицу и за углом столкнулась с Пашкой.

— Пашенька, — сказала, — здравствуй, солнышко. Сколько лет!

Он стоял в раскрытых дверях подъезда, как в раме: нога на ногу, в зубах сигаретка, независимый — просто жуть.

— Поговорить надо, — сказал грубо, стервенея от застенчивости. — Пошли ко мне.

— У тебя я уже была. И не один раз.

— Я не заставлял.

— А у нас нет претензий. — Маринка погладила ладонью по животу, спросила нежно: — Правда, Тимоша? — прислушалась, закивала головой, будто услышала ответ: — Тимоша говорит: "Нету. Ни одной".

— Кто говорит?

— Тимоша. Тимофей Маринович.

Пашка помолчал, соображая, мрачно выдавил:

— Павлович.

— Нет, Маринович!

— Так, да?! — Больно схватил за руку, потащил в подъезд. — Иди!

— Тимоша, он дерется...

— Не Тимоша! Никакой не Тимоша! Сам назову, поняла?!..

И бормотнул горячо, по-армянски, не иначе — выругался.

— Это не твой ребенок! — гордо ответила Маринка и выпрямила плечи, как на картине "Допрос коммуниста". — Тимоша, погляди на этого человека. Он хотел от тебя избавиться.

— Да! — заревел Пашка. — Хотел! — И чуть ее не

пристукнул. — А то условия ставили: ”Теперь ты должен, теперь ты обязан...” А я не хочу, когда обязан. Не обязан — и все! — И выдохнул мощно: — А теперь чего ж... Теперь пусть живет.

— Ну спасибо! Ну наконец-то! — Маринка закланялась в пояс, как китайский болванчик. — Тимоша, ты слышишь? Радость-то какая! Тебе дядя жить разрешил. Скажи дяде спасибо.

— Маринка, — уже спокойно пообещал Пашка. — Получишь.

— Да кто ты такой?

— Твой муж.

— Привет! — изумилась. — То не муж, а то вдруг муж. Что с тобой, Пашенька? Ты же у нас гордый. Над тобой смеяться будут. Дружки-подруженьки. — И распахнула дверь на улицу: — Вон они стоят, голубчики! Эй! Смотрите сюда! Тут он! Первый красавец! Который попался! Не отвертелся! Которого силком окрутили! На нескладухе-неладухе!.. Ур-ра!

— Я же женюсь на тебе, дура! — яростно взвился Пашка и отшвырнул ее от двери.

— Он женится. Он, конечно, женится. Он у нас такой благородный! А это видал? — И сунула кукиш под нос. — Хочешь жениться — пожалуйста. С огромным удовольствием. Только с рестораном, с гостями, с музыкой и шампанским. Платье в обтяжку надену, чтобы трещало, пузо — во будет! — Маринка захохотала басом: — Весь дом позову, всех знакомых! Пусть обхохочутся...

— Маринка!

— Ну что, Маринка? Что Маринка? Ты свое сделал? Сделал. И гуляй себе. Ты у них герой, с тебя пример можно брать, а я... Кто я? — Резкие ударили молоточки, и Маринка вздрогнула, завозила кулаками по лицу: — Дура я, дура...

— Слушай, — сказал Пашка. — Ты хочешь со мной жить?

— Хочу, — быстро согласилась Маринка — даже слезы высохли. — С тобой — хочу. Но сначала — в ресторан.

— Опять за старое?!

— Опять, Пашенька, я опять.

Подошла к нему, потерлась головой о плечо, заговорила, как с маленьким:

— Пашенька, родненький... Ну как ты не понимаешь? Если тайком, значит грех, значит виноваты мы с тобой, и Тимоша наш виноват. А я, — засияли глазки — чистый малахит, — вот ни столечко себя не виню. Чего винить, когда радость? Снаружи радость и внутри... Ты меня не уговаривай, чтобы тайком, не надо, мне тогда всю жизнь стыдно будет.

— Мне, думаешь, не стыдно?

— Ты мужчина, Пашенька. Ты уж потерпи. Тимоша, — заняла жалобно, — скажи ты ему... Тимоша говорит: "Ну пожалуйста!"

— Вот черти! — захохотал Пашка.

— Ура! — тяжело запрыгала Маринка. — Договорились! — Встала, тревожно заглянула в глаза: — Не договорились?..

Пашка опустил голову, заелозил каблуком, руки засунул в карманы.

— Знаешь, Пашка, кто ты?

— Кто?

— Ребенок — вот кто.

— Ты не ребенок, — обиделся Пашка.

— Я женщина, — сказала гордо. — Я уже женщина, а ты еще сосунок.

Молоточки ударили изнутри. Ударили — и притаились.

— Иди, — приказала. — Убирайся! Когда повзрослеешь — придешь. Может, пушу. А может и нет.

И пошла из подъезда.

— Маринка, — крикнул. — Не доводи меня!

Оглянулась, оглядела придирчиво:

— Что это я с тобой да с тобой? Как-то несовременно это. У меня и без тебя мужики были. Четверо... Нет, пятеро. Пойду-ка я опять в загул. Жизнь прожигать.

Она шагала по бульвару зло и решительно, отмахивала кошелечком на золоченой цепочке.

— Как ты себя ведешь, — сказала мать через расстояния. — Слушать стыдно.

— Мне, думаешь, не стыдно?

— погоди еще, — пообещала. — Вот бросит он тебя, на панель пойдешь.

— Ну и пойду! Не твоя забота.

— Игорь! Она мне дерзит.

— Ладно тебе, — сказал Игорь, кувыркаясь на волне. — Не бери в голову.

— Разве он тебе пара? Шоферюга, грубиян нетесаный... Наплачешься еще!

— Ну и наплачусь! Вам-то чего?

— Я добра тебе желаю, добра!

— Да знаю я, знаю! Но пойми наконец: твое добро — это еще не мое добро. Господи, ну какие вы все тупые!

— Как ты разговариваешь с матерью? Игорь, скажи ей!

— Меня нету, — сказал Игорь, ныряя. — Я утонул.

Молоточки били и били, не переставая.

— Не маленькая, — закричала Маринка с новой силой. — Сама рожу! Сама выкормлю!

— Да что ты умеешь делать? — в злой слезе закричала мать. — Что?!

— Ничего не умею! В уборщицы пойду. В посудомойки. В дворники.

- Внучка писателя будет мыть салыные тарелки!
 - Да. Именно так. Внучка писателя.
 - Игорь! Ну что же ты молчишь?
 - Я не Игорь, — сказал Игорь, задремывая на песке. — Я камень бесчувственный.
 - Все сделаю! — кричала Маринка и кошелечком отмахивала яростно. — Все смогу!
 - Марина! Я тебе приказываю.
 - Приказывай. А я уши заткну.
- Свернула с бульвара, вошла во двор, за угол, еще за один, привстала на выступ, голову сунула в открытое окно:
- Славик, ты тут?..

Славик стоял спиной к двери, упершись ногами в пол. В трусах и майке, длиннорукий и белобрысый, с конопушками на лице и на плечах. Постель разобрана, книги на полу, на столе бутылка "Рислинга" и стакан.

- Уходи, — сказал сурово. — Не до тебя.

Глаза у Маринки любопытно скакнули по комнате.

- Там кто, за дверью?
- Кто-кто... Родители.
- Помочь?
- Обойдусь.

В дверь застучали деликатно, женский голос попросил со слезой:

- Славочка, открой маме.
- Нет, — крикнул Славик, — не проси!
- Открывай, подонок! — заорал мужчина, и Славик поехал вдруг по паркету босыми пятками, поднатужился, уперся ногой в стену, прихлопнул дверь.

- Славочка, я тебя умоляю!..
- Нет!
- Чего они? — спросила Маринка.

— Да ну... — Славик мотнул головой, как муху отогнал. — Учиться заставляют.

— А ты?

— А я прогулял.

— Во дает! — восхитилась Маринка. — Второй день в институте, и уже гуляет.

— Я туда больше не пойду, — сказал Славик и закричал что есть мочи: — Слышите? Не пойду!

За дверью застонали, заплакали, яростно забарабанили кулаком.

— Славочка, тебя отчислят!..

— Очень хорошо.

— Идиот, в армию загремишь!

— Еще лучше.

— Славочка, ты должен получить диплом!

— Да ничего я не должен!

— Дурак, инженером будешь!

— Инженером, инженером... — орал Славик. — Да я, может, всю жизнь мечтал стать мушкетером, чтобы сражаться с гвардейцами кардинала!

— Славочка, это несерьезно.

— И пусть... Хочу несерьезно! Вот уйду в бродяги, в старьевщики, матросом буду, могильщиком...

— Не пори ахинею!

— Да?! А вот Горький сколько лет бродяжничал? Ему можно, а мне нельзя?

— Сравнил себя с Горьким.

— Да, сравнил!

— Славочка, подумай о затратах. Такие деньги учителям переплатили...

— Я вас просил? Просил, да?! Меня от вашей математики тошнит...

— Ах ты, тварь неблагодарная!!

Дверь заскрипела, загудела от ударов, подалась чуть, в щель просунулась волосатая рука. Славик

поднатужился, захрипел от натуги, восстановил прежнее положение.

— А ты запришь, — посоветовала Маринка. — Чего мучаться?

— Да ключ на полке... Не отойти.

— Я достану.

Легла боком на подоконник, тяжело перевалилась в комнату. Сколько она так лазила, пока учились вместе, и не сосчитать.

Ключ повернулся в замке, а с ним и вопль ярости за дверью.

— Все, — сказал Славик и сел к столу. — Больше я из комнаты не выйду.

— Выйдешь, — пригрозил отец. — Жрать захочешь и выйдешь.

За дверью затихло. Славик взял бутылку "Рислинга" и стал медленно наливать в стакан.

— Славочка, — спросила мать, — это что у тебя булькает?

— Это я вены вскрываю, — объяснил Славик. — Тупой бритвой.

— Подлец! — заревел отец. — Ты что мать пугаешь?!

— Будете приставать — вскрою. А теперь идите к себе. У меня запой.

— Славочка, ты пьешь вино?

— Спирт, — сказал Славик. — Девяносто шесть градусов. Без закуски. Хочешь?

— Не хочу, — сказала Маринка.

— Славочка, ты с кем разговариваешь?

— Ни с кем. Это у меня пьяные галлюцинации.

— Дождешься, — пообещал отец. — Я сейчас милицию вызову.

— Вызывай. Они в институт сообщат, меня и выгонят. — Глотнул из стакана, сморщился от омерзения: — Какая гадость...

Рухнул на диван, поверх одеяла, а Маринка села рядом, погладила его по щеке. В этой комнате они когда-то вместе делали уроки, вместе готовились к контрольным, первый раз поцеловались на полу, на огромной географической карте, в безуспешных поисках города Качканара, даже лежали как-то на диване, в тесном неудобстве, и Славик бестолково тыкался носом ей в ухо, и руками пытался чего-то отстегнуть, а она сказала вдруг, что от него пахнет манной кашей. Маринка бегала к ним всякий день, радостная, заинтригованная, светящаяся, и в их скучную квартиру с показной порядочностью она приносила веселье, азарт жизни, праздничную суматоху. "Нет, — говорила мама, поджимая губы, — не о такой невестке я мечтала", и папа с ней тут же соглашался. Так ему, папе, было проще жить. Они отчаянно целовались целый год, всюду, где это только удавалось, а потом Славик нахватал двоек по всем предметам, родители с перепугу обложили его учебниками и платными преподавателями, и видется они стали реже, и целоваться — тем более. А там воротился из армии Пашка Апресян, и она позабыла про Славика и про все на свете.

— Слава, — сказал отец из-за двери, — мама ушла. Давай поговорим спокойно.

— Говори.

— Вот я инженер, уважаемый человек, работаю, строю, а что ты сделаешь без образования? Что создашь?

Маринка наклонилась и поцеловала Славика в лоб. Он отмахнулся нетерпеливо и сказал:

— Мы не созидатели. Мы разрушители.

— Во имя чего?

— Не знаю.

— Тогда зачем разрушать?

— Чтобы было пустое место, — закричал Славик.

— А другие за нами будут опять строить. Заново!

— Слава, — сказал отец тихо. — Уже было однажды пустое место. Хватит с нас.

— Вы не то строили. Не то!

— А что — то?

— Откуда я знаю! Придут другие, они разберутся. Маринка взьерошила ему волосы, а он отпихнул ее руку, дрыгнул со злостью голой ногой.

— Слава, — сказал отец. — Ты не хочешь прогуляться по бульвару?

— Нет.

— Мы гуляли с тобой когда-то. Мы гуляли по бульвару, и ты меня спрашивал.

— Да?! А ты не отвечал.

— Я отвечал, но не полностью. Я боялся испортить тебе жизнь.

— Ты боялся сказать мне правду.

— Это одно и то же, Слава.

— Нет!

— Да. Но я больше не боюсь. Спроси меня, Слава. Сын должен спрашивать у отца.

— У меня нет больше вопросов. Ни одного! Мне все ясно.

— Слава, — испугался отец. — Ты так не говори...

— Как думаю, так и говорю.

Маринка опять наклонилась, тихонько поцеловала его в губы. Славик мотнул головой, но она держала крепко, не отпускала.

— Слава, — сказал отец. — Давай поговорим откровенно.

Славик молчал.

— Ты меня слышишь?

— Слышу, — сказал Славик, вырываясь.

— Мне тоже многое хочется, Слава.

— Хочется — делай.

— Так нельзя. Поверь мне.

— Ну, почему нельзя? Почему?!

— Потому что есть обязательства.

— Нет у меня обязательств. Ни одного!

— Будут, Слава. Такова жизнь. Тебе жить этой жизнью, Слава. Другой не будет.

— Не хочу жить вашей жизнью, не буду!

— Я тоже не хотел, Слава. А пришлось...

Была тишина. Потом отец сказал печально:

— Слава, я ушел к маме. У нее приступ.

— Приступ... — забормотал Славик. — Знают, чем взять... Чуть что, у нее приступ. Что ты меня гладишь?!

— Нравишься ты мне такой, — сказала Маринка.

— Давай еще поцелуемся.

Славик обалдело уставился на нее, потом покраснел, заелозил голыми пятками:

— Пусти, я оденусь.

— Ну зачем же? — Маринка сделала небрежный жест. — Лучше я разденусь.

— Ты что, — зашептал он, — рехнулась?..

— Славик, мы с тобой не дети.

Он спрыгнул с дивана, отошел к окну, опасливо покосился через плечо. Маринка откинулась на спинку, отпахнула полы плаща, открыла ноги для обозрения.

— У тебя жених есть, — сказал Славик.

— Ну и что?

— Свадьба скоро.

— Ну и скоро.

— Ты же... Вон какая теперь.

— Какая?

В дверь постучали деликатно.

— Слава, — сказал отец, — сходи в аптеку. Маме плохо.

Славик метнулся к двери:

— Сейчас... Я оденусь.

— Хорошо, — кротко сказал отец. — Я подожду.

— Ты что! — зашипела Маринка. — Они же тебя выманивают...

— Да знаю я, — огорчился Славик. — А что делать?

— И в институт пойдешь?

Он натянул штаны, сказал неуверенно:

— Там видно будет...

— Пойдешь, — пообещала Маринка. — Ты пойдешь.

Подошла к окну, боком перевалилась через подоконник, встала на приступочке.

— погоди, — сказал Славик. — Ты зачем так?

— Как?

— Ну... со мной. Шутила?

— Шутила, Славик, — сказала грустно. — Я пошутила.

А он держал ее за руку, не отпускал, выискивал глазами:

— Я тебя вспоминаю, Маринка...

— Иди, Славик, отец ждет.

— Да ну его... Лезь обратно.

— Мне нельзя лазить, — сказала. — Я в положении.

Завернула за угол, пошла со двора, на улицу, к телефонной будке.

— Алло, — сказал Пашка.

— Имею вопрос.

— Ну?

— Мне какую фамилию брать?

— Мою. Какую еще?

— Колбасян, что ли?

— Не Колбасян, а Апресян.

— Марина Максимовна Колбасян, — произнесла с расстановкой. — Пашенька, возьми лучше ты мою...

— Это не обсуждается, — сказал Пашка.

— Да у меня — хошь знать — дед Никодимов, зна-

менительный начальник по строительной части, — а у тебя кто?

— А у меня дед — Апресян.

Маринка подумала:

— А у детей чего будет? Тоже Колбасян?

— И у детей Апресян.

— А у внуков?

— И у внуков.

— Вот нарожаю тебе девок, — погрозила, — они замуж выйдут и фамилии сменят.

— Мне сын нужен, — сказал Пашка. — Лучше два.

— Ему нужен! Назло девок нарожаю. Двойнями. Чтобы Колбасяны не задавались... Кстати, чтоб ты знал: я счет увеличила. Было пятеро мужиков, теперь шесть.

А там — частые гудки...

— Тимоша, — пожаловалась грустно и носом ткнулась в холодное стекло, — никто нас не понимает, Тимоша...

Но молоточки ей не ответили. Не ответили — и все тут. Видно, осуждали за поведение...

Шел мимо будки парень в зеленой куртке, устало волочил кеды по асфальту. Встал, поглядел через стекло: лицо бледное, веки припухлые, с синевой.

— В Новосибирске не была?

— В Новосибирске? — удивилась.

— В Новосибирске. Советская улица, дом пятнадцать, квартира семь. Карпов Илья Петрович.

— Иди, — сказала. — Прямо и еще налево. Там психдиспансер. Примут без очереди.

Он и пошел, лениво, с обвислыми плечами.

— Эй, — крикнула, — погоди!

Остановился, ждал покорно.

— Ты кто есть?

— Карпов. Илья Петрович.

— Из Новосибирска?

— Не знаю, — сказал без улыбки. — Самому неясно.

— Слушай, — Маринка заволновалась, — давай я тебя домой отведу. Или в больницу.

— Мне на почту, — сказал. — Хочешь со мной?

— Хочу.

Они пошли рядом, и Маринка пристраивалась к его расслабленной походке, не попадала в шаг.

— Где-то я тебя видала...

— В метро. На Арбатской. Я там у эскалатора сижу.

Говорил он коротко, вяло, будто лень языком ворочать.

— Ну и работка! Скучно, небось?

— Хорошо, — сказал. — Шевелиться не надо.

— Какой ты! — подивилась. — Будто чем стукнутый.

— Стукнутый, — согласился. — Это есть.

На почте висела табличка под стеклом, образец заполнения адреса: "Новосибирск — 2. Советская улица, дом 15, квартира 7. Карпову Илье Петровичу".

— Я ему писал, — сказал. — И телеграммы посылал. А он не отвечает.

— Ты что? — фыркнула. — Это же совпадение. Такого человека и на свете нет.

— Есть, — уперся. — Меня учили верить печатному слову.

— Но не до такой же степени!

— А до какой?

— Ну...

— И ну. Или верить, или не верить.

— Издеваешься?! — заорала Маринка. — Мало ли чего они пишут! Кто же верит всему этому?

— Я, — сказал. — Я верю всему. Или ничему. Сейчас он на разговор придет. Вот увидишь.

— Ты чокнутый, понял? Тебя лечить надо. Чтобы не верил всему.

— Это вас надо лечить. Чтобы поверили.

На столе посреди зала валялись скомканные бланки для телеграмм. На каждом было начато и не dokonчено торопливым, неустойчивым почерком, с расплывшимися, видно, от слез, чернилами: "Рязанская область, Шацкий район...", "Рязанская область, Шацкий район, почтовое отделение Ивановское...", "Рязанская область, Шацкий район, почтовое отделение Ивановское, деревня Карнаухово, Хлыстовой Анне Петровне. Мама, приезжайте скорее!"

Стукнули изнутри молоточки, тревожно и требовательно. Маринка вздрогнула, огляделась, шагнула несмело... Окошко для телеграмм было рядом. Только протянуть руку.

— Новосибирск кто вызывал? — сказала дежурная. — Абонент не явился. Нету такого. По адресу не проживает.

Карпов побелел еще больше:

— Он там, я знаю...

— Снимайте заказ, — приказала Маринка.

Получила назад деньги, ссыпала ему в карман, повела под руку на улицу. Карпов шел молча, думал напряженно, щурился, морщил лоб.

— Карпов, а Карпов! У меня свадьба скоро. Приходи в ресторан, плясать с тобой буду. Мне еще можно.

— В Новосибирске была? — спросил Карпов.

— Дался ему этот Новосибирск!

— Поеду... Сам проверю. Если нету его, значит и меня может не быть...

— Ну и поезжай! — крикнула в сердцах.

— Далеко... — поморщился. — Шевелиться много.

Поднялись на лифте, вошли в квартиру, потом в

комнату. Пыльную, тусклую, с оборванными обоями, с полосатым матрасом на козлах. Между матрасом и стенами оставался со всех сторон узкий прогулочный коридор.

— Ой, — Маринка крутнулась на одной ножке, — сколько тут пыли! Давай окно откроем.

— Шумно будет.

— Давай пол подметем.

— Опять запылится.

Он уже улегся в выемку на матрасе, в куртке и кедах, блаженно раскинул руки:

— Ложись тоже.

Маринка попятилась:

— Как это — ложись?..

— Рядом. Я бы с тобой полежал.

Она обошла матрас со всех сторон, спросила боязливо:

— Ты один живешь?

— С родителями.

— А они где?

— В походе. С рюкзаками. Они у меня энергичные.

Маринка села на уголок матраса, сказала, обмирая:

— Только чур — рукам волю не давать.

Он не ответил. Лежал, глядел на нее, морщил по обыкновению лоб. Тогда она прилегла на бок, и расхлябанные пружины сразу впились в ребра.

— Как ты тут спишь? Больно ведь!

Он положил руку ей на плечо и надавил книзу, заваливая на спину.

— Ты чего?.. — всполошилась. — Я закричу!

— В выемку ложись. Будет удобно.

Маринка улеглась в выемке, поелозила чуть, устраиваясь:

— Удобно...

— Помолчи, — поморщился.

Лежали рядом, глядели в потолок. Хорошо было, но странно. Чего лежать, когда спать не хочется? Но он лежал, и она лежала. Карпов вздохнул, лениво протянул руку, положил ей на грудь. Маринка так и вздрогнула: вот он, разврат! Затаила дыхание, с ужасом ждала продолжения. Рука была вялая, неживая, холодная. Полежала на груди и убралась прочь. Она даже обиделась.

— Я в биологи собирался, — сказал вдруг Карпов. — В кружок ходил, при институте.

И замолчал надолго, словно забыл о ней.

— Говори! — приказала Маринка.

— Они опыт проводили. Над собакой. Собака много ела и оставалась голодной. Глотала мясо и умирала от голода.

— Почему?

— Не знаю. Опыт такой. Хорошая собака, толстая, добрая, а глаза растерянные. Не понимала, чего с ней. Ела — и умирала с голоду. Я больше туда не ходил...

— И молодец, — похвалила Маринка. — Зверей только мучить.

Он помолчал, как поспал, и опять:

— Они меня в походы водили. Родители. С рюкзаком по природе.

— Чем плохо?

— А чем хорошо? Согнешься пополам от тяжести, видишь в лесу одни свои ноги. В шестнадцать лет я сказал: "Все. Теперь отдыхать буду". Это моя комната, остальное — их.

— Они у тебя кто?

— Они у меня бодрые. Они песни поют.

— Ты мне нравишься, — сказала Маринка. — С тобой лежать весело.

— Помолчи, — попросил.

Опять они лежали молча, глядели в потолок. В комнате было тихо, затхло, прохладно. Наваливалась дрема, тянуло закрыть глаза и уснуть, но Маринка держалась что есть силы. Во сне она была беззащитна.

Потом он вроде заснул, и Маринка пригрелась в выемке, даже сон мимолетный увидела..., но вздрогнула вдруг и насторожилась. Вялая рука легла ей на грудь, пальцы скользнули под блузку и замерли там: стылые и неживые. Удовольствия не было. Радости не было. Желания, и то не было. "Что это я, — подумала. — У меня Тимоша есть, Пашка, чего тут лежать?" Так хорошо стало, так весело! Встала энергично с матраца, даже на ножке подпрыгнула.

— Вставай давай. Чего киснуть?

— В Новосибирске была? — спросил он тихо.

Тут она взбеленилась! Подскочила к матрацу, пнула его ногой:

— Знаешь что, Карпов! Пыльно ты живешь.

— Мне нравится.

— Старик ты, Карпов! — Маринка опять ничего не боялась. — Даже женщина тебя не волнует.

— Ложись, — попросил. — В выемку.

— Хватит, дорогой, полежала. Поищи другую.

Выскочила на улицу, отдышалась на ветерке, сказала вслух, с удивлением:

— Что такое? Когда им всем не до меня...

Зашла в будку, набрала номер, слушала долгие гудки.

— Алло, — сказала гудкам. — Передайте Паше: было шестеро, теперь семь. Семь. Просто семь. Он поймет.

Вдруг ударили молоточки: часто и испуганно. Набрала поспешно номер, сказала грубо:

— Галка, имей в виду. За Пашку глаза выдеру.

— Мариночка, — запела та, — да что ты? Да зачем

он мне? Своих девать некуда... — И закатилась меленьким смешочком: — Сейчас двое придут, куда мне? Солить, что ли? Ой! — сказала. — Приходи ты. Повеселимся. Их двое и нас двое. Загранично — нет слов!

— И приду, — погрозились Маринка. — Думаешь, нет?

— Мариночка... Лапулечка... Скорее давай!

Шла обратно быстро и решительно, бурчала обиженно, будто возражала кому-то:

— Вот назло пойду, назло!

— Марина, — крикнула мать, — я тебе запрещаю!

— Тебя нет, — ответила Маринка. — Ты на юге.

— Марина, одумайся!

— Я одумалась.

— Марина, ты превратишься в публичную девку!

— И пусть.

— Не смей так говорить! Марина, я сейчас прилечу.

— Не успеешь.

— Игорь, ну что же нам делать?!..

— Купаться, — сказал Игорь. — Потом в ресторан.

— Молодец, — похвалила Маринка. — Ты меня понимаешь.

— А то, — Игорь подмигнул через расстояния. — Приеду — расскажешь.

— Неужто нет, — подмигнула Маринка. — Тебе — первому...

Галочка открыла дверь.

Галочку было не узнать.

Невозможной красоты женщина стояла на пороге.

Такие и не рождаются вовсе. Таких делают по заказу, за хорошие деньги.

— Галка, — сказала Маринка с завистью. — Сейчас зареву...

— Реви, — разрешила Галочка.

Губки накрашены, глазки подведены, локоны-колечки вокруг пухлого личика, а сама она теплая, сонная, домашняя, будто только что из постели, из-под жаркого пухового одеяла. Галочка вечно такая, даже на работе: сидит-млеет, глядит-завлекает, обволакивает неслышно, утягивает неприметно. В пуховое тепло, в жаркий уют. Еще в школе, с пионерского возраста, липли к ней замороженные старшеклассники — не оторвешь, да оглядывали с завистью взбудораженные подружки, нервные и беспокойные. "А я, — пела в истоме Галочка, опираясь на пышных бедрах школьную форму, — я с тринадцати лет уже не нервничаю..."

— Галка, — шепнула в ужасе, — у тебя чего под платьем?

— Ничего. А зачем?

— Тоже хочу, — заныла Маринка. — Узкое хочу, длинное, на ляпочках...

— Обновочка, — подразнилась Галочка и нежно огладила себя сверху донизу, ничего не пропустила. — В пупырышках... Колечко, — подразнилась еще и растопырила пухлые пальчики. — Обручальное...

— Галка, ты же не замужем!

— Ну и что, — Галочка таяла от блаженства. — Так оно привлекательнее...

— Тогда и я... И мне колечко!

Галочка взяла ее за руку, повела в комнату.

— Вот мы сейчас переоденемся... Вот у нас ничего не заметят... Снимай плащ. Все снимай.

Через полчаса Маринка встала у зеркала, охнула в потрясении. Короткое платье — широким балахоном от плеч. Глаза густо подведенные. Волосы, начесанные на лоб. Губы в помаде, ногти в маникюре,

на пальце — обручальное кольцо. Медное, под золото.

— Блеск, — одобрила Галочка. — Чудо заграничное...

И ушла на кухню.

Маринка постояла перед зеркалом, повернулась, присела, состроила опытный вид... и забоялась вдруг до дурноты, до мелких мурашек на спине. Побежала на кухню, взяла нож побольше, резала сыр поперек куска толстыми ломтями, и стол подрагивал от ее усилий.

— Галка, а они кто?

Галочка клала сметану в салат. Галочка облизала пальчики.

— Мальчики, — зажмурилась. — Модные — жуть...

— Ты их знаешь?

— Я их видела разок, — потупилась Галочка. — Но я про них слышала...

В дверь зазвонили. Долго и уверенно.

— Открой.

— Ты!

— У меня руки в сметане.

— Нет, ты!

Удрала на цыпочках в комнату, села на диван, слушала, обмирая, голоса из коридора.

— Что же вы опаздываете? Фу-фу-фу...

— Начальство, Галочка, не опаздывает.

— Ладно уж, давайте сюда бутылки.

— Не могу доверять. Обратите внимание: особый фонд, валюта-матушка.

— Загранично!

— А то нет.

— У, — подумала Маринка, — старичье...

Первым вошел в комнату молодой, коренастый мужчина, держа в вытянутых руках по квадратной бутылке с пестрыми наклейками. Уже про-

ступала в нем, несмотря на молодость, внутренняя осанистость, важная значимость, устоявшееся на лице выражение принятой на себя ответственности. Глядел прямо, ступал твердо, улыбался в меру, нес себя с достоинством. Следом за ним вошел второй мужчина, того же роста, той же коренастости, но попроще, поплоще, как бы смещенный на ступеньку вниз. И глядел прямо, и ступал твердо, и улыбался в меру, но проступала на лице, выдавая, малозаметная, не до конца замаскированная губастость, которая портила всю картину. Такому мужчине, да при таком достоинстве, хорошо бы иметь другое лицо. Одеты они были в одинаковые, темных тонов дакроновые костюмы, поразительно белые, накрахмаленные рубашки, четко повязанные галстуки, надраенные до синевы туфли. Чувствовалась за этим не своя, не органичная, даже не придуманная, а подсмотренная на стороне одинаковость. Подошли, щелкнули каблуками: холодно вежливые, профессионально внимательные.

— Анатолий.

— Николай.

И сразу стало ясно: почтили присутствием не какие-то там беспородные Толька да Колька, а преисполненные достоинства, приобщенные к руководству Анатолий и Николай.

Галочка сразу засуетилась, заморгала редкими ресничками:

— Это Марина, моя подружка. Прошу любить.

— Выяснили, — солидно пошутил первый и покоился на медное колечко.

— Разобрались, — добавил второй и тоже покоился.

Маринка протянула руку, с перепугу мощно, до боли, сжала им пальцы, и они дрогнули, внимательно поглядели на нее, потом друг на друга.

— Я мигом, — прощebetала Галочка и убежала на кухню.

Мужчины солидно прокашлялись.

— Ну что, Анатолий Степанович, закурим для начала?

— Можно, Николай Петрович. Чего не побаловаться?

Они были еще молодые и звали друг друга на "ты", но по имени-отчеству: этакий административно-хозяйственный шик!

— Не, — сказала Маринка. — Я не курю.

— Молодо-зелено. Студентка, небось?

— Студентка, — соврала тут же.

— Тоже неплохо, — сказал — оттолкнул на дистанцию. — Какие трудности?

— Нету трудностей.

— Будут — заходи. — И безо всякого перехода: — Николай Петрович, ты по работе-то отчитался?

— На той еще неделе. По мероприятиям — полный ажур.

— Смотри. Не то на ковер поставим, стружку снимем.

Они садились за стол, как в президиум. Устраивались поудобнее, поуютнее, надолго. Тот, что поважнее, усадил рядом с собой Галочку, тот, что попроще — Маринку. Видно, распределили заранее. Мужчина поважнее взял квадратную бутылку, показал всем наклейку:

— Из особого буфета.

— Слыхали, — непочтительно вякнула Маринка. — Валюта-матушка...

Мазнул по ней взглядом, разлил в рюмки до краев, поднял свою, прищурился, поглядел на просвет:

— За знакомство!

Они выпили одновременно. Обхватили рюмки

губами, опрокинули в один глоток. Чувствовалась за этим большая практика. Выпили — заели маслом. И за этим чувствовалась практика.

Тот, что попроще, опять разлил до краев, прищурился, тоже поглядел на просвет:

— За присутствующих!

Выпили — заели маслом.

— Хорошо пошла.

— Лучше не надо.

Положили себе колбаски, сыру, захрустели огурчиком. Вспомнили — поухаживали за девочками.

— Я вот что думаю, Николай Петрович, — сказал тот, что поважнее, и повертел в руках заграничную бутылку. — Главное для нас на новом этапе — не всеобщее удовлетворение потребностей, нет.

— Как так? — удивился тот, дожевывая бутерброд.

— А так. Главное теперь — воспитание ограниченных потребностей. Лучше всего, целенаправленных. По группам населения. Чтобы не перегружать экономику. Когда каждый хочет всего, разве за ними угонишься?

— Сильно, — восхитился тот. — Уже докладывал?

— Погожу. Куда спешить? Идея пока не для моей должности.

— Мальчики, — позвала Галочка. — Девочки скучают...

Они выпили еще по одной, неторопливо встали. Мужчина поважнее взял Галочку за голые плечи, снисходительно переставлял ноги, оглядывал сверху, как примеривался, а мужчина попроще плотно прилип к Маринке, с трудом разворачивал ее в тесных проходах. Пахло от него водкой, мылом, резким одеколоном.

Сели — налили.

— Мне вина, — попросила Маринка.

- Отстает, молодежь, — сощурился первый. — Студентка, небось?
- Студентка.
- Учтем на будущее. Какие трудности?
- Нет трудностей.
- Будут — заходи. Николай Петрович, ты как?
- Нормально.
- А вот мы еще по квадратненькой...
- Выпили — закурили.
- Я тебе так скажу, Николай Петрович: держись за меня — не прогадаешь.
- Я держусь, Анатолий Степаныч.
- И правильно делаешь. Мне хорошо будет, и тебе неплохо.
- Тебе далеко идти, Анатолий Степаныч. По всему видать.
- Далеко — не далеко, а пока продвигаемся. Слышал, может? За границу еду. С молодежной делегацией. Ай эм сорри...
- А Сорокин?
- Сорокина отбраковали. Кислород ему перекрыли. Во всех шлангах.
- Пил?
- Пил — что? Делов-то! Хочешь напиток — возьми бутылку, выжри под одеялом — и спи. Кому дело? Невыездной он. Родственнички подкачали. Ты-то как на этот счет?
- Я, Анатолий Степаныч, в порядке. Всех схоронил.
- Схоронить — не велик труд. Анкету не схоронишь. Теперь у нас четко: выездной или невыездной.
- Ах, — повторила Маринка, — как интересно! Невыездной, невыпускной, непроездной, незапускной...
- Откуда они взялись, эти, одинаковые, модно оде-

тые, ладно причесанные, согласные со всем и готовые на все? Откуда они такие взялись?! А ведь мы рассчитывали на новое поколение, мы так на него рассчитывали! Вот придут свежие, оригинальные, скороумные и быстропешные, без нашего груза ошибок, страха и подозрений, без наших кумиров, от которых нет сил отвязаться, и без наших врагов, к которым не грех бы и присмотреться. И вот они уже пришли, вот они, вот! Время дало им другую внешность, жизнь нафаршировала их новыми идеями, но кому это пригодилось, кому понадобилось, где?! А они уже заполнили все места, дипломированные молодые люди, с неумимостью судебных исполнителей и с равнодушием понятых. Они уже командуют, они решают, они ни в чем не сомневаются. На кого же теперь нам рассчитывать, братцы, на себя, что ли?..

Потом они танцевали.

Губастого совсем развезло. Губастый прилипал к Маринке, даже ногами не шевелил, и она с трудом таскала его по комнате, а тот, что поважнее, уводил Галочку в коридор, и оттуда слышались взвизгивания, маленький хохоток. Потом они возвращались назад, и Галочка поправляла лямочки на плечах, приглаживала трепаные волосы, с любопытством взглядывала на Маринку. "Ну и веселье, — думала Маринка. — Скучота одна..."

Потом те ушли и пропали надолго, а губастый вдруг, как проснулся, прижал Маринку в углу, царапая ногтями, полез куда не следует, и ее затошнило от запаха водки и одеколona.

— Пошел, — сказал с омерзением. — Противно...

А он мычал, давился неразборчиво словами, и руки все не унимались, ну никак не унимались:

— Ай эм сорри... твою мать... Какие трудности?..

Маринка высвободилась, толкнула что есть силы

кулаками в грудь — он и рухнул на пол, как ватный, голова под столом, руки-ноги поперек комнаты.

— Эй, — перепугалась. — Ты живой?

Он спал. Спал под столом и сладко чмокал губами.

— Ну и мужики пошли, — сказала. — Согрешить не с кем...

Открыла шкаф, похватила свою одежду, побежала в коридор. Там, у зеркала, валялись Галкины туфли, чуть подалее, скомканной тряпочкой — Галкино платье. Дверь в ванную была заперта. На ручке висел дакроновый пиджак. Из ванной слышался шум падающей воды.

— Вы что! — охнула. — Нашли место...

Прибежала к себе в квартиру, сбросила мерзкий балахон, умылась, причесалась по-старому, села на кухне.

— Эх, ты, — сказала с облегчением, — Струсилась...

И потом:

— Ну и струсилась... Тебе-то что?

Пододвинула телефон, набрала номер. Никто у Пашки не отвечал. Еще набрала, еще и еще.

— Алло, — кричала редким гудкам. — Пашу позовите! Па-а-шу!..

Она бежала по улице, полы плаща метались в ногах, и в уши ей билось жалобное, материнское:

— Доченька! Мариночка! Я возвращаюсь!..

— Не надо. Отдыхай себе на здоровье, мама. Поправляйся.

— Я не могу, доченька. Мне беспокойно.

— Все нормально, мама. Все хорошо.

— Еще как хорошо, — откликнулся Игорь, откупоривая. — Лучше не надо!

— Это моя дочь! — закричала мать. — Тебе, конечно, плевать.

— Мне не плевать, — сказал Игорь. — Мне чихать.

— Мамочка! Миленькая! Я справлюсь. Вот увидишь, я справлюсь!

— Доченька, мы едем! Мы уже едем. Игорь, бери чемоданы.

— Не хочу, — огрызнулся Игорь. — У меня отпуск.

— Я сама поеду, сама... Доченька, держись! Мы все устроим. Родишь — я купать его буду. Купать маленьких, знаешь, какая радость?

— Вместе будем, мама. С Игорем.

— Я тут причем? — сказал Игорь, разливая по второй. — Ваш ребенок, вы и купайте.

— Не беспокойся, мама. Я тебя люблю, мама. Я тебе рожу внука, мама. Тимоша. Тимофей Маринович! Мы будем ходить в парк. Гулять, мама. Ты, я, Игорь с Тимошей. Игорь, будем ходить?

— Смотря какой парк, — сказал Игорь.

— В Сокольники. Мы будем ездить в Сокольники!

— В Сокольники будем, — согласился Игорь. — Там пиво хорошее.

— Доченька, мы едем! Едем уже!

— Я жду, мама... Я вас жду!

Прибежала на почту, схватила бланк для телеграмм, написала поспешно: "Мама приезжай скорее!"

— Восклицательный знак не передадим, — сказала женщина в окошке.

— Почему?

— Порядок такой.

Маринка рванула к себе другой бланк, брызгая чернилами, написала по-новой: "Мама приезжай скорее восклицательный знак".

— Это другое дело, — сказала женщина...

Газон отделял дом от улицы.

Газон привлекал всеобщее внимание, притягивал и останавливал на бегу.

Низенький заборчик вокруг. Плюшевый травяной ковер, без привычных зарослей буйного сорняка. Рядок пестрых астр прихотливо извилистой полосой. Груда камней, будто брошенных ненароком. Крохотная клумба с гвоздиками. Одинокий куст розового шиповника. Две тоненькие березки из одного корня. Раскидистая яблоня в углу, тяжелые ветви на подпорках, аккуратная табличка на стволе: "Эти яблоки принадлежат детскому саду № 18". Яблок на яблоне не было. Яблоки оборвали еще зелеными, не дали даже дозреть. И табличка на стволе оставалась мягким упреком, грустным напоминанием, слабой надеждой на будущие раскаяния.

Дина сидела на складном стульчике посреди газона, в фартуке и белой панамке, и детскими граблями рыхлила землю на клумбе. Это был ее газон, замысел ее и старания, работа ежедневная и еженощное беспокойство. Набегали временами бродячие собаки, справляли свадьбы на ее астрах, налетали по вечерам влюбленные нахалы, обрывали под корень нежное великолепие, проводили теплотрассу — кошмарной траншеей поперек, а она потом суежилась, неустанно копошилась, восстанавливала постарому, не давала газону заглохнуть, себе — закиснуть, опустить руки в отчаянии. И всякое утро — торопливый взгляд вниз, через окно: что они еще натворили, те, для кого она старалась, на кого силы тратила. Бывали у нее порой временные помощники, толпами приходили надоедливые советчики, и опять она оставалась одна, на складном стульчике, с граблями, лопаткой или тяпкой. С раннего тепла

и до первых холодов голубели на газоне незабудки, пламенели маки, садовые ромашки раскрывали изумленные реснитчатые глаза, и розы, и тюльпаны, и нарциссы. Все в свой срок, на своем месте, радуя ее и утешая, давая силы копошиться без устали, передвигаться со стульчиком с места на место, с надеждой на скорые результаты. Без результатов что за работа? Хотелось еще завести бассейн-малютку, зеркальце воды с нежными кувшинками, и толстой бельевой веревкой выкладывала она контур — овал, треугольник, сердечко, долго потом приглядывалась, привыкала, никак не могла выбрать подходящую форму. Да и для бассейна нужны силы, опытные помощники, и откладывала она это дело с весны на осень, а с осени опять на весну.

Этот газон завещал ей Александр Аполлинариевич Горский. Завещал невольно, сам того не ведая, не помышляя о последствиях, но Дина запомнила, приняла, поняла по-своему. Так оно всегда: брось мимоходом зернышко — вырастет дерево. Распахивай, рассаживай, пыхти от усилий — и не проклянется. Был у него когда-то сюжет, продуманный исподволь, неспеша, любовно, с которым не хотелось продешевить, который ждал своего времени, легкости мысли, полета духа, той редкой минуты, когда все тебе под силу. Сюжет, который он часто рассказывал, выстраивал на глазах, добавлял, изменял, радовался будущей работе, сюжет, на который вечно не оставалось времени: отвлекало более спешное, к сроку, по договору. А потом он уже не мог написать — только рассказывал. А потом не рассказывал. А потом позабыл... В одном городе, в одном старом провинциальном городе был парк культуры и отдыха, обычный, как все. С бессмысленной колоннадой у входа, с примитивными качелями-каруселями, с пивными и пирожковыми ла-

речками, забитыми наглухо, с плакатами и фотографиями передовиков, с досчатой эстрадой и асфальтовой танцплощадкой, густо обсыпанной окурками по проплешинам окрестного газона. Туда ходили по выходным дням горожане с детишками, туда налетала по вечерам буйная молодежь, и было там скучно, пыльно, временами страшновато. Обычный парк культуры и отдыха в обычном городе средней российской полосы. Но при этом парке, рядом с ним, частью его, сливаясь территориями, стоял старый-престарый запущенный сад. С аллеями, гротами, беседками, легкими висячими мостиками через овражки. Самодур-помещик построил все это еще в том веке для красавицы-жены, на всеобщую тупую потеху и надругательство, разорился вконец, спился в нищете, презираемый всей округой, да и застрелился где-то тут, в беседке, но сад остался, сад цвел по весне буйным яблоневым цветением, давал приют птицам и бродячим мечтателям, сад тихо угасал со временем. Вообще-то, при парке культуры и отдыха предполагались люди, которые должны были за ним следить, но денег отпускали очень уж мало, служители были нерадивы, да и половина садовников, положенных по штату, на самом деле только ими числились, потому что на должности садовников были оформлены дефицитные художники, которые не справлялись с наглядно-массовой агитацией на фанере. Зубастые империалисты, кривые стремительного роста, пьяницы в обнимку с бутылками, "Агитпункт", "Туалет", "Миру мир". Сад угасал, беседки ветшали, исписанные малограмотным матом, с гротов сыпалась пластами штукатурка, висячие мостики зияли провалами. Но была в саду одна аллея — чудо какое-то! С мостиком через ручей, с колоннадой на пригорке, с беседкой под старым ясенем. Осенью, ах, как красива она

была осенью, будто змей-великан сбросил на аллею старую свою переливчатую кожу. А весной, когда цвели яблони! А летом — жасмин! И шиповник! И рябина — гроздьями! Аллея была в идеальном состоянии. Деревья ухожены, кусты подстрижены, мостик в лучшем виде, и колоннада белилась. Там суетился, на этой аллее, день за днем, без выходных, скучный, сутулый, неразговорчивый старик в синем халате, в очках с толстенными линзами, в старой кепочке до самых глаз. Его ставили в пример другим служителям. В его аллею водили туристов. Туда заезжали даже залетные киношники для съемки фильмов из жизни вырождающегося дворянства. Эту аллею знали все влюбленные, и редко кто не целовался там под прикрытием темноты или беседки. И было так долго. Два, пять, восемь лет... "Долго" — оно измеряется не цифрами. А потом старик вдруг исчез. Не стало старика на аллее. То ли умер, то ли заболел, а может, силы истратил по старости. Пора листья сметать, а его нету. Пора колоннаду белить, а он не приходит. И выяснилось тогда в дирекции, что не было никакого старика: по документам не числился, зарплату не получал, и в отпуск не ходил, как все, а делал это сам по себе, по личному желанию. Что-то, наверно, держало его у этой аллеи. Что-то его привязывало. Воспоминания. Переживания. Памятный случай. Кто это теперь расскажет? Решили просто: любовная история. Назвали популярно: "Аллея верности". Экскурсоводы объясняли с воодушевлением, туристы хлюпали в платочки, в проспекте о городе, бедном событиями, отметили этот факт. А аллея тем временем зарастала и угасала, ветшала беседка, скрипел натужно небезопасный мостик, колоннаду, давно уже небеленную, старательно исписали неприхотливым матом. И стала аллея, как все, и не водили в нее ту-

ристов, и про деда позабыли, и событие это постепенно изгладилось из памяти города, потому что денег на парк отпускали очень уж мало, служители были нерадивы, да и половина садовников, положенных по штату, трудились не на аллеях, а на фанерной ниве наглядно-массовой агитации. Империалисты зубастые, кривые стремительного роста, пьяницы с бутылками... У старика был сад, у Дины — газон. Старик пропал давно, Дина еще жила.

— Ну и что же, — подумала вслух. — Они молодые. Им положено запаздывать.

И оглянулась торопливо на дом, на окна его и на лоджии, будто кто-то мог ее подслушать и тут же злорадно, всласть, поиздеваться.

Она не любила свой дом. Не могла с ним свыкнуться. Не хотела. Была тут глубинная несправедливость, царапающая обида, будто увел ее Александр Аполлинариевич Горский из родного жилища, заманил невесть куда и ушел тайком, через окно, изменчески бросив на произвол случая. Все было тут чужое: и квартира, и соседи, и дома вокруг тесно натыканные, и улица в глубине — архитектурный кошмар, куда она зареклась выходить: плоская, безликая, красного казарменного кирпича, будто военное поселение. Не то что ее бульвар: дома старые, глазами оглаженные, деревья густые, дождем непробиваемые, аллеи тенистые для прогулок, лавочки уютные для неторопливого разговора, дети милые, взрослые улыбчивые, и погода там получше, и здоровье покрепче, и страхов поменьше, и небо поголубее, и зима не такая долгая, а весна дружная, а лето мягкое, а осень — бабья, распрекрасная самая... Как ни верти, там, в памяти, все лучше, милее, пригляднее, тут, в жизни, — поплосше, поглубее, позахвтанней. Потому и не верилось, что это, сегодняшнее, навсегда теперь, потому и держалось

ощущение, что воротится назад Александр Аполлинариевич Горский, возьмет ее за руку и — торопко, налегке — уведет назад, в прошлое, в любимые их края. Он и раньше уходил от нее, — он уходил, она терпеливо ждала возвращения, — но тогда шелестел, успокаивая, бульвар под окнами, заросшие аллеи остужали боль, родные стены вокруг, как им и положено, очень ее поддерживали. А тут, что ей поможет тут?.. Появлялась порой шальная мысль поменяться квартирами, поближе к бульвару, но снился ей навязчиво частый сон-знамение, который отбивал охоту: возвращается домой Александр Аполлинариевич Горский, бежит впопыхах по лестнице, сует ключ в неподатливый замок, звонит терпеливо в звонок, стучит кулаком в дверь, а открывают ему чужие, равнодушные люди, оглядывают насмешливо. Глупый сон, наивный до смешного, пустой и никчемный наяву, а поди ж ты: не менялась Дина квартирами, жила тут, куда он ее привел, будто терпеливо ждала чего-то, никак не могла дожждаться. Да и газон не на кого было оставить.

— Они! — вскинулась на стульчике, проводила с прищуром случайных прохожих. — Не они...

Только газон примирял ее с окружением, один только газон! С домом, с улицей, с жизнью. Тут, на газоне, была несомненно нужная работа, скорые, безусловные результаты, позднее удовлетворение на закате жизни. Земля отзывалась щедро и благодарно на ее усилия, земля нуждалась в слабой ее помощи, чтобы развернуться во всей красе, между ней и землей не вставали начеку непременные и надоедливые инспекторы, не хватали за руку путаники-указчики. Всю жизнь ей не хватало этого: уверенности, наглядности, скорых, несомненных результатов. Школа давила на нее, школа неприметно отдаляла учеников, во все годы школа оставалась

наказанием ее и мукой, надеждой и вечным разочарованием. На ее глазах уходили старые учителя и приходили взамен новые. На ее глазах менялись школьные программы, вылетали из учебников негодные классики, исчезали совсем, как не были, переходили в мелкий шрифт, который и не обязательно было читать. Достоевский, Щедрин, Бунин уходили в изгнание, гордые и непримиримые. Пушкин, Гоголь, Толстой оставались обгрызанными, обкорнанными, вульгарным изложением в унылых учебниках. Бедные вы наши классики, затюканные и замордованные, засушенные и препарированные, будто для уроков анатомии, втиснутые на позор в школьные хрестоматии!.. Потом классиков стали возвращать назад, по-одному, с явной неохотой, и Достоевский занял свое место, и Щедрин, и даже об эмигранте Бунине можно теперь говорить, не таясь, и она завлекала ребят, прикасалась к душам, горевала всякий раз, упуская кого-то, ликовала и гордилась крохотной удачей. Она отдавала себя без остатка, а другие натаскивали класс на общие темы, чтобы легче было потом на экзаменах написать сочинение. "Лишние люди", "Луч света в темном царстве", "Буревестник революции", "Счастье трудных дорог"... Она раздувала Божью искру, а другие диктовали, не мудрствуя, тезисы сочинений. Так оно и шло, выпуск за выпуском. Школа скучнела на глазах, увядала, удалялась от детей, вся на инструкциях, указаниях, директивах. Вечная борьба не за души, а за цифры, за процент успеваемости, за лучшие показатели по району, за макулатуру и металлолом, за отчеты и мероприятия. (Слово-то какое — мероприятия! Старика Даля кондрашка бы хватил). Старомодная, занудная, тоскливая школа с одышкой и общим бессилием, давно уже не поспевающая за жизнью. Унылые коридоры в немаркой

масляной краске, пыльные диаграммы и плакаты, обязательные стенгазеты-скуловороты. И сухость, серость, удушающая формальность. И учителя, которые учат с оглядкой, по среднему уровню, чтобы самый тупой не лопнул от натуги, чтобы самый способный не заснул от скуки. Учителя, которые не отвечают на спорные вопросы. Которых давно уже никто не спрашивает. Дети сами все знают. Дети знают даже, почему учителя уклоняются от вопросов. Так что же вы хотите от школы? Школа стала фабрикой, конвейером, который запускает в себя малолеток-несмышленишек и через десять лет выбрасывает готовую продукцию. Кто кем стал, кто что натворил, какие изъяны и недоделки — это ее не касается. Ушел — и пропал. И дело в архив. И по сентябрю новый набор. А по июню — выпуск. И никого никогда не возвращают в школу на рекламацию... Ходят по коридорам бодрые дети-активисты, без сомнений и колебаний с младенчества, которые знают как надо, что можно, где выгодно. Эти не прогадают при случае, временем натасканные, духом пропитанные, примерами поощренные, флюгером развернутые по ветру. Бродят по школе едкие циники, все понимающие, всех презирающие, обреченные на вечную, иссушающую иронию. Эти и приспособятся с усмешкой, и поддакнут с ухмылкой, и пройдут с издевкой по годам, обделенные и обкраденные в своей полунезависимости. Тычутся по углам вялые индифференты в вязком, равнодушном безразличии, лишенные бодрости одних и цинизма других. Эти протопают по жизни общей колонной, одинокие в толпе, завистливые и презираемые, насыщаемые и ненасытные, безликие в отдельности и выразительные в массе своей. И отдельно еще, чудом каким-то, сфинксом, загадкой — неизлечимые романтики, которыми будут дороги

мостить, реки перекрывать, шпалами укладывать. Которые до конца дней своих так и не поймут, на что же их употребили корыстные вдохновители, лишь бы с песней, с рюкзаком, с гитарой у костра... Какие они разные поначалу, дети наши, будущее наше, удивительные и неповторимые, но проходят школьные годы, накладывается грим, — детство легко вытравить из человека, — и четко проступают образы, которые уже не переделать. Здесь, на газоне, хоть пересадить можно, выполоть, перекопать и засеять заново.

— Могут и не прийти, — утешила себя. — Мало ли что... Люди занятые, в делах, не я — лентяйка.

Она возилась на газоне все дни свои, с первой оттепели и до снега. Даже зимой бродила вокруг, не могла удержаться, памятью угадывала под сугробами места временного захоронения. Газон требовал вечного ухода, неусыпного внимания, постоянного беспокойного взгляда через окно. Это был не простой газон, не трата пустого пенсионного времени, но памятник, скромная пометка скорбным событиям. По ученикам погибшим, по талантам загубленным, по способностям невыявленным, по Александру Аполлинариевичу Горскому, по книге его ненаписанной, по свежести растроченной, по кончине отчаянной — через окно, на асфальт. О памятнике этом никто не знал. Знала она — и достаточно. Даже Маринке не говорила: молода больно. Даже ученикам своим бывшим, что заглядывали раз в году: чересчур уж заняты. Воспоминания — удел стариков да бездельников. Можно, конечно, поставить табличку с надписью, с подробным описанием случившегося, но кому это помогало? На яблоне, вон, тоже висит табличка, а яблок все равно нет. Только стоял на ее газоне, посреди ухоженного благоухания, сухой скелет давно усохшего то-

поля, — она не давала спиливать, — скорбной нотой в радостном звучании, сухими ветвями, вздернутыми к небу, в мольбе и проклятии, в напоминании и предостережении. Чтобы не были мы безоблачно беззаботны. Чтобы были мудрее. И помнили. Ох, чтобы мы все помнили!..

Богушевский Игорь — в сорок втором году, в плену...

Родин Григорий — в сорок втором году, под Ржевом...

Рааб Габор — в сорок пятом году, под Бреслау...

Купцов Игорь — в сорок пятом году, в Германии...

Дивильковский Юрий — в сорок третьем году, под Курском...

Они стоят возле своей школы, бывшие ее ученики, вечные, навсегда молодые, в шинелях и пилотках, с винтовками за спиной и вещмешками. Стоят сбоку, у стены, скромные и малозаметные, будто стесняются быть на виду, на глазах у любопытных, потому что не чувствуют за собой славы кричащей, подвигов несусветных, героизма исключительного. Снег заваливает подножие, дождь мочит спины, зной обжигает лица, а они стоят твердо и неколебимо — левая рука сжата в кулак, правая на ремне винтовки, защищают неприметно школу свою, учителей, подружек оставленных. Дети против танков. Штыки против пулеметов. Патроны против бомб. Война для них не кончилась. Мир для них не начался. Тонкие шеи, несуразно длинные, как на вырост, шинели, и очки на глазах, и пилотки на макушках, и сапоги громоздкие. Мальчишки-подростки, призыв первого года войны, необученные, необстрелянные, посланные в спешке затыкать чудовищные дыры на фронтах. Кто бросил их в про-

жорливую мясорубку? Кто ответит за гибель эту, за жертвы молодые, за загубленную молодость? Немцы? Пусть это будут немцы...

Богушевский Игорь — в плену...

Родин Григорий — под Ржевом...

Рааб Габор — Бреслау...

Купцов Игорь — в Германии...

Дивильковский Юрий — под Курском...

Они стоят у стены, на низком постаменте, неумело сделанные, неумело поставленные, маленькие и невидные, и эта неумелость потрясает больше всего, неумелость создателя, неумелость и незащищенность созданий. А приглядишься внимательно: штыки примотаны к дулам черной изоляционной лентой. Очень длинные штыки, чтобы достать врага поскорее. Еще приглядишься: паутина сзади, связывает и скрепляет, тонкая паутина, будто и она в помощь. Цветы усохшие в ногах. Береза, ветвями осеняющая. Стена за спиной, беленого кирпича. Окна в стене: с занавесками, кастрюльками, кефирными бутылками. Мог быть монумент грандиозный, знамена развевающиеся, фигуры мужественные, пламень в глазах героический, но стоят они невысоко над землей, беззащитно храбрые, слабые и уязвимые, и страх за них, боль по ним и печаль. Защитники наши, которых надо было защищать. Бойцы наши, за которых надо было бороться. Наша опора и надежда в смятенное время. Таких выставляют вперед в самом безвыходном положении. Такими жертвуют от отчаяния, в последней попытке выстоять. И оттого: мальчишеская решимость в глазах. Мальчишеская суровость. И страх, глубоко запрятанный. И осознанная обреченность. И тоска по дому. По маме, по школе, по самому себе. Крайний справа — тщедушный, узкоплечий и сутулый, с близоруким прищуром. Что он высма-

тривает там, впереди? Что видит в отдалении? Смерть свою? Жизнь свою? Жену и детей? Они еще не женаты, вечно юные, у них еще нет детей, у этих детей, и любви нет, и привязанности, и ночей бессонных от счастья, и стога обладания... "Будьте памяти павших верны. 1941—1945". И у изножия — плита с фамилиями. Девочки и мальчики этой школы. Двумя длинными колонками, убористым четким шрифтом. Кто повинен в катастрофе? Кого проклинать? Кого ненавидеть? На кого сваливать жертвы эти? Немцы? Свалим все на немцев...

Богушевский Игорь...

Родин Григорий...

Рааб Габор...

Купцов Игорь...

Дивильковский Юрий...

Пробегают мимо ребягтя легконогая, проходят учителя, строго и с достоинством, шествует директор, весомо и значительно, и вот уже звенит звонок, и начинаются уроки, и эти, на постаменте, прислушиваются к звукам, что доносятся из окон, заново проходят школьный курс. Заново и опять заново. О придаточных предложениях, о законе Ома, о событиях в Великую Отечественную войну. И учитель истории, молодой и самоуверенный, бодро и весело разъясняет детям причины и следствия, промахи и победы, мудрость и прозорливость вождей, героизм и самопожертвование солдат. А эти, бессловесные, не могут вмешаться, им не дано подправить, добавить, опровергнуть. В учебниках уже выстроена четкая хронологическая последовательность — незыблемым монолитом, и не вклинишься между строк, не прорвешься на урок, не разомкнешь мертвый рот. Только и остается, что стоять насмерть, гордо и отчаянно, только и выходит, что стиснуть зубы и отдать себя за Родину, за жизнь,

за маму, школу и подружек. Что им эта история, каток отшлифованный, по которому беззаботно скользят новые поколения? Что им счет неоплаченный, бухгалтерское сальдо погибших, больше-меньше, расход-остаток, когда никто потом не поинтересовался гибелью миллионов, ни с кого не спросили за неисчислимые жертвы? С них, с неоперившихся, потребовали плату, им, неосведомленным, велели расхлебывать чьи-то просчеты, тупость и корысть, и они отдали без спора жизни свои, молодость и мечту, жен невыбранных, детей неродившихся. Кого теперь судить? Кого казнить? Кому болтаться на виселицах? Немцам. Ну, конечно же, немцам...

Богушевский — в сорок втором году...

Родин — в сорок втором...

Рааб — в сорок пятом...

Купцов — в сорок пятом...

Дивильковский — в сорок третьем...

Крутояров — в сорок шестом...

Стоп! Тут что-то не так! В сорок шестом? Почему в сорок шестом? И кто такой Крутояров? Не иначе, самозванец. Пройдоха ловкий, проныра шустрый, примазавшийся к чужой славе. Нет никакого Крутоярова на постаменте, нет Крутоярова на плите у подножия, и памяти о Крутоярове тоже нет. Да и в сорок шестом году войны уже не было, — это всякому ребенку известно, — в сорок шестом году жизнь была мирная, веселая и легкая, и люди тогда не погибали, и дети не умирали, а купались в лучах победы, радостные и счастливые. И все же... И все же! Напрягите память-изменницу. Наморщите лобики безмятежные. Крутояров Андрей, девятый класс "А", третья парта у окна: копна смоляных волос, голубые, нездешние глаза, обкусанные в задумчивости ногти. Был такой Крутояров Андрей,

был или не был? Жил — не жил? Вспоминать его или не вспоминать? И его ли одного?..

Крутояров Андрей — посажен в сороковом году, умер в сорок шестом, на Воркуте...

Сосницкий Лев — посажен в сороковом, застрелен в сорок девятом, на Ангаре...

Фомина Елена — посажена в сороковом, умерла в пятьдесят четвертом, от туберкулеза...

Михайлов Петр — посажен в сороковом, реабилитирован в пятьдесят шестом, пенсионер, инвалид первой группы...

Цукерман Семен — посажен в сороковом, год и место смерти неизвестны...

Кто помнит о них? Кто плачет-поминает? Андрюшу Крутоярова — вечно удивленного. Леночку Фомину — редкостное создание. И Левушку-мечтателя, и Петю-правдоискателя, и Сеню-остроумца, и тихого мальчика по кличке Зайчик, и девочку, нет, двух девочек, застенчивых неразлучниц. Кто помнит по имени учителя литературы: Сергей Иванович или Иван Сергеич? Кто опишет теперь внешность его? Нечто сутулое, бородатое, в пенсне. Они ждали — не могли дожждаться его уроков. Они бегали по вечерам на литературный кружок. Они писали стихи, рассказы и сказки, спорили до хрипоты, ломая неокрепшие детские голоса, они даже выпустили рукописный журнал, сшитый нитками из многих тетрадок в линеечку. "Аполлон" — вот как они назвали свой журнал. "Аполлон", а не "Знамя", не "Звезда", на худой конец — не "Костер". Журнал ходил по рукам, вызывая восхищение почитателей и зависть недоброжелателей, и ребята гордились учителем своим, а он гордился ими. Какой это был учитель и какие были у него ученики! Кого мы погубили, не разглядев?..

Крутояров Андрей — умер на Воркуте...

Сосницкий Лев — застрелен на Ангаре...

Фомина Елена — от туберкулеза...

Михайлов Петр — инвалид первой группы...

Цукерман Семен — неизвестно...

В сороковом году это случилось. Весной сорокового. В мае. Перед самыми каникулами. Перед купанием, сбором грибов, беготней босиком и ауканьем в лесу. До сих пор положено нам, современникам, корчиться воспоминанием о дне том, чудовищном. Их брали в школе, прямо на уроках. Они приходили по-одному, вызванные к директору, и в дверях уже стоял охранник, и в коридоре стояли охранники, и учитель литературы в углу беспомощно моргал через стекла пенсне. Они управились за один урок, от перемены и до перемены, и когда ребята высыпали в коридор, а учителя пошли в учительскую, никого уже не было: ни машин у подъезда, ни этих учеников, ни их любимого литератора. Потом, на допросах, перетрясли всю школу, сверху донизу: кто что знает, кто что видел, кто что читал и кто ему дал. Обвинили их всех по-простому, не мудрствуя лукаво. Распространение нелегального издания. Пропаганда духа, чуждого нашей действительности. Тайные собрания под видом литературного кружка. Каждому — по десять лет. И учителю, и ученикам, и даже тихому Зайчику, который не написал пока ни строчки, и девочкам — застенчивым неразлучницам, что слова не сказали на шумных их встречах. И ушли они навечно из школы, ушли из жизни нашей, по этапу в небытие, тоненькими фигурками на грозном горизонте, и война их заслонила. Память о них, талантливых увлеченностью, осталась в школе навечно: страхом, нервной боязливостью, эхом от грубых каблуков. А страх, как известно, хороший надсмотрщик, но плохой воспитатель...

Крутойров Андрей...

Сосницкий Лев...

Фомина Елена...

Михайлов Петр...

Цукерман Семен...

Встал возле школы памятник павшим бойцам. С цветами, речами, пионерским салютом. Нет возле школы памятника павшим талантам. Несостоявшимся, непроклянувшимся, грубо затоптанным тяжелым сапогом с подковками. Но приглядишься внимательно к кирпичной стене, напряги воображение, собери воедино боль свою и вину: проступают на щербатом кирпиче временем смытые лики. Копна волос, излом брови, глаз задумчивый, скула обтянутая, пальцы нервные, кисть руки... Как безрассудно мы живем, разбрасываясь богатством своим! Как нагло мы себя ведем, задавливая тех, кто не по нашему разумению! Как самоуверенны мы, торжествующие бездарности в сторожевых тулупах, бдительными попками над колючей проволокой! Как подозрительны и придирчивы! Только расслабься, притупи бдительность, и они уже ползут из всех щелей, гниды нестандартные, и оттенят нашу прямоугольность, нашу завизированную гениальность. Вот и стоят на земле, тут и там, невидимые памятники павшим талантам, но цветы к ним не несут, и знамена не склоняют, и речи не говорят. Жить им оставалось в сороковом — год, один только год до войны. Чтобы встать навечно павшими героями, потеснить тех, на постаменте. Прожили они дольше, тюрьмами спасенные, лагерями убереженные от быстрой гибели. Кого винить в гибели тех? Немцев, разве что немцев. Кого благодарить за жизнь продленную? Наших, разве что наших...

Богушевский Игорь — в плену...

Крутойров Андрей — на Воркуте...
Родин Григорий — под Ржевом...
Сосницкий Лев — на Ангаре...
Рааб Габор — под Бреслау...
Фомина Елена — от туберкулеза...
Горский Александр Аполлинариевич — в почете и
достатке...

Пришла вдруг Маринка.

Раскраснелась, запыхалась, видно, очень спешила.

Прислонилась к дереву, требовательно уставилась на Дину. Все ясно: дело идет к разговору.

— Ну, — сказала Дина. — Спрашивай.

Это была их вечная беседа. На откровенность. Давно уже начатая. Нескончаемая. Та спрашивала, эта отвечала.

— Про деда, — безжалостно потребовала Маринка.

— Хорошо. Пусть про деда.

А у той уже вопрос на языке. На который требуется незамедлительный ответ. Потому, видно, и спешила, что невтерпеж.

— Дед верил?

Дина вздохнула тоскливо.

— Во что?

— Во все.

— Трудный вопрос.

— Ты не увиливай, — сказала Маринка. — А то спрашивать не буду.

— Во все не верил.

— Я и сама знаю. По книжкам видно.

— Зачем тогда спрашиваешь?

— А затем... — Маринка даже ногой топнула. — Затем, что у меня ребенок будет. Тимоша. Как мне его воспитывать?

Дина опустила голову, будто провинилась в чем-то.

— Он был добрый, твой дед. И слабый. Он выбирал нейтральные темы, и нет вреда от его книг.

— Тимошу тоже воспитывать на нейтральных темах? На цветочках-бабочках? Ты мне лучше скажи: дед понимал, что происходит?

— Да.

— Мучался?

— Да.

— Страдал?

— Да. Да!

— Почему же тогда не писал об этом? — Маринка нависла над ней, сидящей. — Почему?!

— Время было страшное, Мариша. Вам, теперешним, не понять.

— Что вы все временем своим тычете? Надоело. Как лишай. Пора бы уж вылечиться!

— От этого не вылечишься. Память в рубцах.

— Это ваша память, ваша — не моя! Он мог вообще не писать. Или писать для себя, в стол.

Дина опять опустила голову.

— Почему ты не спрашиваешь про другого деда?

— Про Никодимова? А чего спрашивать? С ним все ясно. Большой начальник по строительной части.

— Какая ты безжалостная сегодня...

— Потому что я должна знать. Мне детей воспитывать. У меня их много будет, вот увидишь!

— Я не увижу, — сказала Дина. — Это уж без меня.

— Во! — Маринка показала кулак. — И не мечтай. Ишь, какая хитрая: заварили эту кашу, а мне потом на вопросы отвечать? Что я им скажу потом?

— Вырастут — сами разберутся.

— Ну уж нет! Я когда спрашивала, что вы мне мололи? Как это я дебилком не выросла? До сих пор каша в голове.

— Любовь прививай, справедливость, что еще?

— Да?! Вот я воспитаю Тимошу на справедливости, а что дальше? Носом об стенку? Здрасьте, ягнята, вот он я! А ягнята зубами щелкают...

— Наша доля такая, — сказала Дина. — Растить неприспособленных. Наш долг.

— Чтобы волкам было кого есть?

— Нет. Чтобы волков было поменьше.

— Я не согласна, — сказала Маринка. — Лучше я рожать не буду.

— Будешь, — пообещала Дина. — Ты будешь.

— Тогда так, — решила. — С самого начала учу его врать. Остальное приложится.

— И что дальше?

— Ничего. Хорошо жить будет.

— Ты не сможешь.

— Смогу. Дед смог, и я смогу.

— Он не обманывал.

— Умалчивать, что обманывать.

Дина оглянулась неприметно на дом, на лоджии, на окно свое, то самое, памятное, из которого...

— Дед заплатил за это, — сказала тихо. — За все рассчитался...

И заплакала беззвучно, некрасиво сморщив лицо, сотрясаясь на складном стульчике рыхлым телом.

— Лучше бы он книжки свои в окно выкинул! — крикнула Маринка и тоже заревела, прижалась, обхватила руками седую голову в панамке, хлюпала, шмыгала сырым носом в самое ухо: — Прости меня, дуру... Ну прости...

Поплакали вместе, всласть, взхлеб, на изумление ненавистному дому. Поплакали — и легче стало.

— Ой, — сказала Дина, — стучится... Он у тебя стучится.

— А то нет...

И замерли обе, прислушиваясь. И уловили глубинные, легкие толчки.

— Драчун, надо же? В кого это?

— В Пашку. В кого еще?

Помолчали. Поглядели друг на друга. Повздыхали от пролитых слез.

— Еще спрашивать буду.

— Давай.

— Про тебя.

Дина поправила панамку на голове:

— Про меня-то что?

— Как ты детей учила?

— Так и учила. Добрыми быть. Терпимыми. Гордыми. Неравнодушными. Что я еще могла?

— А результаты?

Дина задумалась.

— Всякие. Кто как. Не я одна их учила. Жизнь помогала.

— Вот! — закричала Маринка. — То-то и оно! Я лжи не хочу, лжи! Говорим одно, думаем другое. Делаем так, объясняем иначе. А они смотрят, они же все понимают! Ну, сколько можно над детьми издеваться?!

Во двор с улицы лихо завернула черная "Волга", проскочила мимо них, встала у подъезда. Дверцы распахнулись, полезли оттуда мужчины.

— Вон, — показала Маринка. — Приехали твои результаты...

Дина бежала к ним, колыхаясь тяжелым, непослушным телом, и все выглядывала на бегу, кто приехал, да сколько, да они ли...

Их было трое у машины, и один внутри, за рулем. Увидели ее, заулыбались, шагнули навстречу, самый большой из них, головой над всеми, что-то быстро и

предостерегающе сказал другим. Что — она не слышала.

— Мальчики... — еще на бегу. — Мальчики мои!..

— Здравствуйте, Дина Михайловна, — сказали они дружно, будто здоровались на уроке.

— Костя! — прижалась к большому, сытому, благодушному, — Костенька... Витя! — к низкорослому, бледному, желчному на вид. — Милый ты мой... А это... Это...

— Леня, — подсказал третий, плотный и устойчивый, чуб набок. — Я Леня Игнатьев. Помните такого?

— Помню, ну как же! Леня Игнатьев, который вертелся за партой...

— Он больше не вертится, — сказал Витя. — За него вертятся подчиненные.

— А это кто? — Дина сунулась в машину. — Что-то не узнаю...

— Это мой шофер, — небрежно пояснил большой Костя. Говорил он громко, зычно, почти криком.

— Ну да?!.. Кто же ты теперь?

— Главврач больницы. На тысячу мест.

Шофер заржал вдруг, оскалив зубы. Рукава засучены, руки волосатые, мощная шея в распахнутом вороте.

— Уволю, — пообещал главврач. — Без выходного пособия.

— Ну, ты даешь, — помрачнел шофер и сплюнул ему под ноги.

— Грубый человек, — шепотом объяснил Дине, — но очень мне предан. И прекрасно машину водит.

Дина оглядела их всех, светло и лучисто.

— Мальчики... Мальчики мои!.. Мне даже неловко, что время на меня тратите.

— Традиция, — пояснил желчный Витя. — У нас их теперь так мало, что грех последнюю терять.

— Да в делах все! — закричал большой. — Никак не выбраться! Городецкий улетел на Таймыр, Крутиков по горам шатается, у Васьки Ермоленко очередной запуск. То ли на Луну, то ли на Марс.

— Надо же! — восхитилась Дина. — Идемте скорее. Я вам вино приготовила, калачи свежие, масло вологодское. Специально в центр ездила.

Они переглянулись.

— Дина Михайловна, может, покатаемся сначала? А то мне шофера отпустить надо. Через два часа.

— Через час, — поправил шофер и опять сплюнул.

— Покататься? — Дина засомневалась. — Можно, конечно... Но потом — ко мне!

И тут она вспомнила про Маринку.

— Мариша, иди сюда!

Маринка шла от газона, независимо отмахивала рукой, и полы длинного плаща отпахивались на широком шагу.

— Красавица! — закричал в восхищении Костя. — Богиня! Как же я ее раньше-то проглядел! Дина Михайловна, я на ней женюсь.

— Уже, — сказала Дина. — Ты опоздал. Скоро у нас свадьба.

— Расстроим! Умыкнем! Тайно обвенчаемся!!

— Помолчал бы ты, — попросил желчный Витя. — Еще со школы голова от тебя болит.

— Не ссориться, — Дина была в настроении. — А то за родителями пошлю.

— Нет у меня родителей, — сказал Леня Игнатьев. — Давно схоронил.

Они замолчали сразу, посмотрели на него с недоумением.

— Извините, — сказал. — К слову пришлось.

Но Дина уже воодушевилась. Дина не хотела портить хорошие минуты. Не так много их у нее осталось.

— Мариша, — скомандовала. — Марш на лифте за вином! Калачи возьми, масло — будет у нас пикник.

— Какой еще пикник? — возмутился шофер. — Мне в гараж.

— Подождет твой гараж...

Они выезжали со двора, и Дина — в фартуке и панамке — оживленно вертелась рядом с шофером, взмахивала дареными гладиолусами.

— Куда едем? — спросил шофер.

— Далеко! — Большой Костя развалился с удобством на заднем сиденье. Им было тесно вчетвером, одному ему свободно. — На край света, пока бензин не кончится.

— За час не кончится, — буркнул шофер.

— Уволю, — пообещал Костя.

— Высажу, — пообещал шофер.

— Ну, грубиян! Ну, бандит! Дина Михайловна, не слушайте его. Все-то он притворяется.

— На Воробьевы горы, — попросила Дина. — Можно?

— Можно.

Она обернулась к ним, оглядела всех с удовольствием.

— Ну, рассказывайте. Кто вы? Где вы?

— Я главврач, — прокричал Костя. — Больница на тыщу мест. Операции на открытом сердце. В Англию еду, на конгресс.

— Ну да?!

— Да. А чего? Игнатьев — начальник строительства. Огромная гидроэлектростанция. Крупнейшая в мире. Построит — героя получит.

— Ладно тебе, — хмыкнул Игнатьев. — Я, Дина Михайловна, начальник участка. Строим помаленьку.

— А участок у него — две Бельгии! Личный само-

лет, личный вертолет, личный вездеход! А Витек у нас — главный инженер проекта. Сотрудников — два этажа!

— Я главный, — повторил желчный Витя, зажатый посередке. — Главнее самого себя.

И сморщился, как от кислого. И поежился под пристальным Маринкиным взглядом.

— Он у нас еще министром будет, — пообещал Костя. — Вот увидите. Такой пробивной!

— Я вас ждала, мальчики, — сказала Дина. — Я так вас ждала! Целый год...

И все замолчали сразу. И в тишине поехали дальше.

Они приходили к ней раз в году. В один и тот же день. Второго сентября. Это началось с их выпуска, когда заявился к ней неожиданно-негаданно весь класс, и с той поры, вот уже двадцатый почти раз, они приходят к ней в этот день и отчитываются за прожитое, беседуют о важных проблемах, спорят, доказывают свое, а она слушает с пугливым восторгом, вставляет порой несмелые реплики, ужасается по-бабьи: "Куда вы столько повыдумывали? Может, хватит пока? Дайте и нам переварить..." Когда-то их приходило много, комната не вмещала всех, потом стало поменьше, теперь вот уже трое, а дальше... Дина не любила загадывать.

Леня Игнатьев заворочался у дверцы:

— А я, Дина Михайловна, не помню, когда книжку в руки брал. Как Пушкина зовут, и то позабыл. Работа нервная, дерганая, до ночи. А в выходной с детишками надо погулять. У меня их пятеро.

— Пятеро?! — охнули они, и Маринка даже руками всплеснула.

— Пятеро. И еще будут.

— Умница, — сказала Дина.

— Дурак, — сказал Костя.

— Завидую, — сказал желчный Витя.

— Подумаешь, — сказал шофер. — У меня их тоже, может, пятеро. Только от разных баб.

А Маринка промолчала.

Проехали Зубовскую, Крымский мост, Парк культуры, повернули направо.

— Хорошо тут у вас, — запечалился Игнатъев, — да я уж отвык. Сколько лет по договорам катаюсь...

— Привыкай давай, — сказал Костя. — Чего с медведями жить?

— Не привыкай, — сказал желчный Витя. — Не надо.

— Да меня в Москву зовут, — оскорбился Игнатъев. — В управление. Не могу! Ловкие тут все, верткие — не для меня... Там хоть дело делаю: руками потрогать можно. Мост строю. Прочный, на опорах — сто лет простоит!

— А куда он ведет, твой мост? — спросил желчный Витя.

— Этого я не знаю. Мое дело построить.

— Ты муравей, понял? Муравей! Одни рефлексы! Им разрушат, а они отстраивают. Им опять разрушат, и они опять... Задумались бы хоть, прежде чем суетиться.

— Я муравей, — согласился тот. — А на муравьях все и держится.

— Вы чем горды? — строго спросила Маринка. — Отвечайте сейчас же!

— Работой.

— И все?

— И все.

— Да ну, — зашумел Костя. — Это он скромничает. У самого орденов — вешать некуда!

— Ордена... — Игнатъев отмахнулся. — Дети — мои ордена. Детей бы не заразить вашей шустростью.

Маринка так и подалась к нему:

— А вы... вы что им говорите? Когда спрашивают. Он сразу ее понял.

— Я им ничего не говорю. Я их к работе приучаю, к делам ясным и нужным.

— И у вас получается?

— Получится.

— Молодец, — сказал Костя.

— Дурак, — сказал Витя.

— Милый ты мой... — сказала Дина.

А Маринка опять промолчала. И он молчал. Руки сжал в кулаки, взгляд, не моргая, вперед, складка на лбу, как обруч.

— Конечно, — сказал Костя, — кто-то должен строить.

— Зачем? — сказал Витя. — Строй — не строй, они все опошлят.

— Мост останется, — сказала Дина. — Это уже немало...

Повернули на Воробьевское шоссе, прибавили ходу.

— Странно у вас получается, — сказал шофер и цыкнул длинным плевком через окно. — Люди вы ученые, интеллигентные, а веры ни на грош. Что же нам, работягам, остается?

— Все вам, — закричал Костя. — Для вас стараемся!

— Да на хрена мне твои старания? Ты не веришь, а я что, дурее тебя? Я и подавно не поверю.

— Поверишь, — оскалился желчный Витя. — Куда ты у нас денешься? Постареешь чуть, и во все поверишь.

— Перемены нам нужны, — сказал шофер. — Ох, перемены! Руки чешутся...

— Ну уж нет! — Костя даже испугался. — Не надо никаких перемен. Хватит! Достаточно было на этом

веку. Замрем, граждане! Замрем и проживем спокойно.

— Тебе не надо — другим надо. Вот полезем мы из щелей, ух и полезем!

— Расслабься! Не думай! Чего тебе? Погода! Солнышко! Пищеварение! Если хочешь знать, на нас лежит долг. Отдохнуть за прошлые поколения!

— Дерьмо вы все, — подытожил шофер. — Как интеллигент, так дерьмо. Вот бы нам без вас обойтись, так нет, вечно под ногами путаетесь. Что такое?..

И поехал медленно, у самой бровки, никого не обгоняя, будто задумался.

— Не знаю, — сказал Игнатьев твердо и убежденно. — Мне платят деньги, я за это служу. Что велят, то делаю. Или не бери деньги.

— Да разве это деньги?! — закричал шофер тонко и надсадно. — Еле семью тяну...

— А мне... — спросила вдруг Маринка и даже тронула Игнатьева за рукав. — Можно к вам?

— Можно.

— Я не одна. Я с мужем.

— И с мужем можно.

Стояли в ряд большие и малые автобусы. У парапета на смотровой площадке густо топтались туристы. Город внизу, раскрытый для обозрения, заливало низкое, беспощадно слепящее солнце. И небо над головой было уже по-осеннему в стылой, холодной голубизне.

Большой Костя первым вылез из машины, потянулся с хрустом, распахнул перед Диной дверь:

— Прощу! Воробьевы горы. Они же Ленинские.

Дина жалобно взглянула снизу:

— Что-то мне расхотелось, Костенька... Отвезите меня назад.

Выглядела она усталой, постаревшей, даже в

размерах вроде уменьшилась, как усохла. И панамка на голове была не к месту, и фартук поверх платья, и вся эта затея с катанием. Гладиолусы, и те приникли.

— Город, — сказал желчный Витя. — Красавец. Глаза бы мои не глядели!

— Он ноет! — завопил Костя. — Не слушайте его! Он и в министрах ныть будет!

— Смешно у вас получается, — опять удивился шофер. — Сами увлекают куда-то, и самим же потом ни к чему.

— Молодец! — захохотал Витя. — В самую точку попал. В диалектику истории...

Шофер закурил "Беломор", пустил дым мощной струей:

— Ты меня на мудреные слова не бери. Я и без тебя разберусь. Мы еще сюда на танках приедем, ох, приедем!

— Приезжай, приезжай. Герцена с Огаревым давить...

Шофер обернулся через плечо, смерил его взглядом:

— Развязно себя ведете, Изя.

— Он не Изя, он Витя.

— Витя — не Витя, а я этих Изев за версту отличаю.

— Ах, вот как... — захлебнулся желчный Витя. — Ты так заговорил?!

— Так, так, а ты думал?

— Я думал... — губы его синели на виду. — Я думал — человек человеку брат. Была такая установка в свое время. Или отменили уже? За ненадобностью? В связи с торжеством гуманизма в отдельно взятой стране...

— Надо еще разобраться, кто ее придумал, установку. Не вы ли?

— Мы, конечно мы, всё мы! Что бы ты, дурак, без нас делал? На кого идиотизм свой сваливал?

— Мотал бы ты отсюда, — посоветовал шофер, просто, жутко и убедительно. — Пока вашего брата выпускают. А то, гляди, поздно будет...

— Заткнись, — сказал Игнатъев. — Понял?

— Ты что? На своих?

— Какой ты мне свой? Дерьмо собачье! Извините, Дина Михайловна.

У Дины задрожали губы:

— Мальчики... Отвезите меня домой...

— А выйти? — закричал большой Костя, будто ничего не случилось. — На город посмотреть?

— В другой раз...

Молоточки ударили изнутри. Еще и еще, сильнее прежнего. Будто потребовали чего-то. И немедленно.

— Другого раза не будет, — рассердилась Маринка. — Чтобы вы больше к бабушке не приходили! Метлой гнать буду! Палкой!..

И полезла из машины.

— Мариша, — вскрикнула Дина, — как ты можешь...

— Могу. Я теперь все могу.

— Ну-ну, — Костя запихнул ее обратно. — Сиди!

— Пусти!

— Не пущу. Расслабься, слышишь? Кому говорят!

И сам втиснулся в машину, телом, как пробкой, заткнул проем.

— Нет, — сказал Игнатъев, — не перееду я сюда. Ну вас! Лучше с медведями жить.

И они поехали обратно.

Шофер гнал, как сумасшедший. Волосатые ручки мощно ухватились за баранку, словно за вражье горло. Губы шевелились безостановочно: то ли ругал кого-то, то ли грозил. С маху пролетели мимо

таинственных особняков за сплошными заборами, потом по набережной, через мост, через загазованную, забитую машинами Беговую, в туннель, мимо "Динамо" — молчком до дома.

Шофер встал на улице, во двор не поехал.

— Вываливайтесь.

Они вылезли из машины, помогли Дине выйти.

— Погоди, — сказал большой Костя. — Я сейчас.

— Чего годить? Мне в гараж пора.

— Обождешь! — гаркнул желчный Витя, и они пошли во двор.

У подъезда Дина спросила неуверенно:

— Зайдете?

— Мне домой, — сказала Маринка. — У меня дела.

— А мне в аэропорт, — сказал Игнатьев. — Может, улечу сегодня.

— Без билета?

— У него бронь! — снова закричал большой Костя.

— Правительственная! Он же у нас начальник! Почти всей Сибири!

— Я верю, — сказала Дина. — Можно без повторений.

— Мы его проводим, — сказал желчный Витя. — Можно, Дина Михайловна? А то когда еще увидимся...

— Ну конечно, — она глядела на них пристально, как прощалась. — Конечно, конечно...

Постояли, потоптались, духу не хватало ступить первый шаг.

— А выпить? — вспомнил Костя. — Без этого не уйдем.

Расстелил на лавочке газету, разложил калачи, масло, ловко открыл бутылку.

— За что пьем?

— Держитесь, мальчики, — попрощалась Дина.

— Держитесь изо всех сил...

— Мы держимся, — бодро откликнулся Костя. — Вы не подумайте: мы еще ого-го!

С тем и выпили. Разорвали калачи, тыкали в оплывшее масло, жевали на потеху и изумление интеллигентных соседей. А Дине было приятно. Одно это и было приятно за весь нескончаемый день.

С улицы загудела машина.

— Маришу, — попросила, — подбросьте до центра.

— Что за вопрос?!

Они уходили по двору, мимо ее газона, а она стояла у подъезда, в фартуке и панамке на седой голове, пристально глядела вслед.

— Я к вам завтра зайду, — крикнул от угла желчный Витя. — Ладно? Или на той неделе...

Слеза покатила по щеке: очень уж легко она теперь плакала. Сердце защемило болезненной спазмой: слишком уж часто оно щемило. А так все было нормально. Грех жаловаться.

Прошла по газону, села на складной стульчик, взяла в руки привычные детские грабли.

Только газон примирял ее с жизнью.

Один только газон...

Они свернули за угол, и Игнатьев сразу сказал:

— Не провожайте меня. Не надо.

— А никто и не собирался, — захохотал Костя.

Шофер сидел в машине багровый от ярости, глядел на них через стекло, будто убивал на расстоянии.

— Держи, — Костя протянул деньги. — По уговору.

— Уговор на час, а катались полтора. Еще давай.

— Логично.

И дал еще.

Тот рванул из рук деньги, судорожно запихал в карман.

— Жадность тебя сгубит, парень, — сказал желч-

ный Витя. — Постоянное удовлетворение растущих потребностей. Этим тебя и купят. На танк занавесочки повесишь.

— Ты ко мне домой приходи, — бормотнул шофер, захлебываясь злостью. — У меня вашего брата много на стене наклеено. В сортире, в черных рамочках. Сплошные Иззи. Из газеты вырежу — радость. На толчке сижу — удовольствие.

Желчный Витя засутулился еще больше:

— Когда всех наклеишь, за кого потом примешься?

— Найдем за кого. У нас еще татары непочатые.

Сплюнул им под ноги и уехал, взревев мотором.

— Что же это такое?! — горестно завопил Витя. — Неужто им ненавидеть больше некого?..

— Витек, расслабься! Не задумывайся, Витек! Войди в их положение.

— Чего это я буду входить в их положение? Пусть они войдут в мое.

— Они не могут, Витек.

— Почему? Ну, почему?!

— По кочану. Не могут — и все. Такая у них специфика.

— А пошли вы все...!

— Куда нам идти, Витек? — ухмыльнулся Костя.
— Мы дома.

— Вот! — охнул. — И ты туда же...

И пошел по тротуару, заваливаясь набок, цепляясь плечом за колючий кустарник у забора.

— Догони, — приказал Игнатьев. — Живо!

— Да ладно тебе! Это, старик, не Сибирь. Тут я командую.

— Сейчас... — сказала Маринка. — Я догоню.

И быстро пошла следом.

— Ты знаешь кто? — спросил Игнатьев, прицеливаясь.

— Кто?

— Шакал. Ты состарившийся шакал. Племя шакалье. Урвать — и в кусты.

— Я-то шакал, ладно, а ты кто? Ты наркоман, Игнатьев. Поверь врачу: кому морфий, а тебе работа. Лишь бы забыться.

— И хорошо. И пусть. Зато дело делаю. Оглянуться есть на что.

— Ну и утешайся этим. Утешайся, дурак! Ты еще не родился, а тебя уже обошли. Ты еще на горшке сидел, а тебя обскакали. Ты думаешь, что добился чего-то, а на проверку — в дерьме.

— У меня дети зато. Они свое возьмут.

— А у меня кто? Собаки, что ли? Тоже дети. Уж я для них постараюсь, Игнатьев, будь уверен. У меня — кругом связи. Твои подрастут, а мои вон уже где! И опять ты в дерьме.

Желчный Витя стоял на углу, спиной привалившись к столбу. Рядом стояла Маринка, закрывала его от прохожих.

— Я уехал, — сказал Игнатьев. — Будь здоров. Не раскисай.

— Я не раскисну, — пообещал Витя неуверенно. — Не дождетесь у меня.

— Все мы, старик, разболтались, — закричал Костя на прощанье. — Время такое.

— Все разболтались, я не разболтался.

Стоял он перед ними плотный, устойчивый, руки в кулаках, чуб набок, на лбу — гневная складка. Поднял властно руку, остановил такси, спросил Маринку:

— Довезти до центра?

— Нет, — сказала. — Я еще не все выяснила.

Он оглядел ее, потом Витю, потом долго — Костю.

— У меня, — сказал, — свой суд. Сам выношу при-

говору, сам привожу в исполнение. Ты еще порхаешь, а с тобой уже всё.

— Куда едем? — спросил таксист.

— В Сибирь.

— Не далековато ли?

— Тогда в Домодедово.

И уехал...

На улице уже стемнело, но фонари еще не зажигали. Небо нахмурилось, дома вокруг насупились, люди поскучнели.

— А я на него не обиделся, — сказал большой Костя. — Не обиделся, и все. Чего обижаться? Только язву заработаешь. Витек, вон пельменная. Пошли выпьем.

— У меня денег нет, — застеснялся Витя. — Один пятак на метро.

— У меня есть, — сказала Маринка.

— Ладно, мужики, угощаю по дружбе.

Пошли в кафе, уселись за дальний столик. Большой Костя приволок проворно поднос с пельменями, три стакана с компотом да три с портвейном.

— За что пьем?

— За Дину, — предложил Витя.

— За Дину!

— За Дину и я выпью, — сказала Маринка.

Выпили — закусили холодными, слипшимися пельменями.

— Пельмени с портвейном, — хохотал Костя. — Для главврачей и министров!

— Хватит тебе...

— Ты, Витек, не сердись на меня. Не надо. Не люблю, когда сердятся. Чего я Дине заливал? Чтобы порадовать. Огорчить всякий может. Выпьем?

— Выпьем.

Выпили — доели пельмени.

— Я, Витек, тоже хороший, не хуже вашего. Только не надо меня перегружать — сломаюсь. Уловил?

— Уловил.

— И я уловила, — сказала Маринка.

— Молотки! — Он быстро хмелел, наливался беспокойным уважением к самому себе: — Меня, Витек, в науку тянули. Исследования-проблемы... Да пошли они! Я специалист, старик. По заднему проходу. Узкая специализация. — И заржал собственной шутке. — У кого геморрой чаще всего? У начальства. Кто блага распределяет? Тоже начальство. Я их лечу, они меня убажают. Путевки, еда, знакомства — тебе и не снилось. Я, Витек, живу со вкусом. Весь этот бардак мне только на пользу. У меня дома все заграничное, как на выставке. Наследник мой, мизер сопливый, по уши в замше. Кот, и тот в посольстве родился. Филипп Морис, — приходи глядеть.

— Завидую, — сказал желчный Витя.

— А ты не иронизируй, — он даже обиделся. — Я, дорогой, не виноват, что родился теперь. Я к вам не напрашивался. Я бы еще подождал. До полного торжества того самого. Может, через пятьсот лет напишут: жил, дескать, в те времена хороший человек, специалист по заднему проходу, а больше ничего интересного не случилось. Ха! Логично?

— Логично.

— То-то, Витек! Не сбрасывай Костю со счетов. Люди, дорогой, бывают паровозы и люди-вагоны. Я — вагон. Везите меня, я не против. Куда угодно. Только с рестораном, с отдельным купе, с мягкими диванчиками и чтобы без крушений.

— Тоже философ, — сказал Витя.

И Маринка подтвердила:

— Тоже.

— А вы думали! Ты оглянись кругом: кто есть-

то? Одни мы, вагоны. Нас большинство. Ты дай нам завтра свободный выбор, мы тебе за тот же паровоз прицепимся. Так что катись, Витек, куда везут. Демократия. Меньшинство подчиняется большинству.

— Я бы с тобой, — сказал тот, — не пошел на баррикады.

— Куда?! — изумился. — Это исключается, Витек. Мне нельзя на баррикады. Противопоказано. Если будут пытаться, я вас всех выдам. Всех! При любых конфликтах мое место в плену. Жизнь, между прочим, дается один только раз, и надо прожить ее так...

— Как? — спросила Маринка.

Он долго глядел на нее, будто решал что-то.

— Поехали со мной, увидишь как.

— Никуда она не поедет, — сказал желчный Витя.

— Не поеду, — повторила Маринка.

— Это еще почему?

— Он не велит.

Большой Костя встал из-за стола, загремел железным стулом.

— Поздравляю, министр. Вот бы никогда не подумал! Будете гулять на пяточок?

— Будем, — сказала Маринка.

Он уходил от них, с трудом протискиваясь в тесных проходах между столиками. Они тоже встали, пошли следом.

На улице желчный Витя сказал:

— У меня вопрос. Мелкий и несущественный. Вот если ты, к примеру, переезжать будешь и позовешь меня помочь, я тут же приеду и стану твою мебель таскать. Хоть на десятый этаж. По старой дружбе. А ты станешь мою таскать?

— Витек, — развеселился большой Костя. — Ты давай переезжай. Я тебе грузчиков найму.

И уехал...

— Что же ты? — сказал желчный Витя. — Ехала бы с ним.

— Погожу, — ответила. — Еще не все ясно.

— А кому оно ясно?

Шли по улице, под деревьями, под навесом ветвей, в полном почти мраке, и редкие фонари не пробивали густую еще зелень. Взял за руку — она не отняла. Обнял — она не мешала. Было им не в ту сторону, но он шел, и она — рядом.

Зашумел поверху частый и мелкий дождичек, и они, не сговариваясь, свернули в глухой, заросший кустами палисадник, встали под деревом. Она прислонилась к стволу, опустила руки, а он гладил ее нежно и неумело по лицу, по волосам, по плечу. Потом тыкался носом в щеку, целовал, шептал чего-то. Потом повел еще дальше, в самые заросли, под ветвями, по пыльной, шуршащей траве.

— Не надо, — сказала Маринка.

Он подчинился сразу. Отошел в темноту, пропал, сказал оттуда:

— Иди сюда.

Она пошла на голос.

Он сидел на поваленном дереве. Голова опущена, руки между колен. Маринка уселась рядом, прислонилась плечом. Потом взяла за руку. Дождик лениво шуршал где-то в ветвях, будто перебирал, перекаладывал, сортировал листья. Посмотрит и отбросит. Еще посмотрит и еще отбросит. Сухим — падать вниз, зеленым — пока висеть.

Вздыхнул, как решился, поежился, начал тихо, задумчиво, с остановками:

— Может, я псих? Наверно, псих... Даже наверняка. Жена говорит, возраст у меня такой. К сорока годам мужчины бесятся. Как собаки. Собака или перебесится или умрет... Думаю много. Вспоминаю. Мать с отцом... Зачем человеку столько извилин?

Вполне хватило бы две штуки. Одна вдоль, одна поперек. Работал бы в магазине, мясо рубил, денег — завались... Жена по гостям затаскала. Что ни суббота, с бутылкой по знакомым. Мелом и мелом и мелом... Чтобы жизнь скорее прошла, что ли? Старик, говорят, а что ты хочешь? А я многого хочу. Я еще молодой старик. Я и старым захочу не меньше. А они: старик, ты какой-то не наш старик. Не ваш, говорю, я не ваш... Друга у меня нет. Ни одного. Был когда-то Сенька-друг, еще с детского сада, да жены нас развели. Тряпично-мебельная мура: квартира у них лучше, посуда у нас хуже... А потом он уехал. И письма не пишут. Жена сказала: нам тут жить. Уезжают мои знакомые, с работы — уже трое, меня спрашивают: а ты когда? Как подталкивают... А кому я там нужен? В курилке сидеть? Сын подрастет, пусть он меня и вывозит. Пенсионером. Или в урне... А пустота вокруг — полная. Брат есть — с братом не вижусь. Родственников забыл как звать. Приятели отпадают по одному. Будто я их отключаю. Они и гаснут. Или во мне гаснет?.. Нет мне тепла в доме. Все есть, тепла нет. Жена на меня — ноль внимания. Даже и не ревнует. Чего ревновать? У меня что ни день — рубль в кармане. С рублем не нагуляешься. Да и пообедать еще надо... А заведешь женщину, две будет, а мне и с одной не вмоготу... Может, я псих? Наверно, псих. Перебеситься бы скорей, что ли?.. А вчера мне приснился Сенька — друг закадычный. Четко так, всего разглядел. Идет навстречу по старому нашему двору и не улыбнется даже. Будто сердится. "Здорово". "Здорово". "Ну, ты чего ж?" "А ты?" С тем и разошлись...

Маринка поймала такси, отвезла его домой, поцеловала на прощанье, дальше поехала одна.

— Ну и ну, — сказал таксист. — Женщины мужчин провожают.

— А ты думал... У нас равноправие.

— Проводи тогда и меня.

— Да что с вами сегодня?! — возмутилась. — Пристают к замужней женщине!

Шла по двору, углядела: на трубе у бойлерной притулились две тени.

— Сидишь?

— Сижу, — сказал Пашка.

— Ну и сиди. Честная у тебя будет жена. Можешь не беспокоиться.

— А я и не беспокоюсь.

— Ах, так! Юрочка идем ко мне. Чай пить.

— Больно надо, — сказал Шкалик. — Лучше по бульвару прошвырнись.

— Юрочка, — попросила жалобно, — ты меня люби. Его любишь, и меня тоже.

Шкалик заерзал по трубе:

— Я чего... Я как он...

— Ну и ладно. Пошли чай пить.

— А его возьмем?

— Думаешь, надо?

— Надо.

— Тогда возьмем.

— Я, может, сам еще не пойду, — сказал Пашка...

Ночью она проснулась, как от укола. Пашка лежал на животе, обхватив руками подушку. На кухне надрывался в надсадном кашле Шкалик. Тимоша буянил вовсю, никак не хотел угомониться.

— Паш... — зашептала. — Пашенька!

— А?..

— Уедем отсюда, Паш...

— Чего?

- Уедем, Пашенька! — закричала. — Давай уедем!
И Тимошу увезем!
- Куда еще?
- Хоть куда, Пашенька! В Сибирь, к чертовой матери!.. Давай, а?
- Меня не забудьте, — из кухни сказал Шкалик...

1

Под утро он опять ей приснился.

Мужичок — протертые штаны.

Видно, поминала его с вечера.

Сидит мужичок за желтым канцелярским столом об одну тумбу, уткнулся носом в синюю крашеную стенку, будто делом занимается, а она подошла сбоку, подышала на него легонько да и говорит со стеснением:

— Ну, вот... Тут она я. Давай хорони.

А он потянулся нехотя, пошебуршил серыми, негнушимися бумажками, сделал пометку красным карандашом да и отвечает со скукой:

— Вас велено в санаторий отправить. Ванны принимать по назначению врача.

— Какой-такой санаторий?! Я помирать собралась. Самый срок.

— Ничего не знаю. Берите путевку со скидкой, билет с плацкартой.

— Не поеду я никуда! Хорони давай по-казенному. Как героя-орденоносца.

А он осерчал до невозможности, кулаком по столу пристукнул:

— С вами невозможно работать! Идите, — говорит, — к начальству и разбирайтесь. Одно из двух: или мы вас хороним, или в санаторий отправляем!..

С тем она и проснулась.

Была за окном первозданная тишь. Ранняя рань. Неохотный рассвет. Привычное стариковское утро.

Не стучала за стеной дверь лифта, не свистела вода в певучих трубах, по-субботному запаздывали прочие звуки. Даже гуляки с пятницы, самые неумные, и те поутихли. Даже коты-бродяги, которых она подкармливала. Даже ветер в форточке.

Поднялась с кушетки лохматая голова, убеленная сединой и перхотью, ожесточенно поковыряла пальцем в волосатом ухе, прохрипела натужно проваленным ртом:

— Кочум, лабухи! Кочум...

Это был он, Степа Панюшкин, борец с религией и предрассудками, в позабытом почти прошлом — месье Шарль, великий маэстро и гипнотизер, который наводил когда-то трепет на города и села, на областные и районные центры.

— А ну, — пригрозила, — не фулюгань! Ишь, разматерился.

Голова улезла под красную, утыканную перьями подушку без наволочки, натянула поверху байковое, свалывшееся в комки одеяло без пододеяльника.

— Кочум, — попросил жалобно. — Полный кочум...

Они начинали жизнь с разных концов — он и она — дальше некуда.

Они сходились медленно — он и она — дольше некуда.

И очутились рядом. В одной комнате. За одной дверью.

Он — на кушетке. Она — на кровати...

Зинаида Ивановна Деева лежала покойно, уложив поудобнее руки на домашнее лоскутное одеяло, лицом к красному углу, где на месте иконы висел в киоте, под умытым стеклом, указ о главном ее награждении.

Жилы на руках опасно набрякли, налились тяжелой стариковской кровью. Пальцы на руках заметно скрючились от вечной ледяной сырости на зимних штукатурных работах. Кожа на руках пожухла, разбежалась по краям морщинками — засушенной лягушачьей лапкой.

Зинаида Ивановна Деева лежала покойно, укладисто, пальцем перебирала лоскутки.

Зинаида Ивановна любила лоскутное одеяло. Да бабкин еще самовар с фанерной этажеркой. Да мужнину гармонь с западающей клавишей. Были они родные, кровные, к сердцу притертые, при взгляде на них теплело на душе, отмокало в груди. А все другое вокруг принимала без радости, на одном почтении. Все другое вокруг было дарёное, премиальное: под Новый год, под женский день, майские да ноябрьские праздники, при подведении всяких итогов. Никелированная кровать с пружинным матрацем. Двустворчатый шкаф с зеркалом. Радиоприемник с телевизором. Ковер — два на три. Отрезы на платья, ни разу не развернутые. Стенные часы в нетронутых упаковках. Коробки дорогих духов. Вазы с надписями. Оленьи рога. Дамские сумки с монограммами. Два портфеля. Электрическая мясорубка не на то напряжение. Письменный прибор из уральской яшмы в пуд весом. Бюсты великих людей в гипсе и бронзе. Полка с дарёными книгами, с брошюрой о З. И. Деевой "Рабочая совесть", с автографом автора: "Славной женщине-строителю от писателя Евдокима Степанцева". Были это вещи случайные, у ней не прижившиеся, постояльцы — не хозяйева, купленные чужими людьми, на чужой вкус, на выделенные по случаю деньги, — с квитанциями для бухгалтерии. Так и казалось: взгляни получше — найдешь бирку с инвентарным номером. Так и чудилось: придут вдруг с

грузовиком, заберут подчистую: "Хватит, Зинаида Ивановна, попользовалась". И останется одно лоскутное одеяло, да самовар с этажеркой, да мужнина гармонь, да она сама. А может, и ее увезут, саму не свою, всю как есть дарёную, деланную, купленную на выделенные средства.

Зинаида Ивановна, где ты?

Ау!

Ах, Зинаида Ивановна! Зинка ты наша, Зиночка! Кто на тебя гадал, кто ворожил, кто сны вещие видел, все с Зинкой промахнулись. Да позови тогда самый что ни на есть цыганский табор, одели́ золотом всех и каждого, кто бы угадал ее судьбу, кто разглядел невозможное будущее? Наше будущее записано в книге, книга хранится на небесах, небеса запрятаны за семью замками, но подрастал уже в неведомых землях сопливый пока товарищ Севастьянов, который сходу, разом, одним движением жирного, волосатого пальца изменил ее судьбу.

Где ты, толстоногая, где ты, крутобокая, смешливая, крикливая, молоком вспоенная, сметаной сдобренная девка? Жила себе в деревне: озера кругом, луга с травами, коровы с бубенцами — привольные края. "Я насеяла ленку во дорожке в уголку. Ты расти, расти, ленок, расти долог и высок..." Прикатил парень из города, к деревенской родне: в два дня присушил, в два дня окрутил, на пятый — расписались в сельсовете, неделю потом в лугах жили, у озера, с мешком еды. Спали ночами в обнимку, купались при луне нагишом: все травы кругом перемяли, всю воду взбаламутили. Гоготал парень на все окрестности матерым гусаком, визжала Зинка от пронзительной радости, бегала вдогонялку, топтала землю толстыми пятками, навзничь вали-

лась в истоме. Опорожнили мешок с едой — назад в деревню воротились. А оттуда — в город.

В городе тоже ладно было. Работали вместе, — он каменщик, она подсобная, — спали вместе, гуляли под гармонь вместе. Как закатятся по бараку на все воскресенье, из клетушки в клетушку, так и гуляют до утра, до самой работы. Писали тогда в газетах о трудовых подвигах, о починах, о знатных людях, которых знала по имени вся страна, а ей и ни к чему все это. Денег особых не было: а у кого они были? С жильем было худо: а у кого ладно? Одежка бедная, сирая: да не с чем сравнивать. Жили они — не тужили: больше плясали, меньше водку пили. "На деревне срубы рубят, все меня ребята любят. Тот тащит, другой тащит — только кофточка трещит..."

И с войной ей повезло. Обошла война мужика, зацепила пару раз малыми ранами. Он воротился: ей всего под тридцать. Она уже штукатур. Она бригадир. У нее — бабы под началом. И опять жили вместе, спали-гуляли вместе, наперегонки догоняли упущенное. "Я сидела на лужку, писала тайности дружку. Я писала тайности про любовны крайности..." Но уже полз волосатый палец по длинному списку, уже остановился у ее фамилии, подчеркнул ногтем и пополз дальше, чтобы потом воротиться назад.

Товарищ Севастьянов был в затруднении. У товарища Севастьянова голова пухла от натуги. Спустили с самого верха разнарядку: наградить славных строителей, отличившихся в тылу. На весь город дали дюжину героев, а орденов-медалей — не счесть. Одного героя выделили товарищу Севастьянову, чтобы подобрал кандидатуру передового строителя, выявил самого достойного. Вот и ползал его палец по длинному списку, и мимо кого он проходил, на

ком задерживался, чью судьбу ломал коренным образом, — все было в руках Господа Бога и товарища Севастьянова.

По первой прикидке Зина Деева была из последних. Но чем больше размышлял товарищ Севастьянов, тем выше поднимались ее шансы. Мужики отпадали по-одному: один пил мертвую, другой скандалил с бабой на потеху всему бараку, третьего застукали с ворованными досками. А товарищу Севастьянову нужна была кандидатура чистая, как протертое стеклышко, чтобы не отвечать потом самому за выделенного героя. Но не было среди его строителей протертых стеклышек, а были мужики прокуренные, проспиртованные, солнцем пропеченные, морозом прохваченные, матерившиеся сиплыми, калеными глотками.

И тогда его выбор пал на женщин. На двух женщин-бригадиров: Дееву и Семибрюхову. Обе не пили, обе не скандалили, с мужьями жили любовно, в пример прочим, а если и было порой что не так, то виноваты в этом мужья — не жены. И в этом последнем испытании дело решил случай, везуха, удача, рука судьбы, воля небес: как хотите, так и называйте. И остановился окончательно волосатый палец, ногтем подчеркнул Дееву дважды.

Неисповедимы пути товарища Севастьянова, заместителя Господа Бога на земле...

Поднялась с кушетки лохматая голова в седине и перхоти, опустились до полу тощие ноги в застиранных фиолетовых подштанниках. Веки приспущены. Плечи обвисли. Голова дремотно валится на сторону.

— Лажа, — сказал Степа Панюшкин. — Подрушлять бы...

Зинаида Ивановна подумала над его словами, поискала скрытый смысл, понять не поняла.

— У тебя, Панюшкин, не угадаешь. То ли мудроно говоришь, то ли матерно.

Он поглядел на нее снизу, набычившись, не моргая, и она забоялась, первой отвела взгляд.

— Нешто, нешто... — замахала. — Не на таковскую напал.

Лицо у Степы — брезгливая, отечная маска. Глаза в глубоких провалах, дряблые висячие мешки до середины щек, рот без вставной челюсти по-старушечьи, внутрь. Нищий патриций. Аристократ в изгнании. Разорившийся феодал. У него были когда-то лучшие площадки столицы. У него были деньги. Слава. Чудовищная популярность. Города дрались за право принять великого гипнотизера, с ужасом ожидая его появления. Он был капризен. Избалован. Пресыщен. Он повергал в священный трепет раболепствующих зрителей. Бывали случаи, когда он поднимал на ноги беспокойный зал и строем отправлял домой задолго до конца представления. Бывали случаи — сам уходил со сцены, оставив зрителей в блаженном оцепенении. Перед ним катилась волна невозможных слухов, среди которых — усыпление на долгие годы, добровольное признание под гипнозом матерого резидента разведки, непорочное зачатие от одного его взгляда. Города спали еще на рассвете, города нежились безмятежно в ночной прохладе, а расклейщики афиш уже мазали клейстером заляпанные тумбы и непрокрашенные заборы, уже наклеивали — ночью, непременно ночью: так он желал! — его визитные карточки: на белом глянце — цилиндр и две перчатки. Только цилиндр и перчатки. Как череп и скрещенные кости. И ни слова, ни буквы, ни намек. Все и так знали: это месье Шарль! Афиши притягивали. Заво-

раживали. Обладали частью той неземной силы, которая надвигалась на город. И обыватели, едва проснувшись и позабыв позавтракать, не имея сил сопротивляться, будто притянутые магнитом, шли в кассу за билетами. И когда он приезжал, — тоже ночью, всегда ночью, невидно и неслышно, — женщины лунатичками брели на его зов. Через весь город, бросив за ненадобностью женихов, мужей и детей, не спрашивая адреса, не разбирая дороги, чтобы чудом попасть в нужную гостиницу, в тот самый номер-люкс, куда тянуло неудержимо. А он, месье Шарль, утопал в кресле посреди комнаты, прикрыв страшные глаза утомленными веками, и только кончики нервных пальцев беспокойно шевелились на подлокотниках. И женщины столбенели в дверях, не в силах дать ему больше того, что он и сам мог у них взять. И уходили опустошенные, будто он взял у них все. И на их место безропотно вставали новые. Таков был он, месье Шарль, великий гипнотизер!

— Кéмарь, — сказал Степа глухо. — Кéмарь сидит на ухе. И давит, давит...

— Кéнарь? — удивилась Зинаида Ивановна.

— Кéмарь, — подтвердил. — Друшль. Мíзер мохнатый.

В том месяце сделали ему операцию. Удалили наросты в ушах. Сам, дурак, напросился, чтобы лучше слышать. И мир зашумел вдруг до невозможности, мир оказался непереносимо громким, мир ворвался в уши мотоциклетным треском, и ушла потревоженная тишина, привычная приглушенность звуков глуховатого старика, ушел сон, но осталась при нем зыбкая дремотность от постоянного недосыпания. Будто сидит кто-то на ухе, маленький, лохматый, и давит на перепонки, давит и давит. Кéмарь. Друшль. Мíзер мохнатый. Не в силах вы-

терпеть слабые ночные шорохи, пришел он заполночь к Зинаиде Ивановне, с одеялом и подушкой, не спросив разрешения, улегся без простыни на узкую кушетку. У него в комнате окно на улицу, у нее — в тихий двор, но и тут ему не дает заснуть шум, которого нету.

— Лажа... — простонал. — Полная лажа...

— Спи давай, — пригрозила Зинаида Ивановна. — Не то выселю.

Он приподнял непослушную голову, мутно огляделся вокруг. На столе неподалеку стояла сахарница без крышки с крупным колотым сахаром, и Степа насторожился, облизал сухие губы шершавым языком. Любит Степа без памяти сладкое, может в один присест смолотить коробку шоколадных конфет и многослойный кремовый торт, а на ночь укладывает вставную челюсть в банку с консервированным компотом, чтобы утром, вставляя ее на место, сразу же ощутить острый укус сладости. Потому и проел на сладком все, что у него было, потому и переезжал с квартиры на квартиру, менялся часто, получая незаконную доплату, проедавая потихоньку метры, этажи, малолюдность и удобства. Квартира — комната — комнатка — теперь каморка на первом этаже, три на три: дальше уж некуда. Он протянул воровато руку, прихватил сверху здоровенный кус сахара и полез обратно под подушку, потянул на себя одеяло. И оттуда, изнутри, донеслось внятное чмоканье, похрюкивание, напряженное старание беззубого рта.

Зинаида Ивановна вздохнула, сказать ничего не сказала. Вспомнила по звуку как присасывались к молочной бутылке малые телята, хрипели, пыхтели, стонали от наслаждения, — и задумалась она, и затихла надолго, молвила потом вслух, сама себе:

— Наши-то коров, поди, доют...

И запела, заворожила неуверенно, округлым говорком, будто всплывало глубинное, первородное, давно уж и позабытое, пробивалось наружу через позднюю шелуху речей, статей да резолюций:

— Докуда я тебя, раба Божия, дою, чернушка-матушка, да ты стой стоячи, дой доючи! Стой горой высокою, теки бела молока рекой глубокою! Стой, не шелохнись, хвостиком не махнись...

А из-под подушки — кряхтенье, сопенье, хрумканье.

Хошь не хошь — терпи.

Все ж таки мужчина, живой человек в доме. Вдвоем не так боязно...

Она не боялась помирать.

Чего не боялась, того не боялась.

Отжила свое, отработала честно, заслужила наград — полон самовар, да грамот, да вымпелов, да статей в газетах про свои исключительные заслуги, — теперь молодым черед. Пусть молодые теперь выкладываются, выматываются, жертвуют личным ради общественного, здоровьем ради плана, — пусть теперь молодые! А она свое сделала. Пальцы скрюченные, ноги опухшие, сердце надорванное, одышка через шаг: Зинаида Ивановна Деева все отдала, без утайки, ничего про запас не оставила.

Она не боялась помирать.

Нет, этого она не боялась.

Хоть и жила одна, без родных-друзей, знала точно: будет автобус, и венки от управления, и речь над могилой, — чин-чинарем. Сидит у них в профкоме вечно выбранный, освобожденно ответственный мужичок-протертые штаны, — путевки, ясли, безвозвратные ссуды-десятки, — что хоронит не первый год, не последний раз. Знает наизусть адреса похоронных магазинов, телефоны кладбищ, весь

несложный казенный обряд. Пока нет дел, сидит мужичок за желтым канцелярским столом об одну тумбу, глядит в упор в синюю крашеную стенку, ждет команды. Лысенький, затертый, несуетливый: один он может достать при нужде приличный гроб, хорошее место на близком кладбище, для чего и поит заранее на профкомовские наличные кладбищенское начальство, сует бутылки наглым гробовщикам. Незаметный при нашей жизни, незаменимо могущественный на похоронах, где ему подчиняются и живые, и мертвые — самое высокое начальство.

Знала она отлично: все-то он обделаает нормально, честь по чести, только скажи кто умер, да как хоронить, да по какому разряду, — но как же он узнает, что она померла, как, каким таким образом? Умрет в отдельной квартире — не скоро заметят, вовремя не оповестят. Так и будет лежать позабытая, неприбранная, неотпетая на казенный лад, пока не свезут на кладбище случайные люди, не похоронят в общей толчее. С того и квартиру поменяла, чтобы не быть одной, да с двумя соседями — так оно повернее, да на первом этаже: в окно можно глянуть, прохожего кликнуть. Чтобы узнали сразу об ее кончине, приняли меры, дали команду мужичку-протертые штаны. Наберет номер — его голос: "Алле. Вас слушают". Стало быть, жив, на посту, при деле: похоронит достойно бывшего штукатура, зачинателя починов, героя-орденоносца на пенсии, прославленную женщину-строителя, ответственного работника управления З. И. Дееву, в просторечии — референта Зинку.

Вот она ему и позванивает: то днем, то вечером, то домой, то на работу. Он отзовется, она трубку положит.

Ей — спокойнее...

Ах, Зинаида Ивановна! Зинка ты наша, Зиночка! Остановился перед ее фамилией жирный, волосатый палец, ногтем подчеркнул дважды, и стала героем Зина Деева. Стала Зина героем, и валом повалили корреспонденты, и сказало о ней радио, и она сказала по радио, и написали в газетах об ее геройстве, и она написала о геройстве, и водили к ней делегации, и она ездила с делегациями, и дали ей тут же отдельную квартиру — несбыточную мечту, и все бараки окрест полопались от зависти, а пуще всех — лучшая ее товарка, а ныне злейший враг, бригадир Семибрюхова.

Но больше всех закручинился ее мужик, веселый гуляка, и начал коситься на награду, да на портреты в газетах, да на пронырливых корреспондентов, что шныряли вокруг его бабы. Она уж и награду прятала подальше, с глаз долой, и газеты ему не давала, и посторонних отваживала, но не мила ему была эта жизнь, не мила отдельная квартира, в которой он жил по милости жены, а жена — по милости товарища Севастьянова. Заходил порой на огонек товарищ Севастьянов, по-свойски разваливался во главе стола, и было ощущение, что он — хозяин квартиры, а они — его гости, временные постояльцы. Но вслух говорилось как надо, прославлялись ее заслуги, поднимались тосты за дружную семью, за то, чтобы муж тянулся за героем-женой.

Может, она и загордилась бы, Зина Деева, и поверила бы в свое исключительное геройство в годы войны, на трудовом фронте, но слишком многие тогда становились героями, новые заслоняли старых, газеты и радио не попевали за каждым, и стала забываться потихоньку Зина Деева, герой-строитель, стал обвыкать ее мужик. Работали вместе, ходили по гостям вместе, плясали вместе под старую гармонь. "Белый лен, белый лен, белый,

волокнустый. Неужели не полюбит эдакой форсистый?..” Но уже снова пополз жирный, волосатый палец по длинному списку, и нацелился хищно товарищ Севастьянов, замышляя великое дело.

Задумал товарищ Севастьянов новый почин. Выпестовал бессонными, завистливыми ночами. Подготовил исподволь высокое начальство, вложил ему в уста заманчивую свою идею, чтобы вернулась она одобренная, подписанная, с утвержденной кандидатурой стихийного зачинателя, с благодарностью к нему, ее создателю. И пополз волосатый палец по бесконечному списку, с ходу отмечая недостойных, задерживаясь на сомнительных, застывая надолго у возможных кандидатов, но теперь уже Зина Деева была в предпочтении. Показалась она в свое время высокому начальству: скромна, приветлива, приглядна, на трибуне говорлива. Похвалили в свое время товарища Севастьянова за удачный выбор, так стоит ли рисковать с новым человеком? Правда, работала тогда лучше других Семибрюхова со своей бригадой, и подчеркнул ноготь ее фамилию, но знал хорошо товарищ Севастьянов, что у зачинателя должны появиться последователи, и сразу смекнул: деевцы — звучит нормально, семибрюховцы — насмешкой. И остановился окончательно волосатый палец. Подчеркнул Дееву дважды...

Вздыхнул со стены старенький, дарёный еще с войны громкоговоритель, проявилась в нем слухом осязаемая глубина, насытилась, переполнилась, налилась полновесной каплей и упала, наконец, в гулкую фаянсовую раковину, переливчатыми отозвалась курантами.

Степа Панюшкин подскочил испуганно на кушетке, криком разлепляя обсахаренные губы, но уже наваливалась новая капля, прежним звоном отзыва-

лась гигантская раковина, и Степа судорожно начал наваливать на ухо — поверх подушки — штаны, рубаху, кипу газет с пола, скомканное одеяло. И затих, и нервно подрагивал кожей, как пуганый конь, а глаза тяжело уперлись в близкую стенку, давили на нее ощутимо. Если бы кто мог увидеть теперь эти глаза, если бы кто! Штукатурка проминается, обугливаются обои, кирпичную кладку выпирает горбом... На эти глаза и наткнулся когда-то, в стародавние времена, прежний месье Шарль, великий, знаменитый, неповторимый маэстро: "Единственная гастроль! Спешите увидеть! Проездом из Карлсбада!" Он наткнулся на эти глаза — клинок на клинок, он выдернул из рядов вихрастого мальчонку, но не смог его усыпить. Степка глядел, не смаргивая, кругло, глубинно, зачарованно, и великий маэстро ужаснулся распахнувшейся перед ним бездне. Так Степка стал его ассистентом. И закружились вокруг города, гостиницы, глаза и лица. И проявилась из-под спуда дремавшая в нем сила, потрясая глубиной месье Шарля, обещая в будущем завоевания великих вершин духа. Но в лихолетном году припомнили великому маэстро прежние его поездки по Карлсбадам, и увезли маэстро в глубокие подвалы, на последнюю его гастроль. Болтали потом, будто он напоследок загипнотизировал солдат, чтобы они не смогли в него стрелять. Тогда они повернули его лицом к стенке. Так шептались старики, прежние его коллеги, но кто знает, как оно было на самом деле? Кто стрелял — не расскажет. В кого стреляли — тем более... Так Степа остался один. Теперь уже он был — месье Шарль, и наработанная слава целиком перешла к нему.

— Охо-хошеньки... — в голос зевнула Зинаида Ивановна. — Наши-то отдоились, поди...

Куранты отзвонили свое, и запрятанные в гром-

коговорителе часы ударили в первый раз, тупым гвоздем по нежным барабанным перепонкам, и кипа газет с шумом упала на пол, и одеяло, и штаны, и рубаха соскользнули вместе с подушкой, и Степа остался лежать распластанный, неприкрытый, бруском на наковальне, под неумолимыми ударами звонкого беспощадного молота, который отбивал надвигающееся время... Сначала его заставили сменить имя. Что это еще за "меся Шарль"? Пошлость одна. Убрали с афиши цилиндр и перчатки, написали просто и доходчиво, как по паспорту: "Степан Панюшкин". И поломалось что-то внутри. Что-то сдвинулось, разладилось, расслоилось. Меся Шарль мог все. У Степана Панюшкина многое не получалось. И жители городов спокойно спали перед его появлением. И томящиеся женщины не брели лунатичками по улицам на его неслышный призыв. И не было уже уверенности. Не было взлетов. Мерзкой мокрицей заползало сомнение, выедавая его изнутри. Потом они сказали, что жанр такой в столице не нужен. Скользкий жанр, папахивающий идеализмом, оккультизмом, чертовщиной и поповщиной. И стал он кататься по периферии. По районным городкам. По колхозам. А там уже народ. Там — правда-матка. Там усыпленные зрители болтали невесть чего, и бдительное местное начальство незамедлительно капало на Степу, что, мол, под видом искусства занимается вражеской пропагандой. И на самом-то деле: растормаживал Степа снулые, мусором присыпанные мозги, добирался до сокровенных глубин, где у каждого сплошь — неразрешенное, незавизированное, недосмотренное цензурой. Его отстраняли от концертов, временно разрешали, снова отстраняли, а зрители уже и на сцену перестали выходить, боялись засыпать при посторонних, берегли свою шкуру, которая — как известно — все-

го дороже. Такое подперло время: ляпнешь во сне, а проснешься в тюрьме. Конечно, с точки зрения органов безопасности стоило бы поощрить Степу и ему подобных, чтобы выявляли внутреннюю сущность у каждого, чтобы залезали туда, куда обычным агентам залезть не под силу, но как-то не додумались тогда до этого, а вернее, были у них способы попроще, поглубже и понадежнее... И вот вызвали Степу в Москву. На просмотр. Чтобы показал комиссии свое умение. Зал был пуст. В средних рядах затерялись в полумраке двое мужчин и женщина. "Гипноз зала", — объявил Степа и ужаснулся. Их глаза завораживали. Притягивали. Заваливали вперед. Размягчали волю. Вызывали постыдное трепетание коленок. Короче, его сняли с концертов. Года полтора он маялся, проел излишки, сохранил лишь концертный костюм да старый, в клопах, диван, который никто не хотел покупать. Потом ему сосватали двух шустрых авторов. За наличные деньги плюс гонорар плюс ужин в "Арагви" они сварганили ему "Вечер разоблачений чудес и суеверий". Сначала он должен гипнотизировать. Во фраке, цилиндре, перчатках. Потом — разоблачать чудеса. А перед разоблачением — переодеваться на глазах у публики. Пиджак с нарукавниками, кепка, полосатый галстук. На нарукавниках авторы особо настаивали. Это была редкая их находка. И опять он вышел на просмотр. Те же мужчины с женщиной завораживали из глубин партера. Ему было душно. Ноги дрожали. Горло сохло. Язык прилипал к гортани. Четверть часа он рассказывал, запинаясь, о суевериях темных людей, о вере в приметы, домовых и ведьм. Они с интересом слушали. Даже переспрашивали. Особенно, про приметы. Потом он вывел ассистента, провел на нем парочку чудес и тут же их разоблачил. "Хорошо, — сказал главный мужчина.

— Нужно и злободневно. По какой графе проведем?” “По графе — атеизм”, — сказала женщина. Так он стал борцом с религией.

Шесть раз ударил по нему молот, звонко и беспощадно, и после паузы, когда казалось, что все, наконец, закончилось, грянул аккорд, мощной, торжествующей медью, и Степа взлетел с кушетки на пол, прыжком кинулся к громкоговорителю, рванул вилку из розетки, закрутил регулятор. Но вилка прикипела навечно, но регулятор давно, видно, поломался, и из раструба полились на Степу звуки медного гимна, полновесно ударяли в грудь каждым аккордом. И Степа сломался сразу, без сопротивления. Рухнул безвольно на кушетку, зажал уши ладонями... Летом он ездил по побережью: Крым-Кавказ. Работал дома отдыха и санатории. Шли язвенники, сердечники, номенклатурные тузы в шелковых полосатых пижамах, всякий простой народ. “Вечер разоблачений чудес и суеверий”. Люди расходились довольные. Чудес нет. Чего там? Можно жить дальше. Зимой он работал по области. Колхозы, школы, мелкие клубы. Гипнотизировал месье Шарль, разоблачал чудеса Степа Панюшкин. Разделение обязанностей: один во фраке, другой в пиджаке с нарукавниками. И с этого момента он расслоился уже окончательно, зажил недружно в одном теле. Еще собирались старики, тягались тайком, по гамбургскому счету, поминали порой месье Шарля, его удивительные способности, но уже не звали его и не здоровались при встрече. Потому что изменил Степа своему клану, совершил профессионально недопустимый грех. А площадки давали ему все хуже, а занимали его все реже, а потом и вовсе перестали. Даже самую малость гипноза ему запретили, а потом и вовсе требовали одних разоблачений. Безо всяких чудес. И пошел Степа по рукам.

Был ассистентом у жонглера: кидал тому шарики. Был помощником у фокусника: выпускал из потайного места голубей. Был служителем у дрессированных собачек: подставлял им тумбы. Месье Шарль заснул в нем и не просыпался годами, будто его никогда и не было. И последнее унижение, когда уж на все наплевать и забыть: посадка у плохого гипнотизера. В те времена, когда появились они опять на сцене, не чета прежним. Все было отрепетировано заранее. "Попрошу кого-нибудь на сцену!" И старик Степа выходил из зала, покорно засыпал на стуле, бормотал заученный — с юморком — текст. Этот жадный дурак-гипнотизер, бездарь скупая, работал два концерта на одной площадке. С посадкой, которую легко узнать. И в санатории "Чай-Грузия" дошлые ребятишки отсидели, конечно, два сеанса. И пьяненький мужичок, что заснул в конце первого представления и проснулся в середине второго. "Халтура!" — оскорбился мужичок, распознав Степу. "Халтура!" — в два пальца засвистели безбилетные ребятишки. И тогда проснулся от унижения великий маэстро месье Шарль, выпрямил усталую, покорную спину, сверкнул страшными глазами и усыпил ползала вместе с гипнотизером.

А гимн уже набирал силу к финалу, крепчали басы, звенела медь, и Степа медленно поднимался на ноги, словно тащила его за волосы неумолимая сила, а потом подхватил в охапку одеяло с подушкой, бегом побежал из комнаты, матерясь беззубым слюнявым ртом. Бежал Степа в одном исподнем, штаны с рубахой оставил на полу, а в спину его толкал нескончаемый заключительный аккорд.

— Охо-хо, — вслед сказала Зинаида Ивановна, — суетной ты, Панюшкин. Глаза бы мои не глядели...

— Говорит Москва! — бодро выкрикнула диктор, будто хорошо выпалась. — Доброе утро, товарищи!

— Спасибо, милая, — откликнулась Зинаида Ивановна, как долгожданной подружке. — И тебя также. И тебя.

— Сегодня суббота, второе сентября...

— Да знаю я, знаю... Вон, численник висит, вечер еще оборвала.

Радио у нее весь день говорит, телевизор — весь вечер. Из дома выходит — не выключает. Чтобы по возвращении в пустое жилье слышать человеческий голос. От вечного одиночества она уж со всеми дикторами переговорила. Узнавала по голосу, предпочитала любимчиков, выговаривала с осуждением: "Чтой-то ты, милая, никак охрипла? Холодного не пей... Чтой-то ты, девка, вырядилась пестро? Не к лицу тебе..."

— Уборочная страда, — сообщила диктор, — передвинулась на север. Труженики сельского хозяйства Вологодской области в обстановке трудового подъема...

— Наши! — обрадовалась Зинаида Ивановна. — Ты уж похвали их, похвали хорошенько... Мы, вологодские, старательны.

Ее мать — бабка деревенская, неграмотная — так и не привыкла к телевизору. Не умещалось в старой ее голове, что нет в комнате этого человека. Как так нет, когда вон он, из ящика зырится?! К столу садилась — чай диктору наливала. Переодевалась — косынку на экран накидывала. Чтоб не подглядывал. "Дорогие друзья! — приглашал диктор. — Сегодня у нас в гостях..." "Счас, — торопилась. — Погоди чуток!" И опроретью на двор: "Идите! Гости у нас..." Смеялась она тогда над матерью, что с пустым ящиком разговаривает, а срок пришел — сама с диктором заздоровалась.

— ... встаньте прямо, — приказал бодрый, жирненький голосок, — руки на поясе, ноги на ширине плеч... и! ...

— Кто встанет, — сказала с кровати, — а кто и полегит. Хватит, милый, навставалась, за пятерых наработала...

А еще любит она по вечерам с гармонью сидеть. Свет в комнате потушит, затаится в темноте, лады неловко перебирает, а сама приговаривает нараспев, шепотком, с долгими придыханиями: "Мне ночесь, молодешеньке, мне ночесь мало спалось, мне во сне много виделось..." За спиной у Зинаиды Ивановны ковер два на три, на ковре вымпел за ударную работу, по стенам грамоты в рамочках, вырезки из газет с заголовками "Ударный труд", "Женщина-герой", "Работать на отлично". Развешаны в ряд, невысоко, на уровне глаз. Она бродит днем по комнате, читает с интересом. "Мне привиделось, молоденьке, все горы-то крутые, все реки-то быстрые, все леса-то темные, все звери-то лютые..." На полу, на стульях, под кроватью кипы газет и журналов тех времен, когда о ней много писали. Все просмотрено, отмечено, подчеркнуто, вырезано. "Что горы крутые — мое горе-кручинушка..." Комната завалена. Проходы между кипами узкие. Пахнет мышами. Летаёт моль. Забегают тараканы с кухни. "Что реки-то быстрыя — мои горячи слезы..." А Зинаида Ивановна Деева грустит в темноте под один и тот же мотив, спотыкается на западающей клавише, соседей в истерику вгоняет. "Что леса-то темные — чужа дальняя сторона..." Это была мужнина гармонь. Муж ушел от нее, не попрощавшись. От нее, от ее почета, от отдельной, несбыточной другим квартиры. Больше она его не видала. Куда уехал — неизвестно. Где живет — тоже. Строители — они везде нужны. "Что звери-то лютые — чужа люди незнамые..."

— ... приседайте пониже, пониже, товарищи, не лезите...

Этот бодрый, жирненький командирский голосок раздражал ее по утрам. Напоминал он ей товарища Севастьянова, вечного ее начальника, которому она обязана всем и которого ненавидела за все.

— Вот выключу тебя, — пригрозила Зинаида Ивановна, — будешь тогда знать...

Запели песни по радио, старые, привычные, от многих повторов любимые, и Зинаида Ивановна взбодрилась, ломоту утреннюю, свирепую, превозмогла, со стоном села на кровати, глаза в красный угол уткнула. Там, в бабкином киоте, указ о главном ее награждении, с такими подписями, что от уважения зажмуришься. Всякое утро с него начинается, как с молитвы, только что не крестится. И подмывает иной раз затеплить лампаду, и тянет кой-когда бухнуться на колени перед указом, лбом об пол: не Бога боится — высшего земного начальства. Которое и сидит не ниже, и глядит не ближе, за каждым все примечает.

По радио концерт по заявкам, и она — все внимание. Как-то в тоскливый вечер, под частый дождичек, всеми вроде позабытая, отписала им большое письмо, с перечислением заслуг, с просьбой передать плясовую ее любимую, давних еще времен, мужиком на гармонии игранную: "Понапрасну, Ванька, ходишь, понапрасну ноги мнешь, ничего ты не получишь, дураком домой пойдешь!.." Подписала письмо полным титулом, с наградами "З. И. Деева, референт на пенсии". Они и откликнулись, тут же, — небось, не часто знаменитые пишут, — заслуги ее перечислили, поздравили с днем строителя, спели для нее марш на всю страну: "Мы сильны, как прежде. Пламень не погас. Трудовые будни — праздники для

нас". Опять она отписала письмо про их ошибочку, поблагодарила за уважение, просила на этот раз не спутать, передать любимую, плясовую, мужиком на гармонии игранную: "Ноги босы, тело грязно, рубашонка как смола. Эка, подлая девчонка, до чего ты довела..." Молчат пока на радио, очередь, видно, не дошла.

Накинула Зинаида Ивановна байковый халат, а на нем — старые уже, захватанные, неснимаемые орденские планки на левой груди да новенький значок на правой. Рада была до смерти, что позвали — не позабыли, вспомнили — наградили. Вышла на сцену, речь привычную сказала без бумажки, поклонилась за оказанную честь. Который день носит значок на халате — наглядеться не может.

Ходит Зинаида Ивановна по комнате, с ноги на ногу пузо перекладывает, задницей неохватной трясет, — вырезки на стенах оглядывает. Где с портретом вырезка, где так. Ай, да Зинаида Ивановна, ай, да мы! Одно печалит: вот куда их девать потом, газеты с журналами, грамоты с наградами, куда сдать на вечное хранение, когда приедет за ней на казенной машине мужичок-протертые штаны, махнет рукой беспечальному оркестру?

Тут она забеспокоилась вроде без повода, трубку взяла телефонную, номер набрала по памяти. Долго гукало в ухе, длинно и протяжно, знакомый голос просипел заспанно: "Алле". Она молчит. Он опять: "Алле". Она опять молчит. Время — суббота, седьмой час. Он уже сердито: "Алле-алле!" И гудки: частые да короткие. А она себе слушает, трубку не кладет. Ей голоса чудятся. "Ты кто есть?" "Герой-строитель". "С наградами?" "Не без этого". "Гляди, чтоб не сперли. Глаз не спускай. Без наград хоронить не стану. И не проси..."

Она положила трубку, стащила с этажерки ведер-

ный самовар, нарочно не чищенный, заглянула под крышку. Тут они, на доньшке, каждый в своей тряпиче, чтоб не побились. На праздник приколет на грудь — жакетка под грузом виснет. По улице пройдет — звенят награды, перекликаются весело, людей зазывают. Вдохнула гордо, с удовольствием, на этажерку поставила, на прежнее место. Не, воры не догадаются!

— Кому что, — сказала. — А у меня наработано...

Ах, Зинаида Ивановна! Зинка ты наша, Зиночка! Остановился волосатый палец против ее фамилии, ногтем подчеркнул дважды, и стала зачинателем Зина Деева. Стала Зина зачинателем почина за ежедневное перевыполнение дневного задания, и валом повалили корреспонденты, и прискакала кинохроника, и радио ее отметило, и делегации посетили, и премировали ее многократно радиоприемником, ковром, никелированной кроватью, разными недоступными разностями, и все товарки вокруг обметались завистью-лихорадкой, а пуще всех лучшая ее подружка, а ныне вечный враг, бригадир Семибрюхова.

И закрутилась Зинаида Ивановна: вздохнуть некогда!

Затемно — на работу. С работы — совещание, доклад, обмен опытом, просто посидеть в президиуме, гостем почетным. Домой — опять затемно, под самую ночь. А с мужиком когда? А обед сготовить? Дома прибрать? В гости сходить? По магазинам? Затосковал мужик, стал задумываться, смолил табак несчитанными пачками, неприятно бродил по женинной квартире, пинал ногами дареную мебель, да и ушел вдруг, не попрощавшись, будто на угол за папиросами. Нужна ему баба, чтобы жить с ней, спать с ней, обеды ее есть, по заду при случае шлеп-

нуть, ходить в обнимку по бараку, из клетушки в клетушку: везде желанные гости. Бросил и ее и гармонь с западающей клавишей, как переставших служить основному назначению. Обе отыграли свое. "Хорошо слюбляться, тошно расставаться — солнышку с туманушком, девушке с Иванушком..."

Ушел мужик — но осталась при ней ее слава, ее работа, ее награды. Много — и мало. Все — и ничего. Стала собирать газеты — пыльными кипами, вешала по стенам грамоты в рамочках, клеила вырезки, сплошь перекрывала обои. Почистила старый, бабкин еще киот, вынула оттуда свадебную икону, вставила под стекло указ о главном своем награждении. Стервенела на работе, бригаду свою гоняла — вздохнуть некогда. От нее бежали, от чокнутой. А товарищ Севастьянов нахваливал, товарищ Севастьянов в пример ставил, грузил да грузил сверх меры, хвастал где надо выпестованными кадрами. Для товарища Севастьянова — политика, для нее — жизнь.

Вот тогда-то и потеряла она здоровье: на холоде, на сырости, на неподъемной тяжести, которую взгромоздил на нее товарищ Севастьянов и которую безропотно волокно ее честолюбие. Вставала по утрам со стоном, разминала опухшие пальцы, растирала онемелую поясницу, натягивала лечебные чулки на переплетенные венами ноги, а потом вкалывала на работе за троих, из последних сил, стиснув зубы, чтобы похвалили ее, похвалили, непременно похвалили еще и еще. Да в газетах написали, да грамоту дали, да вымпел, да значок... Привыкла уже к почету, к уважению, к казенным знакам внимания, и даже на отдыхе, в санатории, носила на летнем платье самую главную свою награду. Даже на пальто, порой, навешивала. Чтобы все видали вокруг, что она — герой. Потому что верила сама

— нерушимо. Газеты о ней пишут, радио гремит: как тут не поверишь? И мужичок-протертые штаны уже поглядывал на нее внимательно, словно примеривал будущие похороны. А она ходила мимо него гордо, с уважением к себе: знала хорошо, что никуда он теперь от нее не денется. Или она от него.

И загордилась Зинаида Ивановна. И вознеслась. И стала она дерзить товарищу Севастьянову, главному своему неприятелю, одергивать его на людях.

И задумался товарищ Севастьянов над творением рук своих. Вхожа она туда, где ему и не бывать никогда. Сидела в президиумах там, где допускали его в последние ряды. Могла сказать о нем при случае. Могла навредить мимоходом. Могла напакостить — не расхлебаешь вовек. И тогда товарищ Севастьянов сделал ход конем. Взял вина, закусочку, пирожных коробку, приехал в гости, подпил для храбрости, облапил волосатыми руками, завалил на лоскутное одеяло... и получил с ходу по уху. Рука у штукатура тяжелая, грубая: вспыхнуло ухо свекольным светом, горело потом неделю.

И испугался товарищ Севастьянов. Начал заискивать перед ней, мельтешиться с новыми подарками, а потом сообразил вдруг бессонной ночью и перевел ее со стройки в трест. "Учитывая выдающиеся заслуги... В связи с ухудшением здоровья... Для укрепления административного аппарата..." Сделал ее товарищ Севастьянов личным референтом. Дал отдельную комнату, велел повесить табличку: "З. И. Деева, референт". В просторечии — референт Зинка. И уже пополз его волосатый палец по бесконечному списку, выискивая очередную кандидатуру в герои. Скромную. Достойную. Пока что не балованную.

И стала затухать звезда Зинаиды Ивановны Деевой. Стали забывать ее потихоньку. Были уже дру-

гие, помоложе да половчее, с ходкими еще ногами, с ловкими пока руками, с ненатруженной поясницей, что работали героически, ездили с делегациями, выступали по радио, наливались собственной значимостью под бдительным оком невидного в тени товарища Севастьянова. Тем сильнее держалась Зинаида Ивановна за прежние свои заслуги. Тем чаще убеждала себя в героическом прошлом. Тем упрямее перекалывала с платья на платье главную свою награду. И терзалась в пустом кабинете, что забыли про нее, и радовалась, когда вспоминали о ней, и опять терзалась новой зависимостью от него, проклятого, на всю жизнь даденного ей товарища Севастьянова.

А работа была у нее пустая, простая, никчемная. Не было у нее работы. Так, малые бумажки. Что она знала? Как штукатурку класть... А уставала не меньше, а болела почаше, по утрам доползала до работы вся разбитая, и крутая лестница до кабинета была ее злейший враг.

Десять лет отходила в референтах. Как по суду срок. Ровно ко времени ее отправили на пенсию. С триумфом. С почетом. Со многими подарками. Отдыхай, Зинаида Ивановна! Перебирай по дням славную свою жизнь! Гордись итогами!

Вот она и отдыхает. Вот и перебирает дни. Вот и не поймет никак: герой или не герой. Вот и боится, что выкинут ее по ненадобности из списков на красивые казенные похороны, вставят вместо нее другую фамилию. Наберет заветный номер — мужичок откликается: "Алле, вас слушают". А она трубку положит. Хочется ей спросить — сил нет! "Мужичок, а мужичок. Глянь-ко в бумажки. Как там насчет меня?" Хочется, а страшно. "Как фамилия?" — спросит мужичок. "Деева. Зинаида Ивановна. Герой-строитель". Он посопит в трубку, пошебур-

шит бумажками да и брякнет: "Нету такой". "Как так нету?! Я заслуженная. Кого хошь спроси!" "Ничего не знаю. Раз нету, стало быть, ничего и не было".

Вот и вся история жизни Зинаиды Ивановны Деевой.

Да простит Господь Бог прегрешения товарищей Севастьяновых: всех вместе и каждого в отдельности!

В коридоре стоял соседский шкаф.

В шкафу — зеркало до полу.

В зеркале отражался он, месье Шарль, великолепный маэстро, строгий и недоступный. В цилиндре, в черном переливчатом плаще поверх фиолетового белья, на руках — перчатки.

— Тише, — попросил месье Шарль бархатным сценическим баритоном. — Прошу вас убедительно.

А Зинаида Ивановна и так оробела, притаилась в углу, глядела во все глаза.

По утрам, когда квартира еще спала, он занимался самогипнозом. Вгонял себя в себя. Вставал у зеркала, утыкался глазами в глаза, давил Степу Панюшкина. И были уже успехи, было торжество над поверженным врагом, — тушевался Степа, забивался в дальние углы, униженно вымаливал право на тихое существование, — но сделали ему дурацкую операцию, мир зашумел беспокойно и нестройно, и опять разгулялся Степа Панюшкин, нагло гнет свою линию.

— Нельзя ли потише? — поморщился месье Шарль на одному ему слышные шорохи. — Вас просят...

А из зеркала уже глядели на него зыристые Степкины глаза. Это Степка ловчил и приспособливался, Степка продавал себя по частям, глушил большое ради малого за сладкую жизнь, за непыльную рабо-

ту, и кажется теперь месье Шарлю, что немощный сластолюбец-старик — это результат Степакиной жизни, наказание ему за махровую пошлость, за подлое разоблачение чудес. Останься он месье Шарлем, и здоровье было бы получше, и силы покрепче, и годков поменьше.

— Зусман... — прохрипел Степа, оттесняя противника, и поджал озябшую босую ногу. — Клево бы поберлять...

Но месье Шарль уже вскинулся гневно, прожег насквозь огненным взором, и Степа струхнул, заметался, заюлил мелким чертиком, растекся зыбкой медузой в глубинах зеркала..., но тут проревел с улицы грузовик, застрелял оглушительными выхлопами, и дрогнул месье Шарль, надломились поднятые плечи, лицо собралось жалкими морщинами, и Степа в зеркале небрежно отпихнул врага, нагло зацыкал языком над поверженным.

— Да что же это! — заметался великий маэстро по тесному коридору, рванул вздыбленные волосы. — Да сколько можно?!..

И опять — к зеркалу. Глазами в глаза.

Зинаида Ивановна боязливо обошла его по стеночке, заперлась в ванной. Напустила воды, замочила Степины штаны, подсыпала стирального порошка: пусть отмокает. Постирала на руках Степину рубашку, оттерла с трудом въевшуюся грязь, — пальцы схватило судорогой, — понесла вешать на кухню.

В коридоре у соседской двери стоял, переломившись надвое, Степа Панюшкин, жадным глазом ввинтился в замочную скважину. Там, за дверью, молодые. Там — стена трещит по ночам. Там — есть чего поглядеть. Плащ с цилиндром валялись на полу, как знак поражения месье Шарля, и Степе уже никто не мешал. Лицо пошлое, похабно сальное, слюна струйкой с подбородка. С таким лицом, на-

верно, расписывают стены в станционных туалетах, царапают подписи в стихах.

— Панюшкин, — охнула Зинаида Ивановна, — срамник старьй!

И мокрой рубахой его — по спине, по тощему заду в мешочек.

Степа фыркнул зло битым котом, выпрямился в рост, блеснул диким глазом да и закатил сам себе оплеуху. Схватил за волосы, потащил в комнату, бил наотмашь по дряблым щекам: "Подлец! Негодяй! Ничтожество!.."

— Гляди, — крикнула Зинаида Ивановна, — участковому скажу. Поди не отвертисься...

А самой — приятно. Самой — лестно. Мужик он и есть мужик. Жеребец стоялый...

Вышла на кухню, поставила чайник на газ, села у окна в прохладе. Время раннее, субботнее, народу на дворе — никого, одни кошки по помойке шастают, но тут зашагала из глубин застройки плотная группа народу, а впереди — сразу ее признала — бывшая товарка, бывший бригадир, злейший ее враг, пенсионер Семибрюхова — мать-командирша. Широко отшагивает, бодро отмахивает, мощной грудью вперед: ведет отряд на электричку. За ней — муж с рюкзаком, дочери с провизией, зятья с саженцами, внуки — с садовым инструментом. Едут на личный участок, на субботу-воскресенье: целину поднимать, урожай снимать, варенье варить, в банки закатывать. Семибрюхова давно в обиде: на товарища Севастьянова, на Зинаиду Ивановну, на весь белый свет. Обошел Семибрюхову жирный, волосатый палец. Мимо окна идет — все голову воротит, никак здороваться не желает. Будто не с ней отплясывали когда-то в бараке под мужнину гар-

монь. Будто не у нее гуляли на свадьбе: стон стоял окрест.

— Груня, — окликнула Зинаида Ивановна. — Здравствуй, Груня.

Та столбом встала. И команда ее встала. Сколько лет не разговаривали, а тут — на тебе!

— Ну, здравствуй, — отвечает. — Чего еще скажешь?

А эта и не знает. Сама себе удивляется, с чего это в разговор ввязалась.

— У наших была, — сообщила. — Вон, значок навесили.

И грудь вперед выставила. И складку на байке расправила. Чтоб виднее было.

Семибрюхову огонь прожег. Глаз закосил у Семибрюховой от лютой злости.

— Ну, еще ба... — тянет медленно, а сама ртом дергает вместо ухмылки. — Кому уж, как не тебе...

А Зинаида Ивановна добрая с утра, ей лаяться нужды нет.

— В другой раз и тебе дадут.

— Мне — не за что, — оскалилась. — Не наработала. Одна ты у нас — герой.

— Ой, Груня, — подивилась. — Что ж ты меня костишь? Не сама награждала. Правительство.

— Пра-ви-тель-ство... — обрадовалась Семибрюхова. — Твое правительство — Севастьянов, боров жирный. Кабы не он, хрен что получила.

А Зинаиде Ивановне спорить неохота.

— У меня, Груня, здоровье потеряно. Я ить себя не жалела, другим все отдавала.

— Отдавала... Да ты озолотилась, поди! Вон, всего надарено. Да в кабинетах напоследки сидела, жи-лы не рвала на стройке, деньгу гребла.

Тут уж Зинаида Ивановна пообиделась чуть, го-лос подняла:

— Нету у меня здоровья, Груня, и богатства нету. Хоть обыщи. Тебе завидно, Груня, вот ты и лютуешь. А я перед тобой не виноватая.

— Ты... — крикнула та, будто ждала, и плеснула в лицо накопленное: — Знаем мы твои заслуги! Любобовница Севастьяновская!.. Жопой навертелась за награду за кажную!..

— Ахти! — изумилась Зинаида Ивановна, и сердце скакнуло к горлу. — Да сроду... Да я его, поганого... Змея! — завопила в голос. — Змея лютая!

— А чего ж ты думала? Одна у нас этакая знаменитая?! Тебе — все, а другим — шиш?! Герой!.. Знаем мы, как он те голяшки-то заворачивал. Наслышаны...

— Детей бы... Детей устыдилась... Стерва!

— Чего мне стыдиться? Я женщина честная. У кого хошь спроси. Что наработала, за то и получила.

— А я что?.. Я-то... В суд! В товарищеский! Ты у меня погнешься...

Семибрюхова встала перед ней, руки в бока уперла, взглянула ненавистно, с торжеством:

— А с чего от тебя мужик-то убеж? Ну! Говори!!

А Зинаиде Ивановне и сказать нечего. Ртом воздух похватила по-рыбьи, молчит бессловесно.

— То-то! — насладились Семибрюхова. — С того с самого. Кому охота бабу делить?! Молчала бы уж про награды... Пошли!

И победителем зашагала под арку. А за ней — муж, дочери, зятя, внуки цепочкой. Как насмешка. Как знак превосходства Семибрюховского. Ты, мол, за цацками гонялась, мужика проворонила, а я время не теряла, девок нарожала полные лавки, внуков заимела — горстями. Внуки-то — они лучше твоих цацек. Накося выкуси!

А Зинаиде Ивановне и возразить нечего.

Молчит Зинаида Ивановна.

Дышит загнанно.

А за спиной у Зинаиды Ивановны чайник паром исходит, струей по стене бьет, слезой вниз истекает. Слезой-горошиной.

Эх, Семибрюхова, Семибрюхова, нечестная твоя душа! Ты бы что делала на ее-то месте? Что бы ты теперь говорила, не обойди тебя вовремя волосатый палец?

Тьфу на тебя, Семибрюхова! Плюнуть и растереть!!

2

По утрам ему не хотелось вставать.

Вставать, умываться, завтракать, натужно раскручивать скрипучий маховик дня.

По утрам ему не хотелось говорить.

Говорить, думать, соображать, подбирать слова, складывать фразы, ворочать без цели онемелым языком.

По утрам ему не хотелось жить.

Жить, быть, гонять кровь по сосудам, посылать биотоки по нервам, сокращать мышцы, отправлять естественные потребности.

По утрам ему не хотелось хотеть.

Люба, жена его, уматывала до полусмерти ненасытными ночами, и по утрам не видел он в этом занятии смысла и удовольствия, а так — навязанную природой необходимость, закоренелую дурную привычку, от которой не избавишься. Как от наркотиков, курева или выпивки. Но к обеду все образовывалось, к ужину накатывало привычное желание, а ночь — она брала свое, бесконечно разнообразная, с изощренной фантазией профессионала, чтобы выбросить его в новый день, волной откатиться назад

и оставить утру — снулого, вялого, неспособного ни на что.

Он проснулся усталый, пресыщенный, безо всякого интереса к жизни. Всю ночь праздновали они день его рождения, без сна и отдыха, по старой его привычке отмечать в постели важные даты. Люба, жена его, лежала на животе, опутав его горячими ногами, носом в плечо, терпеливо ожидая пробуждения властелина. Солнце било в слепое, пылью обросшее окно, на карнизе за стеклом топтались два голубя.

— Максим... — ткнулась.

— Отстань.

— Макси-им!

— Будя, говорю... Вечером.

Постель занимала полкомнаты. Постель поражала воображение. Двухспальная кровать, одинаковая широкая вдоль и поперек. Царское ложе, только что без балдахина. Наволочки вышитые. Простыни — шумно крахмальные. Шелковые пижамы. Ночные рубахи нежнейших тонов. Сафьяновые туфли. Ковер на стене. Ковер на полу. Полированный столик на гнутых ножках. Ночник гирляндой абажурчиков. Портреты голых, глянцевого красоток из зарубежных журналов. Угол комнаты как из другого мира. Для улады духа и тела. А в прочих местах — мрак и запустение. Лампа без абажура. Стол с разномастными стульями. Этажерка с разнокалиберными книгами. Посуда на столе немытая. Пыль на полу валиками. За шкафом у стены — детская кровать. Все деньги уходили на постель. Все силы. Все помыслы.

— Мама, — позвали из-за шкафа, — встать хочу.

— А ты книжку почитай, — заторопилась Люба, вминаясь в Максима. — Скоро завтракать будем.

— Я уже кончил книжку.

— Другую начни.

За шкафом вздохнули устало, зашуршали страницами.

— Петушок, ты не выглядывай, ладно?

— Я не выглядываю. Чего мне?

Максим отпихнул ее, голую, настырную, чтобы вздохнуть посвободнее, грустно заморгал глазами.

— Сорок, — сказал. — Разменяли десяточек.

— Не тебе жаловаться... — игриво пропела она, наваливаясь по-прежнему. — Макс-сим!

— Пусти...

Едкое раздражение колыхнуло изнутри, закружило голову, и тяжелая ладонь уже улеглась на сердце, жгутом опоясало у локтя левую руку.

— Стенокардия, — отметил со злым удовольствием. — Первый звонок. Потом склероз, подагра, катаракта, инсульт и инфаркт...

— Максим! — она уже требовала. — Не отвлекайся...

— Господи! — возопил в пространство. — Умереть не дадут спокойно!..

А она рывком перевернула его на живот, прошлась ладонями по спине, шее, плечам, и руки ушло заскользили по коже, ноготками, кончиками пальцев, слабыми щипками — нежно и трепетно, и расслабилось тело, и опали мышцы, и куда-то утекло раздражение, и полегчала тяжесть на сердце, и жгут на руке ослабил свою хватку.

— Уйди от меня... Ведьма! Дай хоть разок понервничать...

— Нечего тебе нервничать. Клетки тратить без толку.

— Мои клетки! Хочу и трачу.

— Для меня. Только для меня.

— Люди! — сказал горестно, носом в подушку. — Не женитесь на массажистках, люди!

И затих. И уже с удовольствием подставлял плечи и спину. Люба, жена его, умела с ним обращаться. Люба, жена его, опутала его неприметно. Потому и живет с ней третий уже год. Невозможно долго по прежним его срокам. Но чемодан на всякий случай стоит на шкафу. Чемодан он не велит убирать. В нем, в чемодане, его независимость.

— Эх... — сказал размягченно, жалея самого себя.
— Все ничего, да годы уходят. Стареть не охота. Дряхлеть не охота. Ни пожрать тебе, ни выпить, ни это самое — всякое... Вот бы так... — И сощурился в даль времен: — Чуешь, силы уходят: садись в лодку, без еды-питья, всем привет — и вниз по Енисею. А?!

— А я? — спросила капризно.

— Ты — на берегу.

— Я с тобой!

— Нет уж... Я тебя перед тем замуж выдам. А сам — к Ледовитому океану. Красивая смерть, никому не в тягость...

И глаза легко затуманились... И дыхание притихло...

... журчит-переливается вода по борту, рыба с боков всплескивает в изумлении, берег плывет в глазах невесомо и замедленно, будто хочет его разглядеть напоследок, верхушки деревьев кланяются уважительно, высокие травы расстилаются в преклонении, а он сидит на корме пустой лодки, руки висят меж колен, голова набок, в призрачной, голодной просветленности, мудро и отрешенно смотрит вдаль, где блеклое небо на горизонте, тишина и одиночество, холод и мрак, льды и сполохи мертвого сияния.

Прощайте, мы уходим... Живите, вы остаетесь...

— Я еще буду когда-нибудь, — сказал задумчиво.
— В другой жизни...

— И я с тобой! И я... Тоже хочу в другую жизнь.

— Тебе — незачем.

... звучит музыка, тихо и ненавязчиво... Лучше всего, скрипка. Скрипка и рояль. И изредка — виолончель. И еще арфа... Откуда музыка? Приемник в лодке, единственная слабость, которую себе позволил. Приемник с запасом батареек... Комары вьются тучами, гудят тоскливо и разочарованно. А он то и дело мажется кремом, прыскает по сторонам аэрозольным распылителем. Не забыть взять пару ящичков, чтобы умереть достойно, не раздражаясь на комаров, не почесываясь от укусов, не отвлекаясь от высоких мыслей...

— О рояле, — сказал печально, — всю жизнь мечтал. Так и не выучился...

— Я зато выучилась. Тут же и позабыла.

— Я бы не позабыл. — И пошел загибать пальцы: — Стихи люблю, а не читаю. Столярничать хотел, да не выбрался. В бассейне до работы поплавать — лень. За грибами, за земляникой — не припомню когда и ездил. Россию! — завопил. — Россию, и ту не видал! Есть она, нет ее — туман.

— Будет тебе. Месяц как из Сочи.

И прошлась по коже кончиками ноготочков: остро, щекотно, дразняще...

— Сочи, — вздохнул. — Оно конечно...

... полотенце взять в лодку, мыло, зубную щетку с пастой... Чтобы перейти в вечность чистым, побритым, с вычищенными зубами... Спальный мешок, подушку с матрасом — на ночь. А то жестко лежать, извертишься пока помрешь... От дождя — зонтик. От жары — вентилятор. Такие мелочи, не о чем и говорить... Для вентилятора — аккумулятор. К аккумулятору — моторчик для подзарядки. И канистру с бензином. И масло для смазки. И зап-

части. Чтобы не бегать потом по берегу, высунув язык, в поисках нужной детали...

— Между прочим, — сказал тоскливо, — во мне умер прекрасный кулинар. Я это знаю.

— Почему умер? Иди на кухню и вари.

— Умер, умер... — и подставил спину под ее руки, под мелкие, дразнящие щипочки.

А руки поглаживали, руки подталкивали, торопили и раздражали, заставляли и просили...

... спининг положить, леску, блесну, червяков в банке — поудить напоследок... Так скоро он не расстанется с жизнью, так чего время терять?.. Скородку, масло растительное, газовую плитку с баллончиком: рыбу зажарить, чтоб не протухла... Крупу, консервы, сгущенное молоко, пару ящичков боржома: проголодаешься пока помрешь... И все. И больше ничего. Кофеварку-кофемолку... В пустой лодке... Мудро и отрешенно... Шорты — позагорать. Маску — понырять. Крем для загара... Вот он плывет вниз по течению. Вот он уже рассчитался с жизнью... Пива ящичек — охладить за бортом. Утром, спросонок, первый глоток — буль! Райская музыка... Прощайте, мы уходим! И сигареты с фильтром...

— Нелюбопытный я, — сказал с удивлением. — Будто высох изнутри.

— Болтай больше! Ни одной юбки не пропустит.

— Юбки... — повторил. — Не о них речь. Восторга не ощущаю. Всплеска душевного. Потрясения глубин.

А сам уже млеет, умирает от наслаждения под ловкими, шныристыми пальцами...

— Трепета желаю, трепета!!

... на берегу стоит девушка, машет ему косынкой... Ах, девушка! Что за девушка! Царица! Тигрица! Лилия садов эдемских! Геолог, биолог, турист-

одиночка... Он берется за весла — припас на всякий случай, он поворачивает лодку поперек крутого течения — силы еще не иссякли, он причаливает к берегу... И вот они уже вместе. Под соснами. На песчаной отмели. В четыре руки ставят палатку, оранжевую, с козырьком, разводят костер, готовят ужин. Неприкосновенный лодочный запас: баночка шпрот, шашлык на шампуре, бутылочка охлажденной "Посольской" ... Ночь в палатке. Последняя ночь перед вечностью. Последняя девушка. Спальный мешок на двоих... Утром они выбегают на отмель — стройные, подтянутые, садятся в лодку — веселые, бодрые, заводят мотор — краснощекие, белозубые, и на полной скорости, на тугой волне — в город! Против течения! Навстречу жизни! А там в самолет — и на юг! Ялта-Сочи-Сухуми!!.. Здравствуйте, мы остаемся!..

— Уйди, — забурчал, отпихивая. — Вот почию чемодан — и уеду.

— Его не берут, не берут чинить...

— Новый куплю.

— Я... Я куплю...

Он попробовал было отбиться, отгородиться одеялом с подушкой, но ее руки в который уж раз сделали чудеса, и он жадно задохнулся в душном тепле пухлого, жаркого тела...

— Петушок, ты читаешь?

— Читаю.

— Ну... читай... чи... тай...

... пустая лодка уплывает, кружась, по течению, туда, к горизонту, где мрак, одиночество, призрачные сполохи ледяного сияния...

Прощайте, мы остаемся...

Больше всего на свете он любил жениться.

Жениться — это так незабываемо!

И ходить в женихах.

И участвовать в свадебных приготовлениях.

И распаковывать подарки.

Еще он любил отпускное время, и путешествия по гостям, и неожиданные обновки, и то самое, ночное, отчего становилось тошно по утрам, и многое другое — подобное, но жениться он любил больше всего. Когда угодно. Хоть через день. На тебя смотрят, за тобой ухаживают, тебе дарят подарки. Ах, подарки! Жизнь так бедна подарками! Жизнь без подарков — не жизнь.

И не смущала его вечная свадебная одинаковость. И непременно пошлый тамада. И драчун, которого выводили под руки. И косые взгляды завистников. И сытые реплики тупого остряка. Потому что на каждой свадьбе он думал только о том, как будет распаковывать коробки, свертки, ящички. Потому что после каждой свадьбы он начинал думать о следующей.

И останавливался столбом на улице, когда на изукрашенных цветами машинах провозили на скорости лилейно-белых невест и топорно-чопорных женихов: почему не он?

И вставал в немом упреке у подъездов ресторанов, где собирались гости с цветами-подарками на чью-то свадьбу: почему не к нему?

А они, невеста за невестой, вешались на него с первого взгляда, с полунамека, сразу угадывая то, главное, чем он обладал, и сладить с ними не было сил. Да он и не пытался. Каждая невеста наперед знала, что она навсегда. Каждая уверяла себя, что она последняя. И каждая — дура из дур — ловилась на этом. Сколько он поменял квартир! Сколько квартир — не счесть. С чемоданом по женам, как по гостиницам. Старый, трепаный чемодан, облупив-

шийся от частых переездов. Запаковал — распаковывай. Распаковал — далеко не прячь...

— Эй...

А она молчит.

— Спасибо где?

А она не отвечает. Приткнулась жарко расслабленным телом, туго оплела толстыми ногами, чтобы не ушел, носом сопит в плечо.

— Мама, — голосок из-за шкафа, — завтракать будем?

— Будем, — пообещал Максим. — Всё будем. Дай передохнуть.

И ласково огладил ладонью брюхо-тыковку. Было оно у него упругое, подвижное, с нежно дрожащим жирком, живым зверьком-шариком под пуховым, голубого шелка одеялом. Брюхо свое он любил. Брюхо свое холил и ублажал, испытывая вечное наслаждение от явной своей неспортивности, бросая открытый вызов всему физкультурному миру. И руки свои любил. И ноги. И пухлые щеки, и мохнатые брови, и светлые, с просинью, глаза, и седую прядь наискосок, предмет гордости и обожания. Отношение к телу было у него удивленное, придиричливое, полное ожидания и восхищения, как у девочки-подростка, когда у нее проклеваются грудки.

— Еще ничего, — сказал с удовольствием. — Годимся еще кой на что.

Засмеялся громко, потянулся сытно, потащил со столика трепаные, замусоленные книжки, вечные его спутники при странствиях по женам: "Атлас мира" да "Схемы железных дорог СССР". Любимейшие его книги. Они же и единственные. Всегда рядом, всегда под рукой для скорых и незамедлительных путешествий по экзотическим местам. Чтобы лечь после обеда на очередной диван, раскрыть с

удовольствием, посмаковать диковинные названия. Железнодорожная ветка Ташкент—Ангрен: Кучлук, Сергели, Той-Тепа, Ахан-Гаран, Аблык, Карахтай... Райские звуки!

— На тот год, — сощурился в пространство, — уж непременно... Чего тянуть? — И пальцем по странице, по ее затертому гляncy: — До Красноярска — самолетом. От Красноярска — поездом...

— Дорого, — ожила Люба.

— Накопим. Красноярск — Клюквенная — Канск Енисейский — Иланская — Шарбыш — Догадаево — Тайшет...

— Надоест, — зевнула Люба. — На полке навалеешься.

— Мне не надоест. — Был он тверд, решителен, уверен в себе, названия произносил четко, отдельно, прислушиваясь к странному их звучанию: — Чуна — Братск — Кежма — Заярск — Видим — Мерзлотная — Усть-Кут...

— А поближе нельзя?

— Можно, — скривился. — В садике погулять. Во дворе посидеть. На балконе. — И дальше, распаясь: — С поезда — на лодку. По Лене. Киренск — Чечуйск — Чуя — Нюя — Кытыл-Жура — Якутск — Сангар — Жиганск — Тит-Ары... — Задохнулся — горло перехватило от возбуждения: — А там — в море Лаптевых. Лыжи, собачьи упряжки — и по льду. Остров Столбовой, пролив Санникова, остров Фадеевский...

— Отпуска не хватит, — сказала Люба.

— Чего?..

— Отпуска, говорю, не хватит.

— А я... за свой счет. Еще месяц.

— За свой счет — денег не хватит.

И прихватила его руками, прилипла — не оторвешь.

— Ты!.. — закричал с обидой, больно лягаясь ногами. — Вечно ты все испортишь! С тобой соберешься, как же, как же...

Отпихнул ее к стене, встал, натянул тренировочные штаны, пошел в туалет. Шел по коридору большой, грузный, обиженный, и брюхо-тыковка двигалось под майкой обиженным зверьком, которого обеспокоили. Шел — жалел себя остро, по-детски, взалхлеб, и некому было пожалеть его со стороны. Тренировочные штаны свисали мешком на его заду, пузырились на коленях, просвечивали в протертых местах, прибавляли жалости к самому себе. Они, штаны эти, не принадлежали к их постельному великолепию.

— Годы, — жаловался, — уходят... Желания — вянут... Интересы — пропадают...

Пришел в туалет, сел, прислонил лоб к кафелю, начал остывать. На двери туалета, лицом к сидящему, висела карта Подмосковья. Для охотников и рыболовов. Глаза привычно заскользили по знакомым очертаниям, не читая, угадывали названия. Сам покупал, сам вешал, сам и путешествует в долгих сидениях, совмещая необходимое с приятным.

— Электричкой, — бормотал, — до Звенигорода... Байдаркой — до Рузы... Пешком через Комлево, Палашкино, Сумароково...

Воротился нехотя в комнату, лег в штанах поверх одеяла, прижал Любу к стене.

— Все вы хороши, — сказал капризно. — А где календарь?

— Есть! Туточки!!

Голая скакнула с кровати, нырнула головой в шкаф: ножки толстенькие, ручки в складочках, на животе валик. За периодом похудания идет период поправки. Так захотел Максим, и она старается, ест помногу, жирно, чтобы усладить его взор

пышными формами. А надоест ему — в который уж раз сядет голодать, сгонит вес до тощего изящества. Чтобы было ему вечное разнообразие. А не то — развод. В двадцать четыре часа. А он глядел равнодушно на голые ее прелести, соображал с вялым удивлением: "Ну и засиделся же ты, парень... Не пора ли тараканить?"

Люба встала перед ним гордая, сияющая, в руках отрывной календарь на картонке.

— Вот! Сама переклеивала.

— Дай сюда.

Год начинался со второго сентября, с дня его рождения. За ним в установленном порядке шли положенные дни и месяцы. Сентябрь, октябрь, ноябрь... На последнем листе стояло "1 сентября", канун нового года Максима Никодимова.

— Давай, — торопила. — Рви обложку!

Максим взялся за первый листок с Дедом Морозом, запнулся на секунду:

— Погодим еще... Вечером оторву. Неохота десятков разминивать.

— Ладно тебе! Чего ждать?

И завопила торжественно:

— Новый! Год! Максима! Никодимова! Объявляется! Открытым!!

Максим улыбнулся печально, вздохнул, пожалел себя от души и ...

— Мама, — голосок из-за шкафа, — в туалет хочу.

— Что?! — пронзительно выкрикнул Максим и распрямился по-пружинному. — Как ты сказал?

— В туалет хочу, — повторили из-за шкафа.

— Петушок, — перепугалась Люба, — там баночка стоит... Ты в баночку...

— В баночку не поместится.

— Поместится, поместится...

Скрип кровати. Шлепание по полу. Тихое, нескончаемое журчание. Всплеск...

— Не поместилось.

— Конечно, — сказал Максим, вздрагивая от едкой обиды. — Конечно, конечно... Все вы заодно, пошляки!

И долбанул календарем об пол. И завалился на кровати, носом в стенку. И потянул на голову одеяло.

— Не люблю людей, — сказал от души. — Особенно всех...

— Максим... Максимушка...

Тихо-тихо, нежно и ласково, давно неслышанными голосами:

— Зайчик ты мой...

— Медвежонок...

— Ягодка...

Встрепенулся, напряг слух и зрение, задрожал радостно:

— Я — зайчик! Я — медвежонок! Ко мне! Ко мне, мои милые!..

А голоса все ближе, теплые, родные, голоса бегут, спотыкаются, торопятся вприпрыжку, прерывистые, задохнувшиеся от волнения:

— Это я! Я, твоя девочка!..

— Это я, я! Я, твоя ласточка!..

— Я, твоя умница!..

— Сдобненькая твоя... Крепенькая... Сладенькая... Солнышко твое!

Протянул руки, захлебнулся восторгом, пролился обильными слезами:

— Здравствуйте, мои светлые! Здравствуйте, мои единственные!

И замолчали разом. И вздохнули хором. И — болью, стоном, отчаянием:

— Бедный ты мой!
— Старый ты мой!
— Лысый... Обрюзгший... Расслабленный...
— Это ты, ты довела его, мерзкая!
— Это не я! — кричит Люба. — Это вы, вы! Мне он такой достался!..

— Врешь!!
— Он был молодой у меня!..
— На него оглядывались... На него засматривались...

— Судить! Судить ее, подлую! Судить! Судить! Судить!!

— Судить, — говорит он.

И вот — суд.

Судья, прокурор, жены-свидетели. Полукругом у кровати. Зося-школьница, Оля-студентка, Симачемпионка, Клара-домохозяйка, Эльвира — генеральская дочь.

Обвиняемая — голая, яростная — на стуле у стены.

Потерпевший — кроткий, измученный — на взбитых подушках.

— Тишина в зале суда! Потерпевший, вам слово.

Он откашлялся, продышался, начал тихо, размягченно, купаясь в их жалости:

— Я живу с обвиняемой третий уже год...

Шорох изумления среди свидетелей:

— Как долго! Счастливица... Удачница... Не то, что я... Так бы и убила!

— Она оплела меня, приворожила, обволокла со всех сторон и медленно растворяет. — Он всхлипнул: — Скоро ничего не останется...

Ропот негодования среди свидетельниц:

— Ведьма! Упырь! Кикимора болотная... На костер ее!

— Она... Она ничего мне не дарит. Она не балует

меня сюрпризами. Она отнимает мои подарки...

Взрыв возмущения, вулкан клокочущий, лава огнедышащая:

— Да я... Я для него себя не уберегла!..

— Я для него лучшие платья мяла!..

— Я после него рекорды не подтверждала!..

— На кухне затворилась! От плиты не отходила!..

— А я... Я его на генеральской машине катала! С персональным шофером!..

— Ну и что?! — кричит обвиняемая. — А я для него толстею! Я для него худею! Ложе для него сделала — почище царского! Ночей с ним не сплю!..

— Это я с ней не сплю, я! — кричит потерпевший.
— Только задремлешь, а она лезет...

— Попрошу занести в протокол, — требует прокурор. — Цитирую: "Только задремлешь, а она лезет".
Конец цитаты.

Вздых среди свидетелей:

— Счастливица... Удачница... Так бы и убила!

— Обвиняемая! Что вы можете сказать в свое оправдание?

— В оправдание — ничего. Только в обвинение.

Тишина мертвая, безъязыкая. Судье, и то боязно.

— Говорите.

— Гражданин судья! Гражданин прокурор! Гражданки свидетели! Зачем нам, женщинам, нужен мужчина? Ну, зачем?

Общее недоумение, переходящее в столбняк.

— Содержать нас? Мы и сами работаем. Помогать по дому? Мы и так справляемся. Воспитывать детей? Не смешите меня. Так для чего же, для чего он нам нужен? Он, мужчина, нам, женщинам?!

Эффектная пауза.

— Ответ один: для того для самого. Да, да, для того для самого! Исключительно! И это самое мы должны получать по первому требованию и в не-

ограниченном количестве. Должны, я вас спрашиваю?!

— Должны... — потупился судья.

— Должны... — покраснел прокурор.

— Ой, должны... — вздохнули жены-свидетельницы.

— Так какого же хрена нам его беречь?! Нам, женщинам, его, мужчину?!

Бурные аплодисменты. "Ура!" с перекатами.

— Попрошу занести в протокол, — кричит прокурор. — Цитирую: "Так какого же хрена нам его беречь?" Конец цитаты.

— Наш лозунг, — обвиняемая уже ногами на стуле, — вынь да положь!!

И головой вниз, в постель, как с вышки в воду. И броском через бедро — на пол. На пышный ковер.

— Спасите, родные! Единственные, на помощь!..

— Встать! — командует судья. — Зачитывается приговор.

Тишина мертвая...

— Заслушав жалобу потерпевшего и рассмотрев все подробности, суд постановляет: лишить обвиняемую всех прав на мужа сроком на пять лет. Нет, на восемь. Точнее, на десять. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

— Кому же его? — хрипит Люба с ковра, голая, яростная. — А?!

А у судьи уже молоток в руке. Судья стучит по столу.

— Отдается, отдается, отдается... Кто больше? Лес рук. Крики наперебой:

— Отдаю себя!

— Наряды свои!

— Рекорды!

— Гарнитур кухонный!

— Папин самолет!..

— Отдано, отдано, от...

— Минуточку, — говорит Люба зловеще, и клетот в горле орлиный. — А кто из вас, дамочки, умеет делать массаж? Ну?!

— Это еще зачем?..

— А без массажа он теперь никто. Никто и никак. Общее потрясение. Молоток зависает над столом.

— Да, да. Без массажа — никак.

— Врет она! — кричит пострадавший, а подозрение костистой лапой ухватилось за сердце. — Я докажу! Хоть сейчас...

— Со мной! Со мной! Нет, со мной!..

Гордо:

— Со всеми.

А уверенности нет. И желания нет. И опыт не помогает — только подчеркивает.

Молоток стучит неуверенно. Голос дрожит:

— Отдается, отдается, отдается... Кто берет?

Пауза. Потупленные взоры. Рассеянные, блудливые взгляды.

— Вызываю поименно. Зося-школьница?

— Да мне уроков позадавали... И контрольная завтра... И вообще, директор сказал, что этим делом одни хулиганы занимаются.

— Оля-студентка?

— Что вы, что вы... У меня роман намечается. Я уже обещалась. Кабы вчера... Хотя нет, вчера я тоже обещалась.

— Сима-чемпионка?

— А кто на олимпиаду поедет? Страну представлять? Со сборов не вылазю, личной жизни не вижу... С мужчиной разве рекорд установишь? Только с тренером.

— Клара-домохозяйка?

— Куда уж мне... Начнешь этим делом занимать-

ся — за кухней не уследишь. Молоко убежит, мясо подгорит, газом дом взорвешь...

— Эльвира-генеральская дочь?

— А обо мне и речи нет. Была дочь генеральская, стану жена адмиральская. На линкоре на базар поеду...

— Так кому же он? Кому?!

— Мне! — Люба. — Я беру.

— Бери, нам не жалко...

— Погодите, — завертелся. — У меня еще жена была. Тоня-тихоня. — И жалобно, в холодное пространство: — Тоня! Где ты?!

— Я за Тоню.

Теща Вера, рыжая старуха. Гибкая, страстная — огонь в глазах, жизнь полнокровная!

— Теща Вера, здравствуй! А Тоня где?

— Где, где... В бегах, вот где. Я тебя до свадьбы отговаривала?

— Отговаривала.

— Ну то-то. Мы не семейные. Мы загульные. Порок в нас такой.

И по комнате прошлась, будто в танце. Куда до нее прежним женам! Табуретки, комодики, пуфики... А эта — сама грация!

— Теща Вера, ах, теща Вера! Пожалей меня...

— Будет тебе. Вставай, чего валяешься?

— Все меня жалеют, одна ты не пожалеешь!

— Я себя-то не жалею, не то что других!

Теща! Ах, какая она была теща! Она ему готовила — с ума сойти! Она его подарками баловала!

— Теща Вера, иди за меня замуж.

— За тебя не пойду.

— Чего так?

— Больно вялый. Весь день в кровати. Пролежни, небось. А мне жених нужен, чтобы плясать до упаду.

— Буду плясать. Все буду!

А она уже уходит, отступает неслышно в глубь комнаты, и жены отступают, шагами мягкими, не приметными...

— Возьмите меня... — заканючил. — Кто-нибудь!

Никого вокруг. Одна Люба. В постели. Под голубым одеялом. Ковер на стене, ковер на полу. И щипки острые, дразнящие, ноготочками по коже...

— Мама! Мамочка...

А с отдаления эхом, вздохом, звуком неразличимым:

— Прощай, Максим...

— Будь здоров, Максимушка...

— Зайчик... Медвежонок... Ягодка...

— Милые мои... Славные... Единственные...

А Люба уже терзала торжествующе бедную его плоть, торопила и раздражала, тянула и подталкивала, споро и скоро брала свое...

И на ковре, на затейливых его узорах, огненным шрифтом, просто и таинственно, четко и зловеще проступило, пульсируя:

”Максим Никодимов. Жертва необузданной эмансипации” ...

— Все, — сказал сурово. — Хватит. Отстрелялись.

— Максим, ты куда?

— Куда надо.

Проволочилась за ним по кровати, отпала на ковре.

— Макси-им...

Пошел по коридору, не медля, брюхо-тыковка перепуганным зверьком заметалось в панике под майкой: ”Не надо, Максим, ой, не надо! ...”

— Надо.

Пришел, толкнулся без стука в дверь, встал на пороге:

— Сосед, а сосед! Убей во мне мужскую силу.

Степа Панюшкин, бывший борец с религией, стоял у отпахнутого окна и жадно глядел в бинокль на женское общежитие. Бинокль был старый, театральный, с потрескавшимся перламутром, стекла мутные, захватанные, и Степа щурился, кривился, тщетно шарил по окнам в поисках недозволенного. Слюна прикипела в углу рта, босая нога в фиолетовых подштанниках чесала другую ногу, не то от грязи, не то от возбуждения.

— И ты туда же, — сказал брезгливо. — Гипнотизируй давай.

Степа повернулся к нему, взглянул черными провалами.

— Давай, давай, — поощрил Максим. — Убей в зародыше. Отучи. Освободи. Избавь от женщин.

Степа стоял недвижно, глядел молча, и только рука с биноклем, заметно подрагивая, медленно опускалась вниз.

— Не хочу больше, — распаялся Максим. — Не желаю. Будет. Всякий раз одно и то же... Да я, может, ученым бы стал. Изобретателем-рационализатором. Начальником над начальниками. Я, хочешь знать, всю жизнь подавал надежды. С детства в первой десятке. Бабы всё съели: силы, способности...

Степа дрогнул, по лицу прошла судорога, в глазах скользнуло понимание.

— Сумма прописью... — прохрипел Степа и облизал сухие губы. — Конфет. Торг кремовый. Два торта...

— Будет. Все будет. Что хошь отдам!

Но уже прорывался наружу, работал локтями, пихался, лягался, бодался растревоженный месье Шарль.

— Извините... — бархатным баритоном. — Сочту за честь... Давно не пробовал... — И опять Степиным

хрипом: — За башли, за клевое берляние... — И снова месье Шарль: — Смею ли... Дайте собраться... Присядьте вот тут!

Максим сел на краешек дивана, глядел любопытно, как бегал по комнате неопрятный старик в фиолетовых подштанниках, хрустел пальцами, вскрикивал, рвал волосы, бил себя по щекам, будто боролся насмерть с самим собой, отчего подрагивала на подоконнике пустая бутылка с кефирными подтеками. Стола в комнате не было, стульев тоже, только диван да гвоздь на стене: вот и вся обстановка. На диване — постель мятой грудой, на гвозде — концертный костюм, обернутый в марлю, да старая афиша с пожелтевшим глянцем: цилиндр и две перчатки. Как череп и скрещенные кости. И ни слова, ни буквы, ни намек. Все и так знали когда-то: это месье Шарль.

Он остановился в углу комнаты: прямой взгляд, строгие черты, благородная осанка. Даже стиранные подштанники выглядели элегантно.

— Повторите, — сказал властно. — Что вам угодно?

— Я устал, — повторил Максим. — Я не хочу больше женщин. Убейте во мне желание.

— Вы пожалеете.

— Нет.

— Вы раскаетесь.

— Никогда!

— Вы придете снова ко мне, но я не смогу вам помочь.

— И не надо. Скажите только, вам это под силу?

— Мне все под силу. Приготовьтесь к сеансу.

Снял со стены костюм, вынул его из марлевого кокона, стал облачаться. Белая рубашка с бабочкой, черные брюки, смокинг с атласными отворотами, черный шелковый цилиндр, белые перчатки.

Стоял перед Максимом внушительного вида старик, наделенный сверхъестественной силой: гордый, самоуверенный, всемогущий, и разминал пальцы в тугих перчатках. Только ноги оставались босыми, да волосы из-под цилиндра лохмами, да щетина на щеках двухнедельная.

— Я отблагодарю, — заробел Максим. — Сколько скажете...

— Встаньте.

Он встал.

— Подойдите ко мне.

Он подошел.

— Смотрите прямо.

Он взглянул — и глаза вцепились в него по-бульдोजьи, хваткими клещами, дернули на себя, потащили из оболочки-тела. Он сопротивлялся, выползая наружу, цепляясь по пути за что попало, страшась потерять спасительное прикрытие, и медленно втягивался в неумолимые черные провалы. Подавление, растворение, распад... Как кусок сахара в теплой воде... "Ой! — мелькнуло запоздалое. — Что же я делаю?.. Люди! Кто-нибудь..."

Будто на зов, распахнулась дверь настежь, в комнату влетела жена его Люба в прозрачном сиреновом халатике, принадлежности ее постельного великолепия.

— Вы чего это, мужики?

Черные провалы дрогнули, сморгнули, и Максим вывалился наружу, мятый, трепанный, ошеломленный, с радостью избавления от смутной опасности.

— Уйди, — сказал независимо. — Ты нам мешаешь.

— Максим, чего он с тобой делает?

— Чего надо. — И мстительно: — Желание во мне убивает.

— Какое желание?

— Такое самое. Чтоб ты ко мне больше не лезла.

— Нет! — заверещала Люба, как уколотая, и загродила мужа. — Не дам!

— Тише, — вздрогнул месье Шарль. — Что за базар?

— Я тебе дам — базар! Я милицию сейчас позову! Я тебя из дома выселю! За такую кастрацию по головке не погладят!..

Босая нога поджалась боязливо:

— Это не я... Он сам.

— Да, сам, — подтвердил Максим. — Не могу больше. Не желаю. Не буду.

— Максим, да ты что?.. А я? Как же я?!

— Замуж выходи. А я — пас. В науку пойду. В сторожа. Сидишь, куришь, на солнце щуришься.

— Нет! — И разъяренной кошкой на старика: — Только посмей! Глаза выдеру!..

— Да все уж, все, — сказал Максим с хохотком. — Опоздала, матушка. Вон, прелести твои наружу, а мне хоть бы что.

— Врешь... — обомлела, побелела, завалилась на стенку. — Не... Не верю...

Максим оглядел ее с интересом сквозь прозрачный халатик, испытал некое волнение.

— Слышь, — сказал старику. — Я к тебе через часок забегу.

— Нет, — оскорбился тот. — Теперь — или никогда!

— Никогда! — Люба подскочила к Максиму, прижалась жарким телом, облепила плотно. — Идем... Идем, я все верну... Я восстановлю, вот увидишь! Лучше прежнего...

И руки ее, ловкие и умелые, пробрались под майку, прошлись по спине сверху донизу, добрались до сокровенных глубин.

— Ты!.. — зашипел, отпихивая. — Опять за старое?

И раздражение крутой волной взлетело от ног, тугим толчком ударило в виски, закружило голову. Вытолкал ее в коридор, накинул крючок, заорал в запале:

— Понеслись! Живо!!..

И воткнулся глазами в глаза, сам полез навстречу, торопясь, выдираясь, выпихиваясь из тесной оболочки. И поглощение уже состоялось, растворение уже началось, согласие и повиновение, подавление и распад...

... течет время... Отрешенно, просветленно, наполненно... Одиночество насыщенное. Тишина устоявшаяся. Острота чувств сверхъестественная... Вот он уже один. У окна. В кресле-качалке. С трубкой в зубах... Идут мимо женщины, луноликие, светлоокие, а он не шевелится. Бегут мимо девушки, длинноногие, острогрудые, тайноглазые, а ему хоть бы что. Он вне этого. Выше этого. Сбоку... Его удел — размышление, созерцание, проникновение в тайны тайн... Изредка, из христианских побуждений, звонит прежним своим женам-подругам, выслушивает страстные их признания, мягко увещевает, необидно отклоняет, мудрые дает советы по утишению плоти. И Тоне-тихоне, загульной и коварной, которая его бросила. И теще Вере, рыжей старухе... Ах, теща! Что за теща! Она его кормила — язык проглотишь! Она его подарками баловала!! Развязываешь не спеша шелковую ленточку, разворачиваешь хрустящую бумагу, приоткрываешь тяжелую коробку... Сюрприз! Жизнь так бедна сюрпризами! Пока силы бурлят, желания переполняют, плоть требует свое... Жены мои милые, девы мои страстные, где же вы?! Всех обойду, ни одной не отрину, с каждой возьму свое... А они уже близко, они на подходе, окликают кликами журавлиными, сбрасывают по дороге ненужные покровы... Груборукие

инженерши, бледнолицкие филологички, толстопя-
тые врачихи, узкобедрые секретарши, многостра-
стные студентки, анемичные аспирантки, пышногру-
дые библиотekarши, пухлогубые бухгалтерши,
острозубые чертежницы, жадноглазые косметички,
шоколаднолицкие, обнаженнотелые, пышноразвитые
представительницы слаборазвитых стран... Несть им
числа! Связи санаторные, пляжные, купейные, мага-
зинные, транспортные, бульварные, телефон-авто-
матные... Вот он я! Вот он!.. Глаза масляные. Рот до
ушей. Большой палец оттопырен в знак крупного
удовольствия. И буквы аршинные, наглые, жгучие,
чтобы уж каждому в глаза: "Максим Никодимов.
Виновник демографического взрыва..."

— Где?! Где бинокль?..

Жадно схватил с подоконника, ткнул глазами
в мутные окуляры, нетерпеливо закрутил колеси-
ко настройки.

— А, черт!..

Месье Шарль заглянул сбоку, робко тронул за
плечо:

— Вы это... как делаете? Под гипнозом или нет?..

— Под гипнозом. Конечно, под гипнозом. Ну, со-
сед, ты гений!

А тот уже в панике. Засуетился, захрустел пальца-
ми в тугих перчатках:

— Но я не то... не то внушал... Я подавлял...

— Ладно тебе. В другой раз подавишь.

Степа Панюшкин подхихикнул изнутри злорадно,
и месье Шарль рванул себя за ухо, ударил по скуле,
заметался по тесной каморке:

— Что же это?.. Да как же!.. Да не то!..

Но Максим уже зашарил окулярами по женскому
общезитию, выбирая на вкус. Учится — не надо. Ест
— мимо. На гитаре играют — без интереса. А это что
за спинка, голенькая, загореленькая, солнцу под-

ставленная? Повернись, милая, ну что тебе стоит?... Нет — не надо, поехали дальше. Чертит — мимо. Стирает — ее дело. Зубы скалит — эка невидаль! А что это там, второй этаж, третье окно с краю? Кто это? С кем это?.. Чего делают, чего, подлецы, делают!.. Ну и поколение! Ну и молодежь! Мы хоть шторы задергивали...

— Глянь! — затормошил старика. — Вон, третье с краю...

Степа Панюшкин отпихнул грубо противника, цапнул бинокль и пошатнулся от надвинувшегося зрелища. А плечи уже опускались, гордая осанка пропадала, сладкая слюна вскипела пузырьем, и голая нога в стираных подштанниках яростно зачесала другую ногу.

— Клево... — хрипел. — Хата... Чувишка... Чес...

— Хватит, — заторопил Максим. — Для здоровья вредно.

А тот не отдает. Сипит, хрипит, к себе дергает. Вывернул ему руки, отобрал бинокль, зашарил судорожно по дому. Ну, народ! Ну, акселераты! Ну, извращенцы! И кого мы только растим?..

Тут долбануло тяжелым по двери, крючок сорвался с гвоздя, и в комнату влетела жена его Люба, грозная и воинственная.

— Максим, не поддавайся! Он колдун! Он тебя испортит!..

И встала, хлопая глазами:

— Ты чего?

— Ничего, — сказал Максим, не отрываясь от захватывающего зрелища. — В бинокль гляжу.

Обошла его кругом, подозрительно оглядела.

— А там чего?

— Общежитие, — пояснил. — Женское. Легкий эротизм на грани с порнографией.

— Чувак, — сказал Степа, подхихикнув, — с чувашкой...

— Нет! Не гляди туда!..

И рванула из рук бинокль.

— Странный ты человек, — сказал Максим, искренне удивляясь. — Все-то не по тебе. Убиваю желание — ты против. Восстанавливаю — опять против.

— Я... Я восстановлю! Идем, Максимушка...

— Куда это?

— Домой идем... В постель!

— Чего я там не видал?

Повернулся к окну, уставился биноклем в заветное место, но зрелище уже закончилось.

— Эх, ты... Не дала доглядеть самое интересное.

Повел окулярами вдоль дома, потом по тротуару. Шел по улице толстый ребенок с киевским тортом в авоське, за ним — старый еврей с пузатым баулом. Шли — заворачивали под их арку.

— Все, — сказал Максим. — Влипли. Надвигаются гости.

3

Арон Цинциппер приехал в Москву по неотложным государственным делам.

Арона выдернули вчера днем прямо из-за стола, не дали доесть наваристый украинский борщ с чесночными пампушками, на директорской машине умчали на завод.

— Арон, — сказал директор, — дело — труба. Без тебя мы не выполним пятилетку.

”Со мной — тоже”, — подумал Арон и поехал в Москву выбивать сырье.

С собой он прихватил внука. Показать Наумчику Кремль.

Соломенная шляпа, чесучовый костюм нежнейших кремовых тонов, белые парусиновые туфли, которые надо чистить по утрам молоком с мелом. Бывший одессит. Модник и щеголь. Всякую весну покупает себе новый галстук с соломенной шляпой, всякое утро встает затемно, бреется, чистится, прихорашивается. В Одессе — они без этого не могут.

— Деду, — спрашивал Наумчик про каждый нестандартный дом, — это Кремль? А это уже Кремль?

— Слепец! — кричал Арон и бурно взмахивал свободной рукой. — Разуй глаза! Где ты видел Кремль без звезд? Где ты видел, чтобы на Кремле сушили белье?

— А что им не сушить? — резонно отвечал Наумчик. — Постирали — вот и сушат.

Арон Цинциппер до пенсии работал снабженцем. При нем завод горя не знал с материалами, выполнял пятилетку в четыре и даже в три года. И теперь, когда зарез, когда сборка стоит неделями без работы, прилетает за Ароном директорская машина, нетерпеливо гудит за окном, и Арон Цинциппер берет свою записную книжку, едет спасать завод. Книжка у него — самодельная, прошитая суровыми нитками, листов в ней — чтоб не соврать — четыреста, и там записан весь Киев, вся Москва и весь Ленинград. Арон Цинциппер расставляет фамилии не по алфавиту, а по авторитету. Первым помечен некий Колецкий, который может все. За ним — Гурфинкель, который может почти все. Потом — Лопухов, который может то же, что и Гурфинкель, но берет дороже. А дальше — Сомов, Гнатюк, Яблуневский и прочая, прочая, прочая мелкота... Никто бы

не понял ничего в этой книжке, никто бы ничего не нашел: Арон находит сразу. Арон Цинциппер, не отходя от телефона, может сделать все. А при личной встрече — в два раза больше.

— Деду, — спрашивал Наумчик без передыху, — это площадь?

— Площадь.

— А почему она не красная?

— Байстриук! — кричал Арон и даже подпрыгивал от возмущения. — Чтоб тебе повылазило! С чего ей быть Красной, когда написано вот тут — Дровяная!

— Так-то оно так, — резонно отвечал Наумчик. — А покрасить — и будет красной.

Арон Цинциппер торопился с вокзала, волоком тащил пузатый баул. У Арона Цинциппера имеется на свете злейший враг — стервец Салимонов. Виртуоз. Гений. Король снабженцев. Стервец Салимонов достает сырье из воздуха. Стервец Салимонов перехватывает дефицит из-под рук. На нем план, на Салимонове. На нем премии. Социалистические обязательства химического комбината. Они столкнулись вчера в одном вагоне "Киев-Москва". Холодно поздоровались. Подозрительно переглянулись. "По делам?" — спросил Салимонов. "В гости", — соврал Цинциппер. И теперь Арон торопится, бежит к телефону, чтобы Салимонов его не обошел. Дело чести. Профессиональная гордость. Если не ты у него, так он у тебя. Ибо, как показал опыт, если чего-то недостает в природе, его недостает всем.

— Деду, — не унимался Наумчик, — а в Кремль евреев пускают?

— Антисемит! — кричал Арон и воздух глотал яростно. — Юдофоб! Черносотенец! Там же нету отдела кадров...

— Ну и что, — разумно возражал Наумчик. — Можно и без отдела.

Арон Цинциппер в жизни страдал от геморроя. Ему неудобно было сидеть. Ему неудобно было стоять. Лежать он мог только на боку, подогнув ноги, как зародыш. Ходить он не мог совсем, но ходил много, энергично, подскакивая через шаг от острой боли. Кроме геморроя он страдал еще от желания делать дела, которых не было. Вокруг него никто ничего не хотел, никто ничего не умел, и он томился в одиночестве, распираемый собственной предприимчивостью. В отделе снабжения он был один такой: комбинировал, пересчитывал, лез не в свои дела, сэкономил заводу деньги. Ему говорили: "Арон, ты больной. Тебе больше всех надо? Есть смета. По смете уплатим. Миллион, два миллиона — была бы подпись. Тебе что, заплатят за экономию? Ты сумасшедший, Арон". А ему — риск, азарт, упоение результатом. При деле он живой. Без дела — мертвый.

— Деду, — спрашивал на ходу Наумчик, — а Кремль на обед не закрывается?

— Закрывается?! Голова твоя закрывается! На завтрак, на обед и на ужин!

В дверях их ждал Максим. В майке, в пузырьчатых тренировочных штанах.

— Арон, — сказал без энтузиазма, — какими судьбами?

— Он еще спрашивает! А поздравить? Сорок лет — это вам не шутка. В сорок лет денег нет — не будет!

— Ой, не будет, — согласился Максим, и они поцеловались.

В комнате их ждала Люба.

— Вы его жена, — сказал Арон. — Я его родственник. Не близкий, конечно, но и не самый далекий. Ваш муж это отрицает, но я могу всегда доказать. Вы у меня записаны в книжке. На букву "Ю".

— Очень приятно, — по-светски запела Люба. — Как доехали? Где остановились?

— Доехали хорошо. Остановились у вас. Такая большая кровать — поперек все уляжемся.

И снял с себя кремовый пиджак нежнейших тонов. Под пиджаком оказались полосатые подтяжки и брюки под подбородок с ширинкой посреди груди. Галстук зашпилен булавкой, в рукава продеты золотые запонки.

— Это Наумчик, — сказал. — Мой внук. Мог бы, конечно, быть поумнее, но сделанного не исправишь. Траур по покойнику семь дней, траур по дураку — всю его жизнь.

И побежал в коридор к телефону, листая на ходу знаменитую записную книжку.

У Колецкого было занято. У Колецкого всегда занято, днем и ночью, дома и на работе. Колецкий живет так уже многие годы, прислонив ухо к телефонной трубке, будто она, эта трубка, приросла к нему навечно и стала таким же органом тела, как рука, нога или нос. Ему, Колецкому, звонят, наверно, из всех областей и союзных республик, и это не вызывало бы в Ароне особого беспокойства, но где-то рядом, в одном с ним городе, притаился стервец Салимонов, который в этот момент может сговариваться с Колецким, перехватывая для себя сырьедефицит.

Тогда он позвонил Гурфинкелю. Хуже, конечно, чем Колецкий, но подстраховаться не помешает. У Гурфинкеля тоже было занято, и Арон впал в легкую панику, лихорадочно закрутил телефон-

ный диск. То к Колецкому, то к Гурфинкелю, и наоборот... Стервец Салимонов мог сговариваться сразу с двумя, одновременно, по двум телефонам. Возможно ли такое для простого смертного? Нет, невозможно. А для Салимонова — пара пустяков.

Бросил с раздражением трубку, вернулся в комнату, встал в дверях.

— Люди, вы чего?

— Суббота, — ответил Максим. — День отдыха. Не тебе объяснять.

Он снова лежал в постели под голубым шелковым одеялом, ласково поглаживал брюхо-тыковку, и Люба привалилась к нему под бочок, прихватила намертво, глядела на мужа влюбленно и завлекательно.

— У него, — сказала, — даже на работе постельный режим. Так его ценят.

— Что я вам могу ответить? — вздохнул Арон. — Я знал всех жен вашего мужа. Я бывал на всех квартирах, где он жил. Я видел все постели, на которых он лежал. Раньше я думал так: где бы брильянт ни лежал — он брильянт. Теперь я уже сомневаюсь.

— Арон, — завопил Максим, — ты несправедлив! Такой роскошной постели у меня никогда не было.

— Постель — это да. Что да, то да. Недаром сказано: уж если вешаться, так на высоком дереве.

Люба фыркнула, спрятала голову под одеяло.

— Тронутая, — не без гордости пояснил Максим. — Больная. Сексуальный маньяк.

— Можно позавидовать, — сказал Арон и опять побежал к телефону.

У Колецкого было занято, и у Гурфинкеля было занято, но зато отозвался Лопухов и сразу начал

темнить, набивая себе цену. Сегодня он не может, завтра он не хочет, в понедельник... Вот в понедельник, с часу до двух, как раз у него обед, рядом "Арагви", потолкуем за рюмкой водки... Договорились? О-кей! "Чтоб ты захлебнулся моей водкой!" — пожелал Арон и опять позвонил Колецкому, опять Гурфинкелю, опять и опять...

И тут Арон вспомнил про внука.

— Наумчик! — побежал в комнату. — Где Наумчик?

— Деду, — отозвалось из-за шкафа. — Мы тут.

За шкафом был отгорожен крохотный закуток. В закутке стояла деревянная детская кровать с высокими решетчатыми боковинами, чтобы ребенок не вывалился во сне. В кровати лицом друг к другу сидели двое, Наумчик и Петушок, и отколупывали руками подарочный киевский торт. Наумчик даже ботинки не снял.

— Это еще чей такой?

— Я Петушок, — сказал Петушок слабеньким голоском. — Мамин и дядин.

Был он светленький, чахленький, с высоким выпуклым лобиком, круглыми глазками, узкоплечий и тонкорукый. Жевал торт медленно, старательно, вдумчиво, перемазав щеки прилипчивым кремом.

— Гой! — закричал Арон на Наумчика. — Мамзер! Не порть ребенку желудок!

И выхватил у них торт с загубленной красотой.

— Гой, — повторил Наумчик, примеряя прозвище. — Не подходит. Мамзер? Тоже не подходит.

И отщипнул кусок от торта. Петушок тоже потянулся через боковину, попросил жалобно:

— Дяденька, дай кусочек. Есть хочется.

— Какой кусочек? Какой тебе кусочек?! Обедать пора.

— Нам рано обедать. Мы еще не завтракали.

Арон всплеснул до потолка руками, выскочил из-за шкафа:

— Голодранцы! Цыгане! Время — первый час, а ребенок не завтракал!

— Чего уж теперь завтракать, — сказала Люба. — Скоро обедать.

— Так пообедайте!

— Суп надо сварить.

— Так варите!

— В магазин надо сходить. В доме пусто.

— Так сходите!

— Денег нет, — засмеялась Люба. — Ни копейки.

— Ага, — подтвердил Максим. — И не предвидятся.

— Босяки! У вас надо забрать ребенка. Забрать и накормить.

— И нас заберите, — хихикнула Люба. — Мы тоже не ели.

— Ой! — сказал Арон. — Я идиот! Мы же привезли. Мы все привезли!

Выволок на середину комнаты пузатый баул, растегнул замок-молнию, начал выкладывать на стол банки, пакеты, свертки в промасленной бумаге, эмалированный бидон, бутылки, две кастрюльки.

— Фаршированная рыба. Хрен. Утка с яблоками. Еще утка. Вареники с картошкой. Пирог с изюмом, с корицей, с маком.

— Арон! — возбудился Максим. — Как же оно поместилось?

— Как поместилось? Хорошо поместилось. Мы, евреи, умеем паковать. Это у нас наследственное. Хорошее качество не от хорошей жизни. Вы знаете, что делал еврей, когда его гнали с насиженного места? Первым делом паковал вещи.

И дальше:

— Творог с чесноком. Шкварки с луком. Фарши-

рованная шейка. Голубцы. Синенькие. Рыба в томате. Горилка с перцем — раз, горилка с перцем — два!

Настроение у Максима скакнуло кверху. Кровь забурлила. Глаза разгорелись. Вот он, подарок! Вот он, сюрприз! Всегда долгожданный, всегда неожиданный!..

— Арон, кто это сделал? Кто?!

— Бабушка Шендл, кто еще?

— Да здравствует бабушка Шендл! Да здравствует Арон Цинциппер! Пьянство-гулянство начинается!

И подбросил к потолку подушку...

День наш — пир наш!

Вкруговую, за общим столом.

Рюмки налиты, кушанья разложены.

— Мое вам почтение!

— Здрасьте.

— Арон Цинциппер.

— Зинаида Ивановна.

— Арон Цинциппер.

— Шарль Панюшкин.

— Милости прошу к нашему грошу да со своим пятаком.

Сели, огляделись, отгородились локтями.

Максим Никодимов — в костюме, при модном галстуке. Люба, жена его — в платье шелестящем, до полу. Зинаида Ивановна Деева — в синем бостонском костюме, жакетка провисает от наград. Месяе Шарль — в смокинге и тапочках на босу ногу. Арон Цинциппер — брюки до подбородка. Наумчик — его внук. Петушок — мамин и дядин.

Поднялся Максим с рюмкой горилки, сытый, вальяжный, почти стройный, с удовольствием оглядел богатый стол:

— Други мои! Милые други мои! Что мне сказать вам? — Задумался. — А вот что! Когда я веселый, мне все удается. Все-все! Природа благоухает. Женщины глядят только на меня. Такси останавливаются сами. Дела делаются мгновенно. Деньги тратятся легко. Везде всё есть. Чего нет, того мне не нужно. Походка легкая, на одном касании. Все меня любят. Я сам себя люблю.

— Я тоже, — вставила Люба и оплела под столом его ногу.

— Когда я грустный, — вздохнул Максим, — мне не удастся ничего. Никто на меня не смотрит. Никому я не интересен. Дела не делаются, деньги не тратятся. Нигде ничего нет, а то, что есть, мне не годится. Шаркаю ногами, спотыкаюсь ни на чем. Всем я противен, и себе тоже. — Помолчал секунду: — И тогда я решил: буду веселым. Пусть мне все удастся. Все-все! За удачу, други мои! Без удач — стареешь!

— За удачу! — подхватила Люба и оплела вторую его ногу.

Чокнулись, выпили, навалились на еду.

— Гость гостей не приглашает, — намекнул Арон, — но я советую начать с рыбы. Такой рыбы вы еще не ели. Такая рыба — что-то особенное. Ешьте с пониманием: бабушке Шендл будет приятно.

— Удач у меня было с довеском, — Зинаида Ивановна покосилась на провисшую жакетку, тронула рукой главную свою награду. — Вот бы мне напоследок еще одну.

— Напоследок зачем? — шумно удивился Максим. — В землю зароят — вот и весь напоследок.

Зинаида Ивановна вскинулась беспокойно, как за болячку задета:

— Зароят — ладно. Как зарывать-то будут? Зря, что ли, старалась?

— Тю... Да как хотят! Оркестра мы не наработали.

— Кто не наработал, а кто и наработал. — И зазвенела обидчиво пришипленными наградами. — Севастьянова, небось, с музыкой поволокут. Нешто я хуже?.. Не по чину зароят — им за то головы снимают. В другой раз знать будут...

— А мой папа, — невпопад брякнул Наумчик, — на батарее сидит. Я был на работе — видел.

— Папа! — подхватил Арон. — Горе, а не папа. Самое ему удовольствие: мягким задом на теплой батарее.

— Как нам платят, — обиделся Максим, — так мы и работаем. За такие деньги на батарее сидеть, и то с доплатой.

— А я, — сообщил Наумчик, — двери обивать буду. Или холодильники чинить.

— Учиться надо, — сказала Зинаида Ивановна, — диплом получать, а уж потом двери обивать.

— А зачем? — резонно удивился Наумчик. — Я за это время столько обобью... Деду, а деду? У тебя орден где?

— В шкафу, где еще?

— Отдай мне.

— Вырастешь — отдам.

— Вырасту — у меня свой будет. Ты теперь дай.

— Ну? — сказал Арон. — Временами мне хочется снять перед молодыми шляпу, а временами мне хочется ее надеть.

— Други мои! — волнением захлебнулся Максим. Сорок лет — а я еще не наелся. Не нарадовался. Не нахохотался.

— Хе, — сказал Арон. — Его еще надо радовать. Живешь — уже радость. Мертвым на зависть.

— Максим! А календарь?! Что же мы?

Максим вздохнул грустно, ухватился за об-

ложку с дедом Морозом, примирился с неизбежным...

— Мама, — тоненько позвал Петушок, — в туалет хочу.

— Что?! — горлом вскрикнул Максим.

— В туалет. По-всякому.

— Да что же это такое? — завопил в небеса. — У него на меня рефлекс!

И зашвырнул календарь за шкаф. И отвернулся надутый.

— Петушок, — всполошилась Люба, — ты потерпи, потерпи...

— Я терплю, — сказал Петушок, ерзая по стулу, — а оно не терпится.

Месье Шарль взглянул на него мимолетно, и Петушок замер вдруг, шепнул робко:

— Уже... расхотелось...

— Нет! — испугался месье Шарль. — Не должно...

И рванул себя за волосы. Кулаками ударил по груди. Затопал яростно ногами. А они молчали, не ели, глядели на него с интересом.

— Такие возможности! — застонал Арон, ни с чего вроде. — Когда кругом такие возможности! Всю жизнь я делал дела, на которых наживались другие. В моих руках — сырье. Дефицит. Золотое дно. Можно разбогатеть в две минуты. Что захочу, то куплю. Дом! Машину! Меха-брильянты! А зачем мне? Я, слава Богу, на пенсии, дети работают. Лучше спокойно есть свой борщ. С чесночными пампушками.

— Мне тоже не надо, — сказал Максим. — У меня Петушок в доме — зарабатывающий ребенок. Шестьдесят рублей алиментов. Папочка выкладывает.

— Он скоро докторскую защитит, — прибавила Люба. — Еще больше получать будем.

— А у меня, — сказала Зинаида Ивановна неспо-

пад, — взысканиев не было. С доски почета не слазила. Подарками задаривали: вон комната битком. А все неладно... Поздно плясать, как стали гроб тесать.

Встала из-за стола обеспокоенная, пошла в коридор, перекладываясь с ноги на ногу, набрала памятный номер. А голову кружит от горилки, и теплота изнутри — шалью пуховой.

— Алло, — детский голосок. — Алло-алло.

— Позови папу, — расхрабрилась спьяна. — Папу своего позови.

Тишина. Дыхание легкое. Сопение в ухо.

— Папы нету... Он с нами не живет.

— Как это — не живет? — не поняла Зинаида Ивановна. — А где ж он?

— У другой тети...

— Да я утром звонила. Был тут.

Опять тишина. Вздохи. Пыхтение.

— То не папа... То дедушка.

— Ох, дура старая! Дедушка, ясно, дедушка. А он где?

— Дедушка на работе. Хоронить поехал.

Зинаида Ивановна повесила трубку, вздохнула успокоенно. Стало быть, тут он, мужичок-протертые штаны, при прежнем деле: автобус, венки, оркестр, речи под бумажку. Глядишь, и о ней озаботится в нужный момент, под окном заявится на автобусе, гугукнет весело: "Не бойсь, Зинаида Иванна! Поехали!" Воротилась в комнату, а там хохот, веселье шумное. Люба вертится вокруг стола, платье свое показывает. Длинное. До полу. С разрезом на интересном месте.

— Ну? — кричит Максим, и настроение у него отличное. — Как она у меня?

— У стариков не спрашивай вкуса, — говорит

Арон. — Одно не ясно: куда в таком платье можно выйти? Вас же продует через разрез.

— На свадьбу. У нас свадьба скоро. Маринку замуж отдаем. Дочку мою любимую!

— У меня, — сказал Арон по поводу, — было две невесты. Красавицы! Чистые души! За одной давали стакан брильянтов, чтобы я женился. За другой давали стакан брильянтов, чтобы я отказался. Я подумал: тут стакан, и там стакан, Арон, ты не в накладе. Первая невеста говорит: "Арон! Я за чистую любовь. Или я или стакан. Я хочу быть уверена, что ты женишься не на брильянтах". Вторая невеста говорит: "Арон, не продешеви. Если не можешь взять все, возьми хоть брильянты. Я потом сама приду". Я подумал: зачем мне первая невеста без брильянтов? Я подумал: зачем мне брильянты без второй невесты? И я взял вторую — голую, босую, без ничего. А потом мы носили передачи ее папочке. Брильянты все равно отобрали, а невеста осталась.

— Я, — сказал Максим, — тебя понимаю. Я тоже за чистую любовь. Ах, Тоня, Тоня! Ах, теща Вера!

— На свадьбу-то на мою, — развздохалась Зинаида Ивановна, — пива наварили, двоевара по-нашему... Мать моя ревет, а мне, дуре, радость, старикам на осуждение. Положено-то слезы лить...

И затянула тонко и протяжно, с проклюнувшимся говорком:

— Вон идет погубитель мой, вон идет разоритель мой, вон идет расплетай косу, вон идет потеряй красу...

— Зинаида Иванна, нам бы повеселее.

— Можно и повеселее. Поднесешь винца — прибавит уму у молодца!..

День наш — пир наш!..

— А хозяин в дому, что Адам в раю, винограды красно-зеленые. А хозяйка в дому, что оладья на меду. Малы детушки, что олябышки...

Зинаида Ивановна распелась — не остановишь. Есть-пить позабыла.

— Берите утку, — сказал Арон. — Такой утки вы еще не ели. У бабушки Шендл — особое блюдо.

— Утку! — закричал Максим, как из проруби выскочил. Подхватил ногу утиную, мясистую, всю в жирных слезах, завалил к себе на тарелку. — Люба! Гости! Что же вы?

— А хозяйка в дому, — сказала Люба со значением, — как оладья на меду... Максим, гони их: время теряем!

Но он ее не слушал. Встал с рюмкой горилки, сказал уверенно, с напором, будто вызов кому-то:

— Сорок лет — это еще не вечер. Да, да! Чувства не притупились. Желания не умерли. Аппетит к жизни отменный. Мы еще поживем!

— Поживем! — подхватила Люба. — Мы с тобой долго жить будем. Это я сделаю.

— За жизнь, други мои! За жизнь!

Он выпил. Люба выпила.

— Лехаим, — сказал Арон и тоже выпил. — Должен вас предупредить, что засиживаться я не намерен. Кто мне поручится, что дальше будет лучше? Нет, нет, рисковать я не могу. Я уйду, а там как хотите.

Месье Шарль, потупясь, протянул руку над тарелками, потащил из коробки очередной кусок торта.

— Возьмите хрен, — сказал Арон. — Творог с чесноком. Синенькие. Сегодня суббота, у скорой помощи и без вас много хлопот.

А Зинаида Ивановна — вся в беспокойстве:

— ... наработала, слава Те, Господи, заслужила честно. С оркестром, с венками, с речью. Чтоб урелись все, слезой изошли...

— А ты где награды прячешь? — спросил Максим.

— Где? Нигде.

— Да знаю я... Смотри, Зинаида Ивановна, самовар старый, ценный, его первым уволочут. Чего на подушках понесем?

— Ври! — колыхнулась. — Мятый он, нечищенный, в зелени...

— Ну? На такие теперь самый спрос. Перекладывай давай в другое место.

— Вот, — предложил Арон, — я расскажу вам по случаю. В местечке жил раввин. Умница. Красавец. Что-то особенное. И стал он потихоньку умирать. "Ребе, — говорят ученики, — где вас, ребе, похоронить?" "А! — отвечает. — Не морочьте мне голову. Бросьте меня на помойку — и дело с концом". "Ребе, — говорят ученики, — там же собаки. Они вас разорвут, ребе!" "Собаки? Ну и что собаки? Положите возле меня палку. Я их буду отгонять". "Ой, ребе, — говорят ученики, — так вы же не почувствуете, как они будут вас рвать. Вы же ничего не почувствуете!!" "Не почувствую? Бросьте меня на помойку..." Вы, товарищ, поняли смысл?

— Я поняла, — сказала Зинаида Ивановна. — Можно их в подушку зашить. Или в матрац.

— Берите утку, — вздохнул Арон. — Берите, пока горячая. Когда остынет, она будет иметь ваш вид и мой вкус.

И снова побежал к телефону:

— Господи! Когда кругом такие возможности! Вчера в уме проиграл комбинацию: сорок тысяч в кармане!

— Прекрати! — вдогон заорал Максим. — Чего ты дразнишься?

— В уме — это можно. В уме — ненаказуемо.

У Колецкого было занято, зато у Гурфинкеля — свободно. Гурфинкель — человек дела. Он темнить не будет. Что надо? В каком количестве? Черный металл есть, цветного — нет. И не будет. За черным в понедельник, в десять сорок. Без опозданий. Условия те же. Нет, я не пью. И острого не ем. Будьте здоровы. "Голова! — восхитился Арон. — Американец!" Позвонил Колецкому — занято. Занято и занято... Одно из двух: стервец Салимонов привез большой заказ.

А в комнате затишье. В комнате не едят — слушают. И Максим с Любой. И Наумчик с Петушком. И месье Шарль над недоеденным тортом.

— Да что это за пташечка в садике поет? Что это залетная причеты дает? Первый братец говорит: "Пойду, погляжу". Да другой братец говорит: "Ружье заряджу". Третий братец говорит: "Пойду да убью". Застрелили пташечку в зеленом саду, да серую кукушечку — милую сестру...

— Вот вы мне объясните, — влез без стеснения Арон. — У нас все планируется?

— Все, — сказал Максим.

— Все увязывается?

— Все, — сказала Люба.

— Все сходится?

— Когда я в референтах ходила, — Зинаида Ивановна, с удовольствием, — у меня все сходилось.

— Так зачем же я тогда нужен? — закричал Арон. — Зачем машина за мной приезжает? Без меня завод стоит. Без Салимонова комбинат закрывается. Я вас спрашиваю: в чем дело? Куда идем? Куда заворачиваем?! Кто, в конце концов, пятилетки делает? Когда все сосчитано, все и должно быть!

— А все и есть, — сказал Максим. — Только найти трудно.

И захохотал бурно. И Люба захихикала следом. Заколотили по столу руками, затопали ногами в бурном веселии. Месье Шарль глядел на них исподлобья, с испугом подмечал странности, будто все му виной — его разладившаяся воля. Было ему тошно, знобко и муторно. Было ему страшно до паники. Где-то там, в печенках, подхохатывал неугомонный Степа Панюшкин, потирал с наслаждением ручонки, ждал подлой своей минуты.

— Чем я вас утешу? — Арон — Зинаиде Ивановне. — Сколько нас тут? Не раз, не два, не три... Семь человек, — а кто накормил? Бабушка Шендл. Выкормила за жизнь одиннадцать детей, с полсотни внуков, правнуков без счета, друзей, гостей, случайных людей...

— Ур-ра! — Максим. — Памятник ей за это! И отдельно — за утку!

— Памятник мы ей поставим. Срок для памятника не подошел. А вот пенсии у нее нету. Считается, что не работала. Вы это понимаете?

— Это я понимаю, — сказала Зинаида Ивановна. — Дом вести — не бородой трясти. Она у тебя не работала, а я заслужила достаточно. Дай Бог всякому.

— А я зато, — отозвался Наумчик, — умею не делать чудеса.

— Да, да, — подтвердил Арон. — Это он умеет. Что умеет, то умеет. Этот ребенок — позор нации.

— Просим. Просим!

Наумчик слез со стула, подошел к окну, взглянул на безоблачное небо и сказал таинственно:

— Раз-два-три... Пусть сейчас не пойдет дождь!

Дождь не пошел.

— Гениально, — сказал Максим. — Валяй еще.

Наумчик оглядел комнату, увидел приемник на столе, взялся за выключатель:

— Раз, два, три... Пусть по радио обо мне ничего не скажут!

По радио пели песню.

— Непостижимо, — сказал Максим. — А ну-ка я! Раз, два, три... Пусть с этого стола ничего не исчезнет!

Ничего не исчезло.

— Слушайте! — возбудился. — Это же открытие! Переворот! Революция в сознании масс! С этим уже можно жить. Раз, два, три... Пусть я сейчас не заплачу!

И захохотал, ухватился руками за разбушевавшееся брюхо-тыковку:

— Какая жизнь нынче наступит! Волшебная! Полная чудес! Наум, мы еще будем носить тебя на портретах!..

— А я, — сказал Петушок слабым голосом, — лошадь хочу. Маленького жеребеночка. Его можно в гараже держать и хлебом кормить.

— У нас нет гаража.

— А мы построим...

А Зинаида Ивановна на это:

— ... ох, темнешенько! Жить тошнешенько! Плетка свистнула — слезка брызнула...

День наш — пир наш...

— ... встану благословясь, выйду перекрестясь, из ворот в ворота, во чистое поле, в восточную сторону. В восточной стороне стоит золотой столб, в золотом столбе золотая баня, в золотой бане золотой стул. В золотом стуле сидит золотая баба и держит золотой веничек, шелкову шириночку. Веничком попарит, шириночкой помажет чес, вороб, всякую болезнь. Во веки веков. Аминь.

Зинаида Ивановна разошлась — не остановишь.

Глазками блистает, щечками пышет, маленькая головка на шее вертится, каждого оглядывает.

— Этому название — банный сбрызг. Матушка моя сколько знала, — вся деревня к ей бегала. От грыжи, от горловой, кровь остановить. Да заговоры, да привороты, да от лихого человека, от неправедных судей, на подход к властям. Все-то она умела, нынче уж и нету таких... Век повеку отныне и довеку — будьте мои слова крепки и лепки и назад не отпадки...

А вокруг — никто не слушает, каждый при своих делах.

— Ты кто? — кричит Наумчик. — Кто ты?!

— Я Петушок.

— Русский Петушок или еврейский?

— Я не знаю.

— Раз не знаешь — значит, русский.

— Он у нас пополам. Наполовину русский, наполовину украинец.

— А я зато — полный еврей. Деду, я полный?

— Ой, это такая история! Переселили нас в новый дом. Дом — город. Миллион квартир. Выхожу во двор — нету евреев. Все есть — евреев нет. Кто в домино, кто на троих, кто что, а я — один. С кем же я говорить буду?.. Тут потянуло магнитом. Через весь двор, в дальний подъезд. Стоит человек в дверях, на меня целится. Хлеб и мышцы — кто кого ищет? Сошлись, снюхались: все в порядке... Нужен он мне? Да ни Боже мой! Нужен я ему? Еще меньше. Я снабженец, он математик. А сойдемся — водой не разлить. Так надо же: не сказал, не посоветовался — уехал в Израиль! Я за равноправие народов, я тоже за интернационал, но оставьте мне хоть одного еврея. Пока мы не слились в одну семью, — хотя бы одного...

— Максим, а Максим, подсказывай давай. Куда

мне награды девать, грамоты-вырезки? Помру — кому они?

— А на выставку. Музей сделаем. Комната-мемориал З. И. Деевой.

— А можно?

— Чего ж нельзя? Я хранителем.

— А я, — Люба, — уборщицей. Пыль стряхивать, билеты продавать.

— Так бы я — согласная...

И споткнулась о зрочки глубинные. Осеклась под взглядом упорным. Зависла на месте без тяжести. А голос уже не свой — казенный, как по-писаному, будто выступает она с привычной трибуны, по привычному случаю:

— А еще хочу я поблагодарить весь коллектив, общественные организации, партком, профком и дирекцию за высокую мою награду. Заверяю вас, товарищи, что не пожалею сил, времени и здоровья...

— Прекратить! — закричал месье Шарль и даже ногой притопнул. — Я что вам велел? Исполняйте немедленно!..

И испугался тут же. Глазами заюлил. Руками замахал перед собой.

— Шумно мне... Душно...

— Душно ему... Весь торт умолот — будет тебе душно.

— Ты шути-шути, да не очень... За такие шутки к ответу притянут. Это уж тебе анти... анти...

— Максим, плясать давай!

— Отстань.

— Максим, песни петь!

— Скууушно...

— Счетчик, Максим?!

— Счетчик?..

— Счетчик. Давно не глядели.

— Чего ж ты молчала?!

Вскочил, роняя стулья, побежал на лестницу. На щите у двери глядели в стеклянные окошки четыре счетчика, по числу квартир на площадке, колесики внутри крутились едва заметно. Взглянул на цифры, охнул — бегом в комнату.

— Достаем! Достаем третью квартиру!

Включил свет под потолком, включил абажурчики у кровати. Вытащил из-за шкафа обогреватель, утюг, пылесос — все включил.

— Плитка где? Вынимай давай!

Под вой пылесоса Люба скакнула на стул, потащила со шкафа обросшую пылью электрическую плитку.

— Скорее! — Максим в лихорадке. — Обходим гадов!

Включил плитку — и обратно на лестницу. Колесико в их счетчике закрутилось стремительно, красные цифры поползли заметно.

— Еще давай, еще!

— Да все уж. Нету больше.

— Нету?! — в ярости. — Когда надо, ничего у тебя нету! А телевизор? Электробритва? Втыкаай!!..

— Максим, — пришла Зинаида Ивановна, — а кто платить будет? Ты нам нажжешь — денег не хватит.

— Я... За всех заплачу... За весь месяц!

— Деду, — пришел Наумчик, — а деду. У них на кухне стиральная машина. Можно включить.

— Гайдамак! Архаровец! Тебя не спросили!

— Гайдамак... — примерил Наумчик. — Не подходит.

— Стиральную! — завопил Максим. — Любааа!..

Телевизор орал. Пылесос ревел. Стиральная машина гудела. На счетчике поползла черная цифра.

— Что это? — кричал месье Шарль. — Это гипноз или не гипноз? Кто мне ответит?..

— Никто, — сказал Арон. — Жизнь пошла такая запутанная, что не угадаешь: под гипнозом или просто так.

Что-то щелкнуло на щите, и гул из квартиры угас, замирая.

— Пробки, — в тишине сказала Люба. — Надо было ожидать. Пошли к столу.

Но Максим уже пятился от месье Шарля. От глаз его. От бездонной пропасти. И дверь в квартиру была окном в трясину.

— Нет, — сказал тихо. — Туда я не пойду. Ни за что.

Оглядел всех затравленно, отступил к стене:

— Отдайте мой чемодан. Я уйду.

— Он шутит, — заверещала Люба. — Выпил и шутит...

— Отдайте мой чемодан. Больше я ничего не прошу.

— Куда ж ты пойдешь? — сказала Зинаида Ивановна. — Когда ты тут прописан.

— Уйду, — упрямо. — На вокзал. Нет, к другу. Нет, к теще Вере. Она меня примет.

— Макси-им... — Люба лила слезы непрерывными струйками. — И я с тобой... Я тоже...

— Есть предложение, — сказал Арон. — Пошли лучше на улицу. Гулять будем.

Максим долго глядел на него, обмякая, сказал потом со слабым интересом:

— Еду можно с собой... Горилку... Рюмки с вилками...

И первым кинулся в комнату. К столу. Рыбу — в кастрюльку. Утку — в другую. Синенькие — в банку. Пироги — в пакет. Вилки, стопки, горилку...

— Арон, ты со мной!

— А я? — Люба.

— И ты.

— А я? — Наумчик.

— Тебе — дом сторожить. С Петушком. Зинаида Иванна, собирайся!

Зинаиду Ивановну как в грудь толкнуло. Током прошибло. Вспомнила Зинаида Ивановна, как с мужем по бараку закатывались, из клетушки в клетушку: тут выпьют, там споют, здесь каблуки отобьют.

— Гармонь... — задохнулась. — С собой!

— Бери! — Максим был опять щедрый, веселый, довольный собой. — Что хошь бери, только живо! — Подхватил календарь, выдохнул, спросил подозрительно: — Петушок, ты в туалете был?

— Был, — сказал Петушок.

— Еще хочешь?

— Не...

— Точно?

— Точно.

— Люба, давай!

— Новый год! Максима! Никодимова! Объявляется! Открытым!!

Замер на секунду, зажмурился, рванул обложку...

— Все! Разменяли десяточек. В загул, други мои, в загул!

— Эх! — сказала Зинаида Ивановна. — Экая напасть — некуда упасть!

Растянула мехи от плеча до плеча, набрала в грудь воздуху, закричала пронзительно:

— На горе-то колокольня, под горою кустик. Сядет милка на колени, никого не пустит...

Загул начался!

На них глядела вся улица.

Ребятишки со двора бежали следом.

Взрослые вставали в веселом недоумении.

Старики со старухами плевались яростно.

Какой-то малый в стареньком "Запорожце" пристроился рядом, подбибикивал в такт автомобильным гудком.

— ... попросила решето — подали лукошко. Силой милый целовал с улицы в окошко...

Впереди — Максим с пузатым баулом. Высокий, красивый, почти стройный. Глаза нараспашку, улыбка до уха, ногами отмахивает с удовольствием. Счастьем упоенный, радостью захваченный. Вперед, други мои! Вперед, к первому же углу! На то и углы понастроили, чтобы нежданно-негаданно — сюрприз за сюрпризом.

Под руку с ним — Люба, жена его, в платье длинном, шелестящем, с разрезом на интересном месте. Прилепилась к мужу, взглядывает с обожанием, руками привычно шарит по телу.

За ними — Зинаида Ивановна Деева, герой-орденоносец: жакетка провисает от наград. Переваливается с ноги на ногу, гармонь растягивает на одну сторону, спотыкается на западающей клавише. Глаза прикрыты, грудь тоской теснит, песня сама выпевается. Где она теперь, Зинаида Ивановна? В каких временах? По какому шагает бараку, из клетушки в клетушку?

Рядом — Арон Цинциппер, щеголь, в кремовой чесуче и белых туфлях. Бурно жестикулирует. Грозит в пространство пальцем. Шепчет предостерегающе. Подпрыгивает через шаг от застарелого гемороля. Заботы, вечные заботы морщат старый лоб, беспокойством заслоняют глаза. Когда все вокруг

такие беззаботные, кто-то должен за них беспокоиться? Должен или не должен, я вас спрашиваю?

Позади всех — месье Шарль, великий гипнотизер, в смокинге с бабочкой, в цилиндре, в тапочках на босу ногу. Пуганый, затравленный, в вечном ожидании неминуемого нападения изнутри и снаружи. А нервы — струны в руках безжалостного музыканта. А мысли — рой потревоженный, бестолковый. И сладость в горле до едкой горечи от приконченного в одиночку киевского торта.

— ... у нас дома стали ловки — меня держат на веревке. На веревке, на гужу, перекушу да убежу...

Ребятишки вокруг верещат пронзительно, взрослые хохочут, малый из "Запорожца" гудит что есть мочи.

— Тихо! — встал месье Шарль. — Я запрещаю!

И — грозно на них. Страшно. Зрачками жуткими. Волей своей, силой, духом сверхъестественным. Городу, людям, домам и машинам! Степа Панюшкин пискнул изнутри, смятый и порушенный.

— Всем — стоять!

А они — с разинутыми ртами. Им — развлечение. Спектакль бесплатный. Крики, визги, свист пронзительный. Бегут, едут, шевелятся — обступают! Заметался, начал хватать за руки, отталкивать, переставлять — старый, смешной, задыхающийся старик в смокинге, в раздавленных тапочках.

— Вы! Слышите?! Всем — замереть! Глаза закрыть — всем!..

— Папаня! — заорал малый из "Запорожца". — Сбцаем, папаня?

И сыграл на гудке плясовую.

Воротился Арон, обнял маэстро за плечи, а тот не идет. Дрожь по телу крупная, глаза замученные, рот искривлен страданием.

— Их надо усыпить... Навсегда... Другого пути нет...

— Заткните уши, — предложил Арон. — Вот вата.

Скатал мелкие шарики, сунул ему в уши, и месье Шарль замер вдруг, склонив голову. Толпа стояла вокруг, глядела на него с интересом. Слабая улыбка скользнула по искривленным губам. У глаз распустились морщины.

— Тише... — сказал. — Слышно, но тише...

Выхватил из рук вату, скатал еще по шарик, захихнул поплотнее, вздохнул от непролитых слез.

— Премного... вам благодарен...

Толпа расступилась нехотя, обманутая в ожиданиях. Крикнули, свистнули, взвизгнули вослед.

— Я их не слышу, — счастливо улыбался месье Шарль. — Бог мой, я никого опять не слышу!

— ... я рябинушку ломала, веточку оставила. Лишь разок поцеловала — тосковать заставила...

Максим шел ходко, не оборачиваясь, круто сворачивал за нужные углы. Голова чистая, легкая, проветренная, ноги сами несли в верную сторону, на заветное место, куда надо было и куда стоило идти. Улицы вокруг знакомые, не раз хоженные, не два виденные, и удовольствие от быстрого шага — непомерное, радость бурлящая, жизнь наполненная. Отметят в будущем этот путь памятными досками, особыми знаками, шрифтом по мрамору: "По этому тротуару проходил Максим Никодимов", "На этот дом глядел с удовольствием Максим Никодимов", "Это дерево тронул рукой сам Максим Никодимов"... На кирпиче, на заборе, на людях, которых знал: "Эту руку пожал Максим Никодимов". И на женщинах, с которыми гулял: "Эти губы целовал Максим Никодимов". И на Тоне-тихоне: "Это она, подлая, бросила Максима Никодимова". И на теще Вере: "Лучшая из тещ Максима Никодимова". Да и

на нем самом, пока жив, чтобы глядели, узнавали, охали: "Это тело принадлежит самому Максиму Никодимову!"...

— Максим, — ныла Люба. — Больно быстро...

И на Любе: "Постылая жена Максима Никодимова"...

— Максим! — Арон издалека. — Нас обожди.

И на Ароне: "Почти родственник Максима Никодимова"...

И на месье Шарле: "Личный гипнотизер Максима Никодимова"...

И на Зинаиде Ивановне: "Гармонист-орденоносец при Максиме Никодимове"...

— ... ты, милашечка моя, какая ты бедовая, с головы до самых ног сладкая, медовая...

Шел навстречу жирный парень-дебил, держал в руке огрызок газеты с кроссвордом, глядел в него озабоченно. Протертые штаны от школьной формы топорщились на выпяченном заду. Грудь под прозрачной тенниской провисала складками. Из прованной сандалиии торчал наружу большой палец с нарощим черным ногтем. Лицо рыхлое, лоб низкий, губа отвислая, глазки мелкие, поросячьи, вплотную к переносице.

— Цель жизни, — сказал Максиму. — Девять букв по вертикали.

— Обжорство, — ответил тот, не задумываясь.

— Не подходит, — сказал парень. — Вторая буква — О, шестая — Н.

Подошли остальные, встали в кружок, уставились на него. Арон — озабоченно, Зинаида Ивановна — растревоженная, месье Шарль — невозмутимо спокойный, с ключьями ваты из ушей.

— Цель жизни, — спросил дебил. — Девять букв по вертикали.

— Дети, — быстро сказал Арон. — Внуки.

— Дети-внуки, — сосчитал тот. — Шестая буква сходится, вторая — нет.

— Ладно, парень, не задерживай нас.

— А вы куда?

— А мы никуда.

— Я с вами.

— ... помалу ем, помалу пью, помалу темны ночки сплю. Не скрываю ночью глаз, всё, милый, думаю про вас...

— Стоп! — сказал Арон. — Мне сюда.

Стоял у витрины магазина охотничьим псом на стойке, возбужденно принюхивался к выставленному товару:

— Возможности! Когда кругом такие возможности!..

И нырнул в дверь. И скрылся за стойкой с развешенной одеждой.

Максим пошел следом, углядел двух молоденьких продавщиц за прилавком, взгромоздил на него свой баул.

— А ну, девочки, выпьем того-этого!

— Чего этого?

— Того самого. От чего куры дохнут...

Девочки хихикали в ладошки, глядели сквозь наманикюренные пальчики, как Максим выставлял на прилавок банки, кастрюльки, вилки со стопками, разливал из бутылок горилку.

— Предлагаю выпить за замечательного человека, несравненного красавца, редкого семьянина с нежной, отзывчивой, легкоранимой душой.

— Это за кого же? — спросила та, что посмелее.

— Это за меня, девочки. В сорок лет ума нет — не будет. Прошу взять бокалы.

— Нам нельзя пить. Мы на работе.

— Что значит — нельзя? Исключительный случай. Где ваш директор? Я с ним договорюсь.

— Наш директор, — та, что поскромнее, — сразу милицию позовет.

— Пусть позовет. Они тоже выпьют.

Вынырнул из-за стоек Арон, красный и взлохмаченный, в руках — замшевое пальто, крикнул, давась в спешке словами:

— Почему... продавец... Такое дешевое?..

— Уцененный товар. Фабричный брак.

— Я беру... Выпишите!

— Оно вам не подойдет. Оно еще никому не подходило. Один рукав короче другого.

— В са...самый раз! О таком только и мечтал: один рукав короче другого... Как раз для меня!

— Арон, ты что, спятил?

Тот подхватил его под руку, потащил к кассе, зашептал на ходу:

— Замша! Уцененная! Дешевка! Приезжаю в Киев, продаю кепочникам. На фуражки. Недаром сказано: у мудреца глаза впереди. Ты понял? Теперь модно — фуражки из замши. Мода есть — замши нет!

— А зачем тебе это?

— Сумасшедший! Делаю гешефт! Три рубля, пять!

— Арон, это спекуляция.

— Это не спекуляция, а плата за знания.

Выбил чек в кассе, потащил Максима обратно:

— Ты думаешь, мне это надо? Ничего мне не надо. Пятерка — фуй! Дела хочу делать. Энергию некуда девать. Рискну, заработаю рубль — чувствую себя человеком. Главное, я еще могу! У меня получается! Ни у кого вокруг не получается, у меня у одного!.. — Взял сверток, прижал к груди, сказал, ос-

тывая: — Такие возможности! Когда кругом такие возможности...

— Выпьем, девочки! Не за меня, так за покупку.

— Я выпью, — та, что посмелее. — Год пальто висело. Это надо же! Нашелся человек: один рукав короче другого.

Опрокинула, чмокнула, выдохнула через трубочку губ винную крепость.

— Закусите. Еда — первый класс.

— Нам нельзя закусывать, — засмеялась. — Мы на работе.

Максим оглядел ее с интересом, сказал, примериваясь:

— Я к вам еще зайду.

— Заходите. С десяти до семи, кроме понедельника.

— Я после семи зайду.

— После семи мы не продаем.

— А если попросить?

И перехлестнулись глазами...

Ворвалась в магазин Люба, закричала с порога:

— Максим! Скорее!..

Выскочили на улицу, побежали к соседней витрине, прильнули к стеклу. Там, за стеллажами с продуктами, прятался в углу месье Шарль, великий маэстро, жадно заглатывал халву, чавкал, давился от сухости, торопливо откусывал от брикета кусок за куском. Жирные крошки сыпались на великолепный смокинг, рот залипал в омерзительной сладости, шныристые глаза блудливо метались по сторонам. Свободная рука яростно рвала волосы, била по щекам, щипалась, рвала кожу, но вырвался наружу Степа Панюшкин, обезумевший от сладкого, и справиться с ним не было возможности.

Уже кричала кассирша, редкие покупатели вер-

тели головами, а он — голодным псом над сворованным мясом — спешил заглотать, пока не отняли.

— Счас плюну... — грозился. — Счас-счас... Все продукты оплую...

— Я заплачу, — закричал Максим, врываясь в магазин. — Пусть ест!

Но уже выходил из глубин помещения квадратный мужчина в засаленном халате, — лицо красное, ноги короткие, плечи шириной со шкаф, — подошел враскачку, как тюлень на ластах, взял Степу за талию, поднял пушинкой, и молча, спокойно, вперевалку понес стоймя в глубь магазина. Тот и не сопротивлялся даже, только глаза прикрыл в ужасе, да доглатывал торопливо недоеденные остатки.

— Я заплачу... — прыгал вокруг Максим. — Отпусти его!

— Жди, — сказала кассирша. — У нас таких едоков — по пять на день.

Мужчина ушел. Дверь захлопнулась. Степы как не было.

— А что он с ним будет делать? — боязливо спросила Люба.

— А он с ним все будет делать, — сурово ответила кассирша.

— Цель жизни, — сунулся к ней дебил. — Девять букв по вертикали.

— Чтоб вы все провалились! — пожелала от всей души.

Просчитал клеточки в кроссворде, сказал с сожалением:

— Не подходит.

И они пошли дальше...

— ... светит месяц над рекой, над самой серединочкой. Неужели оставляешь навеки сиротиночкой?..

— Мне бы, — разохотился Арон, — дело свое... Крохотное, но свое. Сам себе директор, сам бухгалтер, сам плановик. Ой, я бы так работал! Я бы все планы зараз выполнил! Не верите? Давайте попробуем. Ой, так они же боятся пробовать! Им пробовать — нож острый! Я вам так скажу: жалок город, в котором и врач больной...

— А мне бы, — отозвался debil, — кроссворд отгадать. В газету пошлю. Фамилию напечатают. Цель жизни. Девять букв по вертикали.

А шли они уже аллеей лиственной, вдоль стены монастырской, с башнями, с бойницами, с ненужными ныне устрашениями для врагов, и на дорожке валялись ветки с мелкими шишечками, и голуби неспеша отходили в сторону, и небо голубело в вышине, над крестами куполов, а кирпичи в стене были теплые на вид и шероховатые.

Выходил из боковых ворот отставной мужчина в кителе и без погон, утягивал на цепи широкогрудого боксера в наморднике. Похожи они были — близнецы-братья. И лицо у мужчины квадратное, рубленное, с выпирающей челюстью, с провисающими складками щек, с расплюснутым носом, с поблескивающим железным зубом под вздернутой губой.

— Слушайте! — разлетелся Максим. — Щекотливый вопрос. Есть у собаки душа?

— Души ни у кого нет, — ответил мужчина с полным к себе уважением.

Максим оторопел:

— А что же тогда есть?

— Рефлексы. Условные и безусловные.

— Рефлексы? И все?! Это когда позвонили в звонок — и слюна потекла? Да? Да за ради этого не то что человек — собака жить не станет.

— Максим, — засуматошилась Люба, — ты не переживай! Есть у собаки душа, есть... Еще какая!

— Так если у нее есть душа, — сказал, — как же он ей на душу намордник-то надевает?!

Тут подскочил дебильный парень, сунул под нос огрызок газеты:

— Цель жизни. Девять букв по вертикали.

— Вот я милицию позову, — вконец обиделся отставной мужчина. — Вытрезвителя захотели?

— Ну и цель у вас, — сказал Арон. — Не позавидуешь...

И они прошли в ворота.

Город исчез сразу. С людьми, с машинами, с гулом неумолчным. Они входили в тишину, как в густой туман, и покой окутывал негой и прохладой, нежно остужал обожженные нервы. Летала над кустами крапчатая бабочка, дремала на скамейке угревшаяся старушка, и никого вокруг больше не было. Иной мир, иная жизнь, иные, неиспробованные, ощущения. И вот уже ясно тебе, что этого ты хотел, об этом мечтал, этим упокоишь ноющее сердце свое.

— Все, — сказал Максим. — И не уговаривайте. Остаюсь тут.

И уже заваливался спиной на жухлую траву, замирал в оцепенении, раскинув руки... Собор высился перед ним приземисто и устремленно, глядел через стену уверенно, с вызовом, из-под надвинутых куполов-шлемов, будто твердо встал на его, Максима, защиту и не отдаст, не продаст, не позволит обидеть. Эй, вы, там, за стенами! Живите как знаете, ловчите как умеете, делайте без оглядки важные дела свои. Мы выроем под стенами бездонный ров, мы напустим туда воды, мы взгромоздим наверх тяжеленные камни, кипящую смолу в чанах, пищали и самострелы. Мы заготовим провизии на

многие годы, вскопаем землю под огороды, пробьемся к подземным водам. Мы продержимся. Вот увидите, мы продержимся! Нам многого не надо. Нам от вас ничего не надо. Будем думать, гулять, беседовать, покойно глядеть на купола. Пусть это будет заповедник. Заповедник неприспособившихся душ. Откупитесь от нас малой территорией, забудьте о нашем существовании, сотрите из памяти. Пусть нас прикроет снаружи непроходимый лес, непролазные топи, свирепые звери. Нет нас среди вас. Нет и никогда не было! И не пробуйте нас отговаривать. Не пытайтесь включить насильно в свой трудовой процесс. Мы будем сопротивляться. Кулаками, ногтями, зубами. За нас стены многометровые, за нас купола неохватные, мертвые встанут за нас из монастырских могил. А если вы совладеете с нами, если сунете рыла свои в пробитые бреши, мы усядемся на пороховые бочки, мы подожжем фитили, и души наши улетят в другие миры, в недосягаемые для вас заповедники...

— Эй! — закричал Арон. — Я нашел!

Максим встал на ноги, покрутил головой, прогоня травяной дурман, нехотя пошел к собору, спустился на пару ступенек под низкий свод. В изголовье белого саркофага была вытесана в камне выемка-площадка. Под ней — надпись: "Сия лампада теплится должна неугасимо и безыпрерывно на что определена сумма".

— Боже мой! — сказал. — Где сумма? Где та лампада? Беспрерывная и неугасимая... Они уже тут! Они прорвались через стены!..

И побрел прочь, отпихивая руками невидимые препятствия. Потом быстрее. Потом побежал. И скрылся за воротами.

Они стояли кучкой, глядели вслед, молча ждали

продолжения. И вот он уже появился снова, прибежал, запыхавшись, в руке — свеча.

— У сторожа, — сказал. — Вымолил...

Зажег, покапал воском в выемке на камне, поставил плотно.

— Сия лампада, — прочитал с волнением, — теплиться должна неугасимо... Вот она и теплится.

Постояли, поглядели, как шевелится на сквознячке невидный почти язычок, повздыхали дружно.

— Большая свеча, — сказала Люба.

— Долго будет гореть, — сказал Арон.

— Я завтра другую принесу, — сказал дебил.

А Максим промолчал.

И Зинаида Ивановна тоже...

— ... вспомни-ка, миленочек, стояли до потемочек. У белья березыньки из глаз катились слезыньки...

Шел стремительно из глубин территории, где кресты понатыканы, часовни понаставлены, ограды понастроены, разгневанный толстяк в костюме и при шляпе, лицо — вздутое на дрожжах тесто, кидал через плечо злым шепотом поспешавшему за ним человечку, а позади малой группой отставала на смерть перепуганная мелкая шушера. И костюмы сидели на них преотлично, и шляпы, и галстуки модные, и вид ответственный, почти что значительный, а опытному глазу сразу видно: шушера.

— Все, — слышно стало вблизи. — Подавай на пенсию.

— Товарищ Севастьянов... — шелестел тот. — Скольких перехоронил — первый случай...

— Потому и подавай, чтобы второго не было.

Прошел за ворота к машине, сел с шофером, увидел через окно Зинаиду Ивановну: грудь в наградах, гармонь на ремнях.

— Зинаида, — сказал ей, давясь обильным языком. — Ты что, мать, рехнулась?

А она молчит. У нее слов не стало. От встречи неожиданной.

Подошла мелкая шушера, встала почтительно, смотрит — не понимает.

— Вот, — Севастьянов из машины, — рекомендую. Почетный строитель. Герой-орденоносец. Зачинатель починов на пенсии. Постыдилась бы, матушка!

А она под его взглядом — кроликом окостеневшим. Лишь язык шевелится туго, выдавливает жвачку безвкусную:

— В ответ на заботу... не жалея сил... пере...рере... выполним...

— Непорядок, — оборвал Севастьянов. — Решать о тебе будем. Бродишь тут беспризорная, людям на смех. В дом престарелых определим.

— Грамоты мои... награды...

— Вместе с наградами. — И к шушере: — Разберитесь.

И кто-то записал в блокноте.

Вышел вперед Максим, высокий, стройный, почти красивый, плечом раздвинул шушера, сказал с угрозой в автомобильное окно:

— Приготовьтесь. Я вас уже ненавижу. Я буду убивать вас постоянно. Всякий раз другим способом.

Севастьянов повел глазом на своих.

— Сумасшедший, — хором сказала шушера.

Рванулся к окошку дебилный парень, сунул в лицо огрызок газеты:

— Цель жизни. Девять букв по вертикали.

— Еще сумасшедший, — сказала шушера.

— Смотри, Зинаида, — пригрозил Севастьянов. — С плохой компанией водишься, награды позоришь. Мы тебе все дали — мы и отберем. Трогай!

Ремень скользнул с плеча. Гармонь долбанулась об асфальт. Севастьянов уехал. Шушера, освободившись от главного начальства, как по команде повернулась к следующему по рангу. Тот сразу наполнился важностью, сел в машину, кинул шоферу:

— Трогай!

И все повернулись к следующему.

Так они разъезжались, по-одному, провожаемые остальными, по очереди наливаясь значительностью, и последний из них свысока глянул на неподчиненных пока прохожих, властно бросил своему шоферу:

— Трогай!

Остались у ворот только Максим со своей компанией, да человек, что оправдывался перед Севастьяновым. Стоял посреди прохода, яростно скреб ногтями потную плешь, вскрикивал задавленно:

— Эх, ты! Ну, дела... Ой, влип!..

Зинаида Ивановна прочухалась, пригляделась, робко обошла вокруг, перекладываясь с ноги на ногу: он вроде, другого такого не было. Телом маленький, плешь на полголовы, штаны сзади протерты... На его топнуть — и нету.

— Эй, — окликнула, — ты кто?

А он глухо:

— Кто-никто...

Опять обошла кругом, утвердилась в догадке:

— Эй, ты чего?

А он тускло:

— Чего-ничего... В городе — перебои с гробами... Избегался, свою пятерку приплатил, достал гроб по благу, простой, крашенный, кумачом не обтянутый, а родня на дыбы — не по чину хороним... Баре какие! Я им зато место выбил, куда никому доступа нету, — все мало...

А Зинаида Ивановна — в страхе великом. Дернула его за рукав, закричала в самое лицо:

— Мне-то гроб будет? Забронируй давай, чтоб схоронили по чести! Себе-то, небось, загодя приготовил...

А он поглядел на нее долго-долго, глазами воспаленными, в красных прожилках, и отвечает:

— Будя... Отхоронился...

Осела на гармонь, руки на асфальт уронила, сказала почти без голоса:

— Кто ж теперь у нас?..

— А никто. Сами себя хороните.

Мир осыпался беззвучно, на глазах. Рушились дома картонные, прорывалось небо кисейное, отклеивалось солнце станиолевое, скручивался асфальт бумажный, проминались машины бутафорские, плоские фигурки невпопад дергали конечностями... Въезжал в ворота дребезжащий самосвал с хохочущей публикой, сваливали из кузова раздетого покойника, клали небрежно на затертую скамейку. В головах — шарики воздушные, по бумажке — речи скабрезные, на органе — "Кукарача" разудалая. Отговорили, отплясали, отхохотались — и по домам. Жил — не жил, был — не был: плевать!

— Нет уж, — сказала категорически. — Пиши давай инструкцию. Замену готовь.

А он уже уходил по узкому асфальту, вдоль стены, башен и бойниц, крохотный, старый, плешивый и несчастный: ее надежда, ее опора, ее единственное подтверждение правильно прожитой жизни.

Поднялась с трудом на ноги, подтянула гармонь за ремень, пошла вперевалку следом. Шла, торопилась, выговаривала беззвучно про важность свою, про нужность свою, про заслуги и награды, про грамоты и почины, речи и встречи, достижения и невыполнения. Жизнь у нее была долгая, времени ос-

тавалось мало, — до поворота, не больше, — и, задыхаясь от спешки, сипя, выкладывала на ходу, наспех, кое-как: кем была, кого знала, что делала, — и оттого целый ряд героических дел проговаривала мельком, впроброс. Времени у нее оставалось мало, — до поворота, не больше, — а жизнь позади громоздилась до неба. Как уложиться в считанные минуты, чтобы вник, прочувствовал, поразился, занялся ею отдельно от прочих мужичок-протертые штаны, главный специалист по казенным похоронам?..

Он повернулся вдруг, сказал потерянно, чуть ли не в панике:

— Мне на пенсию — никак... Мне — внучку кормить...

А она ему невпопад, по-бабьи:

— Штаны-то... давай залатаю...

И пошагали дальше, друг за дружкой. И ушагали за поворот...

— Ох! — вспомнил Арон. — Вам хаханьки, а у меня дела. У меня завод без сырья стоит.

Побежал в телефонную будку, набрал номер — и через редкие гудки, через какую-то неисправность влез прямо в чужой разговор, в знакомые ему голоса. Стервец Салимонов — чтоб ему подавиться телефонной трубкой! — перечислял нужный ему дефицит, всемогущий Колецкий подтверждал наличие. Арон загорелся, Арон затрепетал, голова у Арона срочно просчитывала ходы-выходы.

— Алло, — сказал чужим голосом. — Имейте в виду: я вас слышу.

Стервец Салимонов испуганно ойкнул и замолчал. Всемогущий Колецкий, наоборот, рассердился, спросил свысока:

— Кто вы такой?

— Вот вызовут куда надо, — басом пообещал Арон, — там и узнаете.

— Безобразие, — сказал Колецкий и разъединился.

Арон выскочил из будки, замахал руками машинам. Срочно! В такси! К Колецкому! Стервец Салимонов испугается на полчаса. Не больше. Потом тоже придет. За это время надо его опередить, обскакать, вырвать из глотки дефицит. Риск. Азарт. Профессиональная гордость. Под одной короной двум королям не жить!

— Они меня презирают! — кричал Максиму, прыгая по тротуару. — Они этим заниматься не будут! Подумаешь, снабженец, насекомое мелкое... Они будут мною руководить и премии получать!

— Смотри, Арон, рядом с тюрьмой ходишь.

— Э, милый! Рядом с тюрьмой многие ходят, а делать дела не умеют. А я хоть сырье заводу добываю. План на мне. Кому-то и рисковать.

— Влипнешь — они тебя не защитят.

— Куда там! Первые утопят.

— А не страшно?

Арон повернулся к нему, взглянул близко, сказал просто:

— В сорок первом, под Киевом, мы бежали по полю, человек двадцать, или сто. А сзади ехал потихоньку немецкий танк и бил в спины из пулемета. На выбор. Впереди был лес, и надо было до него добежать. Я добежал. И еще двое. Остальные легли на поле. С тех пор мне уже ничего не страшно. Я в лесу.

Остановил такси, сел, махнул рукой, умчался вдаль по неотложным государственным делам...

— Что такое? — расстроился Максим. — Все разбежались.

— Мы тут, — сказал дебил.

— А кто петь будет?

— Я буду, — сказала Люба.

Через дорогу, через газон, по траве затоптанной, замусоренной, загаженной, к скамейке колченогой, незанятой. Сели, выставили из баула кастрюльки, банки, вилки со стопками. Максим плеснул горилки: себе с Любой на доньшке, парню — до краев.

— Будем, — сказал.

И они выпили.

— Надо было чокнуться, — авторитетно заявил дебил. — Когда пьют, всегда чокаются. Я видел.

— Специалист, — одобрил Максим и снова налил ему до краев.

— А вам?

— Нам больше не надо.

Парень поднял рюмку, взглянул на него поросычьими глазками:

— Только честно. Без обмана. Вы — за?

— Я — за, — твердо сказал Максим.

— За что?

— За то.

— А за это?

— Нет. Никогда.

— А вы?

— Я тоже, — ухмыльнулась Люба. — Я как Максим.

— И я, — вздохнул от счастья дебил. — Я всегда был за то. А все вокруг — за это.

— Дураки, — объяснил Максим. — Кретины.

— Кретины, — согласился дебил. — Чокнемся?

— Чокнемся.

И он выпил.

— Прелесть! — восхитился Максим и вылил ему остатки.

Лицо у дебила порозовело, обмякло, изменилось

неузнаваемо. Было оно до того оригинально тупое, нестандартно плоское, что притягивало внимание, а стало теперь обыкновенное, благополучно сытое: пройдешь мимо — не обернешься. Максим весь подобрался, глядел жадно и неотрывно, подмечал мельчайшие превращения.

— Боже мой! — бормотал в потрясении. — Боже ж ты мой! Он становится нормальным... Как все мы... Караул!

А тот выпил остатки, подцепил утку, глянул на Максима нормальным взглядом рядового идиота.

— Хочу письмо написать, — сказал буднично. — Чтобы приняли меры. А то по газонам ходят, бумагу кидают. Привлекать таких надо. На суд общест-венности. Кругом иностранцы ходят, плохое про нас думают.

— Не смей! — закричал Максим. — Ты же не похож на нас!.. Скажи ему! — он уже хватался за Любу. — Пусть не будет похожим!.. — И вдруг: — Цель жизни! Отвечай немедленно: девять букв по вертикали!..

— Так сразу не скажешь, — ответил debil. — Надо прикинуть с карандашиком.

— Ой, — сказала Люба, — дым. Ха, — сказала, — у них пригорело.

Стоял за сквериком блочный дом на много эта-жей, и где-то там, под самым верхом, нехорошо вы-ползали из окна белесые клубы.

— Это не пригорело, — сказал Максим. — Это дру-гое...

И пошел к дому...

На тротуаре стояли редкие прохожие, в любо-пытстве задирали головы.

— Пожарным звонили? — закричал издалека.

— Вроде, звонили.

— А не вроде?

Никто толком не знал.

— Я пойду, — сказал сам себе. — Я только взгляну. Мне это ни к чему, но я все-таки пойду...

И бегом в подъезд...

А за ним милиционер. Такой крошечный, такой невидный: как только таких в милицию берут?

Лифт уже уползал наверх, и они рванули следом, через три ступеньки, круто разворачиваясь на площадках, обгоняя лифт-тихоход: милиционер впереди, Максим — отставая.

— Шестой!

— Не, седьмой!..

Прибежали на седьмой, встали в мрачном, об одну лампочку, коридоре: куча дверей натыкана, куда соваться — неясно. И гарью пахнет прилично.

Максим в одну дверь:

— Эй, у вас чего?!

А у них ничего. У них — стол накрытый, гости вокруг: гульба развеселая.

— Пожар на этаже!

— Ладно, иди отсюда.

— Сгорите!

— Не твоя забота.

И дверь затворили...

Тут милиционер кричит с другого угла:

— Здесь!

Сунули ухо к двери, а оттуда треск, шелест, гарью из щели тянет. Позвонили — молчат. Забарабанили — никого.

— Чего делать?

— Вышибай!

Милиционер надал плечом, дверь отпахнулась в крохотный коридорчик, что-то внутри рухнуло, звякнуло, и оттуда засвистело вдруг, загудело, по-

несло жаром на сквозняке, и светлый язык огня вырвался из глубины комнаты.

— Воды давай! Воды!..

Кинулся по квартирам, молотил кулаком по дверям, орал в возбуждении:

— Воды! Ведер! Воды!..

Они бегали с ведрами, тазами, кастрюлями, — Максим, и милиционер, и еще кто-то, — плескали воду в дверной проем, а оттуда, из квартиры, уже пошел крутыми спиралями удушливый дым, забил коридор черной ватой, залил глаза слезами, выворачивал наизнанку спазмами кашля, а они бегали и плескали, плескали и бегали, сталкиваясь, крича несуразное, плача от дыма и радости. Жадный рот. Восторженные глаза. Ухватистые руки. Несравнимые ощущения. Минуты, прожитые как дни. Часы — годы. Все ясно: мы идем в пожарники! Братцы, кто с нами?!..

— Там девочка! — закричали во мраке. — Там может быть девочка!..

Огонь рвался из комнаты в коридорчик, черный дым шел поверху плотной полосой, и только внизу, в полуметре от пола, его не было. Они упали на четвереньки и кричали в этот свободный от дыма туннель, в конце которого была смерть:

— Эй! Есть кто? Кто в квартире есть?!

— Счас! — милиционер сунулся ползком в коридорчик и тут же отскочил обратно, взъерошенный и опаленный. — У, зараза, кусается...

— Дай я! — Максим упал плашмя на залитый пол, сунул голову в туннель под дымом, потом плечи, потом туловище... и захлебнулся горячим жаром: волосы сухо зашуршали на голове.

Они сидели вдвоем на полу, у самой двери, он и милиционер, кашляли, выворачивали легкие, лили едкие слезы бессилия, а там, в дыму, кто-то суетил-

ся, плескал над их головами бессмысленную воду, кричал надрывно звериным воплем:

— Девочка! Там может быть девочка!

Вывалился из дыма дебильный парень, рухнул прямо на Максима и быстро-быстро, на четвереньках, нырнул под дымную пелену, пробежал до двери в комнату, сунул туда голову... Пласт огня вырвался наружу, загнулся от потолка вниз и накрыл его одеялом. Подпрыгнул, перевернулся на спину, замер: только ноги торчали из комнаты, и из прорванной сандалии — большой палец с наросшим черным ногтем...

Максим выволок его обратно в коридор, — "Черт, — орал милиционер, — куда тебя понесло?" "Да он дебил, — орал Максим. — Ему можно!.." — кто-то из дымной темноты подхватил и потащил его дальше, и тут явились пожарные. Огромный мужик в брезентовой робе сунулся со шлангом к двери, завопил яростно:

— Воду давай!

Воды не было.

— Воду, твою перемать!..

Воды не было.

Максим нашел наощупь свой пиджак, вышел на лестницу, тихонько побрел вниз. На площадках суетились пожарные, кричали друг другу:

— Рукав зажало! Рукав!..

Он вышел на улицу, на яркий свет: густая толпа стояла вокруг дома, красные машины гудели нутужно, из верхних окон тяжелыми паровозными клубами валил дым. Что-то грохнуло, треснуло, полетели вниз стекла, доски, тарелки, листы и тряпки: это пожарные включили, наконец, свои могучие атмосферы, мощной струей вышибали в окно все то, что не успело еще стореть.

На травке возле дома лежал дебил. Лицо и руки

красные, в волдырях, волосы почти сожженные, редкими сухими кустиками, ни бровей, ни ресниц, и темная полоса на прозрачной тенниске, будто лизнуло ее перекаленным утюгом. Рядом сидела Люба, в роскошном платье на загаженной пеплом земле, дула на его обожженные раны, остужая волдыри, да какая-то бабка рвала за косы перепуганную девчонку, вопила, срывалась на визг:

— Паршивка! Дрянь эдакая! Она гуляет себе, а людям неприятности!..

— Ладно, — сказал маленький милиционер. — Чего там? Жива, и на том спасибо.

Дебил шелохнулся слабо, разлепил спекшиеся губы, сказал тихо, но внятно:

— Девять букв по вертикали... Вторая — О...

Пришли санитары с носилками, положили его, понесли в машину.

— Мужики, — побежал рядом Максим, — жить будет?!

— Будет, — ответили с ленцой. — Куда он денется?

И уехали.

— Как мы с тобой! — поразился милиционер. — Это надо же!

— Нормально, — сказал Максим. — В другой раз опять меня зови.

— Как же! — вскинулась Люба. — Так я тебя и пустила в другой раз.

Стала пиджак чистить, а он отбивается. Ему грязь эта — след важный. Пятна — отличия. Подтеки — награды.

Пошли от дома, через скверик к скамейке, где ждал их позабытый баул, и Максим, угасая, остывал на ходу и все оглядывался назад, на блочный тот дом, на закопченные стены, на белый пар из верхних окон, на двадцать минут полнокровной своей

жизни. Все оглядывался, да оглядывался, да нюхал пиджак, от которого приятно пахло гарью. И долго еще будет пахнуть.

— Ходить сюда буду, — сказал. — Вспоминать.

А внутри все дозванивала тонкая, пронзительная струнка, утихала до нового раза, которого может и не быть, а на смену пришла пустота усталости, за ней грусть, едкое сожаление о невозвратимом. И ноги уже шли без удовольствия, и глаза глядели без радости: грузный, сутулый, на глазах стареющий мужчина...

— Удача, — сказал. — Срочно нужна удача. Без удачи стареешь...

И завалился в тишину, в пустоту, в отчаяние...

Солнце оседало за крыши.

Краски глохли перед сумерками.

Затишье. Безветрие. Опустошенность.

Ожидание ожидания.

Встал перед серым, оштукатуренным домом, задрал голову, уткнулся сразу в нужное ему окно, как утыкался постоянно, когда, бывало, проходил мимо. Окно распахнуто — хозяйева дома.

— Иди, — сказал. — Иди, дурак, мимо, чего встал? Это не для тебя еще. Это всегда не для тебя.

Но уже толкал ногой дверь подъезда, уже шел по лестнице, растерянно озираясь, и позвонил сразу, неоглядно, пока сам себя не схватил за руку, пока Люба, жена его, еще поспешала следом.

— Максим... — женщина замерла на пороге. — Это ты?

— Это я, Тоня.

А лицо у нее худое, до бледной синевы, а глаза темные, большие, с кругами, будто очки надеты, а волосы собраны в тяжелый пук, и платьем утянута так, что проработано под материей все тело. Протя-

нул ладони, огладил плечи ее, руки, бедра, вспоминая прикосновением, а она не мешала ему, только глядела пристально, как раньше, будто вечно ждала чего-то — и не могла от него дожидаться.

— Здравствуйте, — запыхалась Люба. — Вы это чего?

— Здравствуйте. Мы ничего.

Комната была пустая, почти без мебели. Строго. Чисто. Тихо. Прохладно. Горела лампа под абажуром, сидели за столом отец с сыном, глядели на гостей глазами ясными, в которые тянуло исповедаться.

— Здравствуй, Коля Нестеров.

— Здравствуй, Максим Никодимов.

— Вот я и пришел.

— Пришел — садись.

Прозвенел на улице звонок трамвайный, как позвал кого-то...

— Гореть не собираетесь? — спросил Максим, усаживаясь.

— Нет.

— Я бы потушил. Имею опыт.

Завертел головой, озираясь на стены, чтобы не столкнуться ненароком с их взглядами, а с большого портрета глядели на него ясные глаза еще одного, покойного уже Нестерова, и деваться от них было некуда.

— Хорошо у вас, — сказал бодро. — Чисто. Посуда грязная на столе не стоит.

— А зачем ей стоять?

— Не знаю. У нас — всегда.

— Конечно, — обиделась Люба. — Вечером поели — не мыть же ее на ночь.

— Вот, — вздохнул Максим. — Все семьи делятся на два вида. Одни моют посуду сразу после еды. Другие оставляют на потом.

— Ты зачем пришел? — спросил Нестеров. — Про посуду говорить?

— Я не к вам пришел. Я к теще Вере.

Тоня ушла к окну, высунулась наружу до половины, будто заинтересовалась чем-то на улице.

— Мамы нет, — сказала оттуда.

— Я подожду.

Отец с сыном глядели на него спокойно и вдумчиво, как на дерево, траву, в небе летящую птицу. У Тони в окне дрогнули плечи.

— Она умерла, мама. В городе Саратове.

— Ладно, — попросил Максим. — Давайте без этого.

— Она полюбила старого человека, инвалида, и уехала к нему. Они счастливы были. Они песни по ночам пели. — И через вздох: — А его дети решили, что она комнату хочет отобрать.

— Зачем ты ему рассказываешь? — сказал Нестеров.

— Она его любила.

Теща Вера, ах, теща Вера! Как она ему готовила! Какими подарками баловала! Как жизнь изукрашивала в яркое многоцветье!

— Она меня любила, — ласково сказал и печально. — Она одна меня понимала. Она мне ключ давала от квартиры, чтоб девочек водить.

— Я знаю, — сказала Тоня в окно. — Все я знаю.

Теща Вера, ах, теща Вера, рыжая ты моя старуха! Как она плясала! Как допоздна за столом веселила! Как утягивала его, лежебоку, на электричку, в лес, к реке, на памятные ей поляны! Огонь, жар души, горение ненасытное — через край! Ах, как поздно он родился! Или она — слишком рано...

— Они прожили вместе одну зиму. Сначала он умер, через неделю она. В его комнате. На той же постели.

— Среди чужих?!

— Среди чужих.

— Не надо ему рассказывать, — сказал Нестеров.

— Незачем.

— Она любила его.

— Она любила меня, — повторил Максим. — Умирать тоже надо уметь.

— Ты зачем к нам пришел?

Коля Нестеров, строгий и непримиримый, проживший одиноко юношеские свои годы. Коля Нестеров, молчаливый и неподступный, изредка забредавший к Максиму на вечные его гулянки. Коля Нестеров, нелюбчивый и неулыбчивый, единым кивком головы утянувший за собой Тоню, его жену. Коля Нестеров — с ясными глазами человека, который знает, что надо делать. Как должно быть. Чем того добиться. Знает, но не говорит никому. Вокруг него увиваются, вымаливают, лебезят и унижаются, а он молчит.

И опять позвонил трамвай, как поторопил куда-то...

— Я пришел к вам дружить, — сказал Максим. — Давайте попробуем.

А они — не шевелятся.

— Вы! — сказал горько. — Вы не умеете дружить. Вы не умеете превращать знакомых в друзей. Да и не хотите, потому что хлопотно. Ну, совсем как я!

Тоня слушала молча, напряженно, и только говорила тихонько, в легком удивлении:

— О!..

И слушала дальше. Была она хорошо им позабыта, и потому опять соблазнительна.

— Зачем ты к нему ушла? — крикнул. — Ну, зачем? Что тебе здесь делать?..

— О!.. — сказала Тоня и ладонями охватила лицо.

Прошелся по комнате, подхватил с подоконника

игрушечную маску на резиночке, — проволочные очки, нос из папье-маше, пышные усы кустиками, — надел на себя.

— Ну, как?

— Ой, Максим, — захохла Люба. — Усы — чудо! Тебе идет. Отпусти такие.

Встал перед зеркалом, повертел головой, сказал с приглядкой:

— Этот человек создан для усов. Лучшие годы его жизни прошли впустую, потому что он не отпускал усы. Теперь я понимаю, почему с ним не дружили. А с этим, с усатым, будете?

И без перехода:

— Коля Нестеров, давай женами меняться? Навсегда. На время. На раз. Люба, ты как?

— Женатые мужчины мне больше нравятся, — сказала Люба, присматриваясь. — Если за них кто-то вышел замуж, значит в них кто-то что-то нашел.

— Тоня, ты?

— О!.. — сказала Тоня и закусила пальцы.

— Коля Нестеров, они согласны.

— Не люблю толстых, — сказал Нестеров.

— Она похудеет. Вот увидишь. А не то развод. В двадцать четыре часа.

— Я похудею, — хихикнула Люба. — Мне это — раз плюнуть. Было бы для чего.

— Я тебя ненавижу, — сказал Нестеров. — Зачем ты пришел?

Максим закрутил лихо пышные свои усы, хмыкнул с удовольствием:

— Ты мне просто завидуешь, Коля Нестеров. Потому что я живу прекрасно. Я всем доволен. Работа у меня хорошая. Зарплата нормальная. Жена в соку. Приду домой — пожру, выпью, сяду в сортире. А вы скрюченные, сморщенные, ущербные — всю жизнь запорами маетесь.

На столе лежала открытка. На открытке отпечатан разборчивый типографский текст, и только фамилия вписана от руки.

— Не трогай, — сказал Нестеров.

Но Максим уже прочитал:

”Уважаемый товарищ Нестеров Н. И. По затронутому Вами вопросу рекомендуем обратиться в районные организации по месту жительства”.

Максим потянул с себя дурацкую маску, опустился на стул, спросил шепотом:

— То самое?..

Они молчали. Сидели за столом отец с сыном, глядели на него глазами ясными, просветленными изнутри.

— Коля Нестеров, прости меня, дурака...

Коля Нестеров, упрямый и несгибаемый, проявил однажды непростительную слабость. Коля Нестеров, одинокий и неприкаянный, не устоял под вечной своей тяжестью и в минуту откровения открыл Максиму тайну великую. Он на самом деле знал, Коля Нестеров, что надо делать. Ему отец сказал. А отцу — дед. Что надо делать для счастья всеобщего, для установления понимания и сердечности, для умягчения отношений человеческих и прославления через то своей родины. В их семье это идет издревле. В их семье схоронен секрет секретов. В старой книге записано: ”В 1629 году тверской поп Нестор подал царю челобитную с извещением ”о великом деле, какого Бог не открывал еще никому из прежде живших людей ни у нас, ни в других государствах, но которое Он открыл ему, попу Нестору, на славу государю и на избавление нашей огорченной земли, на страх и удивление ее супостатам”. В разные времена они делали попытку привлечь высочайшее внимание, и вечно терпели неудачу. Они к царям обращались, они и в Совнарком писали. При

Петре Великом они кричали на площадях "слово и дело!" При Екатерине Великой они висели на дыбах. При Павле Курносом они уходили безвозвратно на Соловки. Они желали только одного, чтобы их выслушал сам царь. Но к царям их не допускали. "Поп Нестор объявил, — писано было в книге, — что, не видав государевых очей, ничего не скажет, потому что не верит боярам. Его сослали в Казань и три года продержали в цепях "за то, что сказывает за собой великое дело, а дела не объявляет и делает это как будто для смуты, не в своем разуме". Они уже знали, в их семье, чем это обычно кончалось, — их отцы долго не жили, — и потому попытка проводилась в то время, когда сын уже встал на ноги. Чтобы было кому передать секрет. Чтобы не оставлять семью без кормильца. Отец Коли Нестерова написал после войны лично товарищу Сталину, просил встречи. Так мол и так, открою вам изустный секрет, как жизнь сделать правильной, нужной и полезной, какие для этого предпринять меры, потому что до сих пор все делается будто нарочно — наоборот. Приехали за отцом люди на машине, повезли куда-то. Праздник был в доме, стол накрыли к возвращению. Стол простоял накрытым двое суток. Потом все убрали. Год был на дворе сорок девятый. Отец так и не вернулся. И на плечи Коли Нестерова легла несказанная тяжесть, которую не вынести в одиночку, гнула его и ломала, давила и угнетала, в минуту усталости заставила проговориться о тайне, смысла которой он так и не открыл. "Глупости! — кричал тогда Максим. — Забудь сейчас же!" Но Коля Нестеров принес старую книгу по истории, раскрыл на закладке: "Видишь? — сказал. — Он Нестор, и мы Нестеровы".

— Сволочи, — сказал Максим. — По затронутому вами вопросу... Их оно не затронуло. Им все

ясно. У них, гадов, полный ажур. Решено и подписано.

Нестеров зашевелился на стуле, будто неудобно сидеть.

— Уж лучше бы к стенке поставили...

— К стенке! — заорал Максим. — К стенке-то каждому лестно! А ты вот утрись, когда плюнули...

И подъехал к нему на стуле:

— Слушай! Попробуй еще раз. Я, давай, помогу, а? Я пробью!

— Нет, — сказал Нестеров. — Время, значит, не пришло. Не прижало еще. Отложим до другого раза.

— А когда он будет этот раз, когда?! Если не в наши сроки, так пропади оно пропадом. Ради кого стараться?

А тот глядел на него, не смаргивая, и в глазах твердости — на века.

— Максим, — обиделась вдруг Люба, — чего они такие гордые? Мы к ним со всей душой, а они еще кобелятся.

— Ты молчи, — сказал. — Сиди и молчи. — И к Нестерову: — Слушай! Напиши для потомков, запаяй в ампулу, закопай, замуруй! Я место одно знаю. Пролежит в сохранности. "Сия лампада должна гореть вечно и непрерывно"... Мало ли что случится! Род прервется...

Отец с сыном переглянулись.

— Не прервется, — сказал сын. — Сколько веков держались.

Максим уставился на него, будто мебель в комнате заговорила.

— Ты... передал ему?

Нестеров не ответил.

— Мне... не скажешь? Я бы тоже хранил. Хотя на смерть...

И опять тот не ответил.

— Есть будете? — спросила Тоня.

— Есть будем? — спросил Нестеров.

— Будем, — сказал сын.

Теперь он был главным...

— Прощай, Тоня, — сказал на лестнице.

— Прощай, Максим.

Огладил при Любе Тонины плечи, руки, бедра, за-
поминал прикосновением.

— Тебе хорошо с ним?

А она, как обычно, глазами в глаза:

— Нехорошо мне. Тягостно.

— Так что же?

— А нужна я им. И все.

— Тоня, — позвал снизу.

— Ай?

— Ты же загульная. В мать.

А она сверху, через перила:

— С тобой бы я хоть сейчас...

— Ну?!

— Нужна я им. Нужна — и все.

День начинался, как пир.

День предвкушался, как пир. Легкий, веселый,
значительный. С вкусной едой, с интересными дру-
зьями, с мудрым застольем.

День наш — пир наш!

День трогался в путь, как трогаются гости из до-
ма. Нарядные, нетерпеливые, возбужденные. Еще не
тронуты блюда, не распечатаны бутылки, скатерть
бела снегом нехоженым, тонко подрагивают неза-
хватанные хрустальные бокалы.

День наш — пир наш.

День продолжался так, будто обносили то и дело
неиспробованным кушаньем. С уважением, с пони-
манием, в ожидании чудесного. Блюда еще не раз-

рушены, желудки легкие, сосед твой не сказал еще самого важного.

День подходил к середине.

Уже не было особых надежд на его исключительность. Уже западало подозрение о неминуемо бездарном его окончании. Но впереди было еще время. Можно выправить. Переменить. Пристойно закончить пиршество.

День наш — пир наш...

День тянулся нескончаемо, как неудавшаяся вечеринка. Уже не было надежд, не было возврата, не было и начала этого дня, скрытого за бессильной слезливостью.

День заканчивался, как обычная пьянка. Битое стекло. Загаженная скатерть. Липкие остатки еды. Пакость во рту и тяжесть в желудке. Утра нового не будет. Дня нового не будет. Будет одно тяжкое и хмурое похмелье.

Не умеем, братцы, жить. Не умеем пировать...

А через недельку, глянь, новое солнышко, новые надежды, сладкие предвкушения, и только внутри — в легких, в желудке, в печени — отрыжкой, коликами, выдохами усталыми — напоминание об однажды уже несостоявшемся.

И так каждый день.

Так — каждый пир...

— Максиим! Ну расскажи, как ты поседел...

А он разболтанно выкидывал ноги, — высокий, грузный, с опавшими плечами, с седою прядью наискосок, и даже брюхо-тыковка обвисло уныло под пиджаком.

— Максиим... Открой тайну!

— Нету никакой тайны, — сказал раздраженно.

— Глупая игра природы.

— Ладно тебе...

Она притиснула его к забору, прилепилась вплотную, вминалась грудью, ногами, бедрами, и ловкие руки уже нырнули под пиджак, под рубашку, глубже и дальше, изведенными, проторенными путями.

— Рассказывай... Ну!

— Про что?

— Как ты поседел.

Он еще помолчал, ощущая ее прикосновения, проклиная и наслаждаясь, а потом заговорил неуверенно, останавливаясь на каждом слове, будто шел в кромешной тьме, выставив вперед руки, ногой нащупывал почву:

— Это было давно...

— Давно... — эхом отозвалась Люба.

— Давно, — подтвердил Максим и огляделся вокруг, будто впервые увидел пустынную улицу, блеклые дома, ломаные ветки кустарника, бег пустого трамвая. — Летом... — Подумал-подумал: — Да, летом. В мае... Нет, в июле. — Закрыв глаза, начал сначала, тихо и отстраненно: — Это случилось давно. Летом. В июле. В командировке. На море.

— На море... — и Люба вздохнула от удовольствия.

— На Азовском море, — уточнил Максим удовлетворенно, словно выстроил, наконец, одному ему видимую декорацию, и расправил опущенные плечи, по-хозяйски повел Любу по улице. — Я приехал туда в пятницу. Нет, в субботу... Да, в субботу, поздно вечером. Гостиница забита, частные дома забиты, люди спят в сараях, в пристройках, в саду на топчанах. Сезон. Во всем городе ни одного места. Что делать? С горя пошел на приморский бульвар. Все вокруг веселые, загорелые, нарядные, один я — грязный, небритый, с дурацким чемоданом...

— Бедненький... — и быстро чмокнула его в подбородок.

Максим рассеянно потер щеку, заговорил дальше, жалея себя всласть:

— Вышел к морю, свернул на пляж. А вечер тихий-тихий, а вода теплая-теплая... Парное молоко. Бросил чемодан, разделся, полез в воду. Сижу — отмокаю. Берег в огнях, смех, музыка, а море темное, глухое: ни отблеска, ни просвета. Мрак... И тут слышу плеск. Что-то надвигается оттуда, из темноты. И прямо на меня...

— Тут ты и поседел!.. — с игривым ужасом закричала Люба. — Да?!

— Нет, — разозлился Максим. — Не тут. Повторяю: и тут слышу плеск. Что-то надвигается на меня, из темноты к берегу. Вижу — женщина. В белом купальнике. Меня не замечает. Как подошла вплотную, я встал на ноги...

— Вот жуть-то... — Люба вся передернулась.

Он глянул на нее свысока, со снисходительным презрением:

— А она не испугалась. Ничуть. Пока дошли до берега, познакомились, разговорились. Местная. Каждый вечер ходит купаться, заплывает черт-те куда. И не боится. Отчаянная... — Он рассказывал с воодушевлением, не Любе — самому себе: — Вышли на берег уже друзьями. Я отвернулся — она переоделась. Она отвернулась — я переоделся...

— Максим, я ревную!

— Погоди. То ли еще будет... Вышли на бульвар, она и говорит: "Пошли к нам, как-нибудь построим". — Он сощурился на фонари, на яркую витрину, на неоновую надпись "Парикмахерская": — Ладно, думаю, где наша не пропадала... И повела она меня глухими переулками, закоулками, огородами. Собаки вокруг надрываются, тени шастают, шорохи из кустов, вопли, крики... Ужас!

— Тут ты и поседел! — выскочила — не утерпела Люба. — Да?..

— Ну что же это такое! — со слезой в голосе закричал вверх, в высокое звездное небо. — Помолчи хоть минуту!

— Все. Молчу, молчу...

Максим насупился, заговорил неохотно, и тогда руки ее снова ожили, деловито принялись за свое.

— Наконец, приходим. Маленький домик, одна всего комната. Они с матерью на кровати, я — на полу.

— В одной комнате, — не удержалась Люба. — Ну-ну...

Максим усмехнулся, глаза его заблестели:

— Утром я проснулся рано. Мать уже ушла на рынок, а дочка спала, разбросавшись по кровати. Простыня сползла на пол, и она лежала передо мной в коротенькой рубашечке без рукавов. Совсем еще девочка. Лет шестнадцати. Смуглая, нежная... — Он поискал нужное слово: — Гречанка.

— Лучше, чем я? — перебила Люба и повертелась, показывая себя.

Он задумчиво поглядел на ее крупные бедра, на полные плечи, на тугую грудь, решительно замотал головой:

— У нее была фигура мальчишки. Бедра только намечались. Грудь маленькая. Ключицы торчат. Руки тонкие, с острыми локотками. Коленки в ссадинах. Пальцы на ногах крохотные. Она во сне почуяла, что на нее смотрят, открыла глаза, махнула ресницами, сонно улыбнулась и снова заснула. Беззащитная, доверчивая...

— И ты ее не тронул? — игриво спросила Люба.

— Нет! — воскликнул оскорбленно: высокий, стройный, изящный, с сухим, нервным, негодую-

щим лицом. — Такая чистая... Такая невинная...
Таких на свете нет!

— И ты ее полюбил?

— Сразу... — выдохнул. — Даже голова закружилась. Даже жить захотелось. Понимаешь? — просто-на-простонал. — Захотелось!..

— Понимаю, понимаю, — заторопилась Люба и полезла обратно под пиджак, под рубашку, глубже и ниже. — А что дальше?

— Дальше... — устало повторил Максим, и они снова побрели по улице. — Она спала, а я стоял рядом и смотрел. Просто стоял и просто смотрел. Потом пришла мать, сели завтракать, достали арбуз из колодца. Холодный — зубы занули. Мы ели арбуз и хохотали без причины, и стреляли друг в друга черными косточками. Она — девочка, и я — старший инженер, в ответственной командировке. Потом я ей рассказывал про Москву, про Кремль, про высотные дома и метро. Больше всего ее поразило, что я каждый день катаюсь в метро.

— Максиим... Это неинтересно.

— А ей было интересно, — заупрямился Максим. — Как она меня слушала! Как слушала... Меня никто так не слушал. Я говорил про метро, а она удивлялась! — Тяжело вздохнул, печально усмехнулся: — А вечером мы пошли купаться...

Они подошли к дому, в обнимку прошли в подъезд, в квартиру, в комнату... Свет не зажигался. Выбитые пробки так и не починили.

— Рассказывай... — требовала она нетерпеливо, помогая его рукам справиться с пуговицами, кнопками, пряжками. — Скорее... — торопила она, отшвыривая роскошное платье, в ярости откидывая туфли, белье, толкая его к великолепной постели. — Ну же... А вечером... Что вечером?!..

На полу у шкафа спали рядышком Наумчик и Арон Цинциппер. Арон вздыхал бурно во сне, охал, повторял в отчаянии: "Боже мой! Боже мой! Боже ж ты мой!.."

Через стенку доносилась грустная, западающая на порченной клавише мелодия. Зинаида Ивановна сидела на кровати, под вымпелом за ударную работу, спиной прислонившись к дареному ковру, легонько растягивала мехи мужниной гармонии. На столе горела толстая свеча в стакане, призрачно освещала киот в углу с указом о главном ее награждении. И не разобрать снизу, что там изображено: то ли текст с печатью, то ли лики позабытые.

На Зинаиде Ивановне был надет байковый халат, а на нем — все ее награды, одна к одной, по старшинству, вынутые из самовара и закрепленные теперь навечно. Самовар старый, с медалями: налетят воры, уволочут за милую душу. А тут, при себе, надежно. С нее, небось, не скрадут, она крик подымет. С ними и спать будет. С ними и жить. Чтобы было потом чего нести на подушечках.

На кушетке в углу была постелена крахмальная простыня, одеяло пуховое с подушкой, белье чистое, чиненное, от мужа еще сбереженное. Комната прибрана. Газеты в коридор вынесены. Пыль обметена. Свежего воздуха напущено. Чекушка на столе стоит. Дверь в коридор открыта.

Сидела Зинаида Ивановна под вымпелом, мехи легонько растягивала, ждала терпеливо. Вчера на ночь приходил, сегодня, может, опять зайдет. Одной плохо. Одной — никак. Грусть, тоска, назолушка. Когда одна — стены заедают...

— Ну же, Максим... Ну!

— А вечером мы пошли купаться, — Максим заразился горячностью. — На ней был все тот же купаль-

ник. Беленький. Простенький. Чудо какое-то: белое на смуглой коже. Мы вошли в воду, взялись за руки, шли долго, до глубины, потом поплыли. В темноту, во мрак. Медленно... Без всплесков... Как во сне...

— Медленно... — блаженствовала Люба. — Как во сне...

— Мы уплыли далеко. Очень далеко. И не хотелось обратно. И ничего не хотелось. А потом, не сговариваясь, кинулись друг к другу, обнялись, и стали медленно погружаться вниз, в темные глубины. И воздуха уже не хватало, и сердце разрывалось в груди... И тогда мы вынырнули, жадно вдохнули и опять ушли под воду... И опять... И опять... И под водой было прекрасно... Как прекрасно было под водой! Она прильнула ко мне...

Люба прильнула к нему, кусала, рвала, царапала:

— Дальше... Ну!! Дальше!..

Месье Шарль, великий гипнотизер, вышел в темный коридор, постоял, заглянул к Зинаиде Ивановне. Увидал в свете свечи кушетку застеленную, белизну крахмальную, белье стопочкой. Подумал, почесался, прихватил белье, свечу со стола, прошел в ванную. Побрился, помылся, вытерся насухо, sprыснулся соседским одеколоном, надел на себя чистое, чиненное, сильно в боках великоватое. Пошел со свечой обратно, у чужой двери не утерпел — согнулся с трудом, глаз уткнул в замочную скважину. Видно — не видно, а разобрать кой-чего можно, угадать, дополнить...

Пиликала гармонь за стеной один и тот же печальный мотив.

Глядел с интересом Степа Панюшкин, пуская от возбуждения обильную слюну.

Скулил в закоулках старого тела порушенный месье Шарль, великий маэстро.

... маменька родимая, свеча неугасимая. Горела, да растаяла, любила, да оставила...

— Дальше, Максим... Ну!

— А потом... — заторопился Максим. — Потом мне свело ноги. Обе сразу. И я стал тонуть. И она потащила меня к берегу. На себе. "Еще немножко, — молила она. — Мильй..."

— Мильй... — молила Люба. — Еще... Еще немножко...

— Я замерз. Меня била дрожь. Тело не держалось на поверхности. "Пльви, — сказал я. — Пльви одна". Но она тащила меня, она кричала "Держись!" и била меня по лицу...

— Держись! — вскрикнула Люба и ударила его по лицу. — Держись, Максим...

— Но я уже ничего не мог... Я захлебывался... Я тонул... И тогда... Она обняла меня, прижалась всем телом, прильнула губами, замерла... и в последний раз мы опустились на глубину... Воздух кончился, жизнь кончилась. И тут...

— И тут... — пронзительно вскрикнула Люба и забилась в руках. — И тут... И тут...

— И тут она выдохнула в меня весь свой воздух и из последних сил оттолкнула от себя... Наверх...

— А сама... — простонала Люба. — А сама...

— Уто...ну...ла...

— И ты... поседел...

— За одну... ночь...

Была пауза. Долгая и расслабленная. Наконец, Люба шелохнулась, проговорила губами:

— Мильй...

— А?..

— Эта история намного лучше прежних... Сегодня ты в ударе...

— Ты тоже... — пробормотал Максим, засыпая...

1

Она засыпала, как умирала.

Спала беспробудно и глухо в бездонной, кромешной тьме.

Просыпалась сразу и вдруг: заново рождалась на свет.

— В вашем возрасте, уважаемая Дарья Павловна, — позавидовал районный врач, — это уже неприлично.

— Жэ дэтэт! — крикнула она в ответ хрипло и яростно и пошла вон из кабинета, широко переставляя ноги, волоча в каждой руке по огромной кошелке. Юбка завивалась вокруг бестелесных ног, черные прямые волосы отмахивались по сторонам: старая карга, кривуля, корежина, ходячий вопрошительный знак. — Жэ дэтэт!

Ей было восемьдесят. Восемьдесят без малого. На ее долю выпал весь этот век с самого его начала и, как она надеялась, не до самого конца.

Ручки у кошелок были обмотаны синей изоляционной лентой.

Трепаные углы у кошелок заштопаны черными нитками.

В кошелках лежало все ее немудреное добро. От фамильного альбома и до серебряной ложечки.

Выходя из дома, она брала кошелки с собой. Даже за хлебом. Даже в молочную.

Руки оттягивало привычной тяжестью.

Спина горбилась.

Ноги гнулись.

Глаза в землю.

На ее долю выпал весь этот век, день за днем, несчастье за несчастьем, танком проутюжил всласть, и теперь она не доверяла никому.

— Жэ дэтэст! Жэ дэтэст!..

Ночами он совсем не спал.

Так, дремал понемножку.

Как дремлют, наверно, зайцы, не забывая о волке. Как дремлют, наверно, рыбы: чуткие, настроженные, во взвешенном состоянии, не опускаясь на дно сна.

С полудня он уже начинал готовиться к долгой ночи.

Выбирал темы для размышлений, события прошлого — для воспоминаний, повод — для разговора с самим собой.

Чтобы хватило до утра.

Даже в бесконечные зимние ночи: чтобы хватило.

Позади у него громоздились неукладисто семьдесят прожитых лет. Восемьдесят с малым. Ему было что вспомнить.

И вот он уже лежал посреди ночи: отсутствующий, блаженно умиротворенный, с легкой улыбкой на губах.

И вот наступал миг, далеко за полночь, когда можно было отпахнуть неприметную дверцу и потихоньку, сторожко, вылезти наружу. Потянуться, расправить онемелые члены, боязливо оглядеться вокруг. Так вылезает рак-отшельник из раковины-спасательницы, осторожно, не полностью, оставляя одну ногу там, внутри, для поспешного отступления.

С годами сны стремительно укорачивались, ночи

бесконечно удлинялись, и временами уже казалось, что близкая смерть — это вечная бессонница. Полублаженная, полупроклятая. Когда вялые мысли едва ползут по расслабленным извилинам, и гвоздем в мозгу торчит едкое сожаление о юношески непробудном сне.

И для нее, для смерти, надо заранее готовить темы для размышлений, воспоминаний, для разговоров с самим собой.

И жизнь, быть может, дается лишь для того, чтобы вспоминать ее потом, по кускам, в будущей бесконечной бессоннице.

Всякое утро начиналось одинаково.

Она просыпалась сразу, легко и быстро, как ловкий ныряльщик, что выскакивает из глубины на поверхность, но глаз не открывала, не шевелилась, даже не вздрагивала. Переход от сна к бодрствованию происходил мгновенно, словно щелкали выключателем. Отвыкшие за ночь уши еще не улавливали слабые звуки, тела не было, мыслей не было, прожитых лет уже не было, не было ничего, что напоминало о жизни, и искрой вспыхивала надежда, отчаянно безумная, легкомысленно игривая, невозможно блаженная, и закручивалась вертким поросячьим хвостиком.

Но тут в работу вступали голуби. Голуби первыми возвращали эту жизнь, а за ними уже и шарканье подошв, и скрип тормозов, и резкие крики под окнами... Но голуби были первыми. Всегда первыми. И голубей она ненавидела пуще всего.

— Жэ дэтэст! Жэ дэтэст!..

Она резко поворачивалась с бока на бок, — охали в изумлении диванные пружины, — хрустела ломкими пальцами, выдавливала из горла хрипло и разочарованно:

— О, Господи! Опять жива...

Потом поднимала жилистые руки, вслепую ощупывала костлявое лицо, выпирающие скулы, горбатый нос, мешки морщин под щеками и около ушей, как у хорошего бульдога, говорила с омерзением:

— Зажилась, матушка... Срам — да и только.

После этого она открывала глаза.

Она открывала глаза и пристально, в упор, глядела на мужа, как прожигала сквозь увеличительное стекло. А он лежал на спине, румяный, полнолицый, в пухлых морщинах-складочках, — руки поверх одеяла, голова утоплена в подушку, — и улыбался слабо и счастливо. Даже пробор на голове был посредине. Дыхание ровное. Глаза закрыты.

— Не притворяйся! — кричала яростно. — Ты же не спишь!

— Сплю, — отвечал он кротко, не открывая глаз.

— Я, Даша, сплю.

— Врешь! Открывай глаза! Сейчас же открывай!

Так начиналось всякое утро.

Она спала всю ночь крепким, здоровым сном молодой женщины, и просыпалась яростной, невыспавшейся фурией.

Он совсем не спал ночами, — так, самую малость, — и уверял ее, что хорошо выспался.

Сколько раз она хотела уличить его, поймать врасплох наедине с вечной бессонницей, но, заснув к вечеру, просыпалась только под утро.

И это ее злило.

— Жэ дэтэст! — прохрипела она и на этот раз. — Жэ дэтэст!

А потом:

— О, Господи... Опять жива...

А еще потом:

— Зажилась, матушка...

И еще:

— Не притворяйся! Ты же не спишь!

— Сплю, — кротко ответил он. — Я, Даша, сплю.

— Открывай глаза! Сейчас же!

Он подчинился.

Вблизи они были незащитно открытые, лошадиному выпуклые, и подрагивали мелко-мелко в глазницах, будто перельются сейчас через край от неосторожного движения и укатятся блестящими ртутными шариками, по пыльному полу, под диван. У нее, наоборот, были мелкие, бесцветные, водянистые глаза с зеленоватыми прожилками: жалкие остатки прежнего малахита, что сводил когда-то с ума пылких ее поклонников.

— Доброе утро, Даша.

— Чего в нем доброго?

Часы тикали вокруг несогласованным хором. Часов было много. Дарья Павловна их обожала. "Мама, что тебе подарить?" "Часы". "Сколько можно, мама?" "Хочу — и все". Тиканье сливалось в общий шум. Неумолчный обвал времени. Шуршание неутомимых насекомых. Дарье Павловне требовалось наглядное подтверждение того, что время движется. Это помогало ей жить. Вернее, доживать. Можно, конечно, самой остановить свои часы, можно одним махом перекрутить пружину, которая и без того на пределе, но Дарья Павловна презирала такой исход. Она не доставит им удовольствия. Все-таки в свои восемьдесят она пережила многих и многих, и это мирило ее с жизнью. Но не мирило с живущими. "Жэ дэтэст! Жэ дэтэст!"

Выскочила из ходиков старая облезлая кукушка без головы, прокричала два раза случайным криком и убралась обратно в конуру. Помолчала — и крикнула оттуда еще раз. Послабее. Все часы друж-

но показывали семь утра. Ходики — четверть двенадцатого.

— Вставай, — заторопилась Дарья Павловна.

И полезла через него.

Она шла по коридору, переставляя ноги по скользкому паркету, как неумелый лыжник по оледенелому насту.

Пол мерцал таинственно, глубинно, желтооранжево в тусклом свете малосильной лампочки, и можно было только гадать, как бы он заиграл, если вкрутить лампу покрупнее.

Лампу покрупнее не позволяла вкручивать соседка. Это была лампа общего пользования, плата за нее делилась поровну на две семьи, и за экономию общего электричества шла вечная, неусыпная борьба.

Лампа была совсем крохотная. Меньше нее не продавались в магазинах. Меньше были только лампочки от карманных фонариков. И когда шли по коридору, вечно натыкались во тьме на соседские шкафы, притаившиеся во мраке. Формы у шкафов были фигурные, и когда казалось, что ты его уже миновал, шкаф подставлял новую, неучтенную еще выпуклость, от которой потом тупо ныли кости.

— Жэ дэтэст! — сказала она шкафам. — Жэ дэтэст!

В туалете, верхом на унитазе, спал муж соседки, полотер городской службы быта, а в прежние времена — танцор Черноморского ансамбля песни и пляски. По вечерам он всегда бывал пьян, а, напившись, варил на кухне мастику по собственному рецепту, а, сварив мастику, натирал пол в коридоре, чтобы проверить колер. Любо было глядеть, как он танцевал на паркетe: танцор Черноморского ансамбля. В его движениях проглядывали "поль-

ка”, ”цыганочка”, знаменитое матросское ”Яблочко”. Запах от мастики стоял удушающий. Пол от непрерывного натирания потихоньку превращался в желтый лед. Свои кое-как приноровились к такому полу, чужие — боялись приходить.

По пятницам полотер упивался пуще обычного, мастику не варил, пол не натирал, а скандалил с женой. Выбирал чашку похуже и кидал на пол. Брал тарелку с борщом, находил место, где нет ковров, мебели, занавесок, аккуратно шлепал ее о крашеную стенку. Жена налетала на него трепаной галкой, била сразу двумя руками, глаза у нее белели, подбородок скакал по тощей груди. Острыми тычками она выкидывала его из комнаты, и тогда он ночевал на кухне, на половине у батареи, или спал в ванне, набросав для мягкости грязного белья, или в туалете, верхом на унитазах, привалившись головой к кафельной плитке.

После ссоры они не разговаривали до понедельника, а тогда уж он шел на угол, к квасной цистерне, где она бойко торговала в летнюю жару, покорно становился в общую очередь, смиренно протягивал руку, и она — в знак примирения — бесплатно поила его квасом. Кружка — шесть копеек.

— Да-арья... — выговорил он с унитаза. — Па-ал-на... Ну, извини...

— Жэ дэтэст! — прохрипела она. — Жэ дэтэст!

В ванне распластанной бесформенной грудой мокли соседские штаны.

Штаны мокли часто. Почти всегда.

Их сначала замачивали, потом запаривали, потом долго кипятили в баке, и запах по квартире шел густой, наваристый.

Штаны полотера были пропитаны потом, воском и мастикой.

Штаны не хотели отстирываться, и их кипятили

по много часов, преодолевая упорное сопротивление.

— Жэ дэтэст! — сказала она штанам. — Жэ дэтэст!

На кухне сохло белье, преимущественно дамское, преимущественно густо фиолетовых тонов.

Мужские подштанники провисали до низу, нагло задевая по лицу.

Грязная посуда горой громоздилась на соседском столе.

Чугунная сковорода на плите с застывшими соевыми подтеками нахально перекрывала все конфорки.

На стене висел счет за электричество, и на нем — жирный вопросительный знак химическим карандашом. Видно было, что карандаш долго слюнявили.

Это значило — быть разговору.

— Жэ дэтэст! — сказала она наглым подштанникам. — Жэ дэтэст!

Вышел на кухню полотер, тяжело рухнул на табурет, руки свесил между колен. Лицо набухшее, желтошафранное, как от мастики. Рубец на лице от края кафельной плитки. Рубаха распушена. Туфли на босу ногу.

Так он сидел каждый вечер, дремал, прел в кухонной жаре.

Порой мочился в коридоре на роскошный пол.

Порой незлобиво бил женины банки с огурцами.

Порой напускал воды в ванну и ложился прямо в одежде, отмокал в тепле.

Был он унылый, вялый, смурной. Жил без удовольствия, воспоминаниями о былых успехах.

Оживлялся только у телевизора, когда показывали ансамбли песни и пляски. Впивался глазами, глядел замороженно, почти не мигал.

Танцор вспоминал прежние свои гастроли.

Полотер тосковал по аплодисментам.

— Да-арья... — выдавил с трудом. — Па-ална... Что не так — ну, извини...

— Жэ дэтэст! — откликнулась она от плиты. — Жэ дэтэст!

Соседи у них менялись часто. Что ни год — новые.

Жила старушка, тихий мышонок: грязь развела, клопов-тараканов — не продохнуть.

Жила больная, бледная женщина, ни кровинки в лице: ящик стоял на кухне, ящик с пронумерованной картошкой.

Жил мясник с рынка — морда, что вырезка с лучших филейных частей: крошил хлеб в миску, заливал водкой, хлебал тюрю деревянной ложкой, рыгал потом до утра — мухи дохли от запахов.

Жили цыгане с кучей детей, кочевали из кухни в ванную, из ванной в коридор: не квартира — табор, вольница, проходной двор.

Жили интеллигентные молодожены: стена дрожала по ночам от неудовлетворенных желаний, от несоответствия малых сил и изощренной фантазии.

Жили разные, жили всякие: въезжали, чтобы поскорее уехать, и уезжали, чтобы никогда не возвращаться.

Они появлялись без радости и исчезали без сожаления, получив новое жилье в новых районах, а Дарья Павловна с мужем прикипели — не трогались с места.

— Жэ дэтэст! — повторила она и понесла в комнату чайник с кипятком. — Жэ дэтэст!

”Жэ дэтэст” — по-французски ”Ненавижу”.

Не-на-ви-жу!

Он сидел на кровати, пухлый, упитанный, округло аппетитный, и с трудом перегнувшись через

выпирающий животик, тщательно шнуровал безобразный ортопедический ботинок-копыто. У него был вид тех благополучных неумных старичков, что не унимаются и в преклонном возрасте. Этаким шутник, гурман, дамский угодник. Отдуваясь, он шнуровал ботинок и в промежутках между тяжкими вздохами мурлыкал под нос нечто опереточное.

В этом ботинке он падал. Падал часто и опасно, как падает лошадь на льду. Взбрыкивал непослушной ногой, вскидывал кверху беспомощные руки, тяжело стучался всем телом о тротуар. И оставался лежать, униженно беспомощный, улыбаясь приветливо и доверчиво сбежавшимся прохожим.

Этот ботинок никуда не годился. Ботинок никак не могли приладить под его увечную ногу. Опытные мастера бессильно разводили руками, опытные мастера конфузливо пропивали его мятые пенсионные трояки, и оставалось только надеяться на их неуклонно возрастающий профессионализм, которого не дожидаться, да вспоминать со вздохом протезную обувь из Парижа, в которой он умудрялся танцевать в незапамятные годы.

В детстве его уронила кормилица. Уронила — и забоялась, никому про то не сказала. А когда спохватились, было уже поздно. Так он и проковылял всю жизнь на увечной ноге, так и тащил за собой тяжелый грубый ботинок, как черепаха — панцирь, рак — раковину. Последние свои парижские ботинки он проносил чуть не до самой пенсии. Залатывал, зачинивал, перевязывал бечевочкой, вдевал в боты, чтобы вконец не рассыпались. В них он еще ходил, достаточно бодро, а без них — волочил ногу, оступался, с трудом одолевал расстояния.

В черных парусиновых ботах он приходил на радио, бочком протискивался в дверь мимо милиционера. Тот брал временный его пропуск, — постоян-

ного ему не выдавали, — сверял оригинал с фото, подозрительно косился на странные боты, и сердце скакало вверх-вниз, мячиком на резиночке: детская забава на ежегодных демонстрациях. Мячики, набитые опилками, блеклые воздушные шарики да мерзкие пищалки "Уди-уди".

Сначала ему повезло. Он родился в хорошей семье, у именитых торговцев. Их знали не хуже Елисеевых, Филипповых, Мюрров и Мерилизов. Потом всю жизнь это его подводило. Знаменитая фамилия. У многих на слуху. "Вы, случаем, не из тех...?" "Нет, нет, не из тех... Я из мещан". На словах можно было отказаться, при разговоре отпереться, но анкеты... анкеты его добивали: четыре листа вопросов, и в каждом — подвох, в каждом — закавыка, угроза его хилому материальному благополучию.

На радио он работал по договору. Всю жизнь — по договору. В штат его не брали, кадровики нюхом чуяли чуждое им классовое нутро. А может, в этом виноваты были его боты, или манеры, или чересчур правильная речь, галстук, запонки, белые манжеты, безукоризненный пробор, пенсне, черт знает что еще... И он ходил на фабрики, ездил в колхозы, писал речи за передовиков, за выдвиненцев для местного вещания. Фамилию его никогда не объявляли, гонорар платили мизерный, но он не спорил, не возражал, принимал как должное, и ковылял в ботах вдоль стеночек по бесконечным радиокоридорам, и улыбался каждому, доверчиво и приветливо. Кирилл Викентьевич, человек без специальности.

Он зашнуровал ботинок, встал, попробовал ступить: — выходило плохо. Но перешнуровывать не стал: могло быть хуже. Шагнул — повалился на бок,

руками уперся в стол. Еще не разошелся, отвык за ночь.

— Даша, — сказал бодро и безмятежно. — Я готов, Даша. Как новенький.

— Врешь ты все! — ответила она беспощадно.

На завтрак ему было яйцо, хлеб с маслом, стакан бледного чая. Ей — кружка кофе и обломок шоколадки. Это был ее обычный завтрак — кружка горького кофе и шоколад. Обедать она почти не обедала, ужинать не ужинала, чем жила — непонятно. Перед сном опять пила кофе, спала потом без задних ног. Других кофе бодрил, ее — усыплял.

Она пила, обжигаясь, большими глотками, — кадык скакал по тощему горлу, — кусала шоколад желтыми зубами, говорила яростно, через глоток:

— Мышьяк... Стрихнин... Синильная кислота... ДУСТ... ДДТ... Антиклопин... Жэ дэтэст! Жэ дэтэст!

— Даша, — заступился он, доедая желток. — Ты не права, Даша. Их понять надо. У них жизнь такая.

— Не хочу, — поперхнулась. — Не желаю понимать.

Он примирительно улыбнулся, — ямочки-изюминки на щечках-булочках, — а она рассердилась теперь на него, с треском поставила на стол пустую кружку.

— Ты еще дождешься... Дождешься у них!

— А я, — ответил кротко, — я, Даша, всего уж дождался. Чего ж еще?

В этом и была их разница. Он верил — все позади. И потому был добр и безмятежен. Она — и впереди ждала много всякого. Почтище прежнего.

Выкатила на него блеклые глаза, блеснула из глубины малахитовыми прожилками, сказала, задыхаясь от ярости:

— Кирилл Викентьевич! Я тебя презираю.

И пошла укладывать кошелки.

В кошелках размещалось все ее богатство. Которое уцелело за прошлые годы. Которое она не доверяла никому. Даже мужу. И потому каждое утро укладывала сумки, на улице цепко держалась за обмотанные синей изоляцией ручки, каждый вечер разбирала обратно, ставила по местам.

В одну кошелку — часы. И малые будильники, и настенные, и настольные, и даже ходики с кукушкой-инвалидом. Заворачивала в мягкие тряпки, укладывала в известном порядке. Чтобы все поместилось. Когда шла по улице, из кошелки раздавалось дружное тиканье. Иной раз у ходиков соскакивало колесико, безголовая кукушка, запутавшись в тряпках, кричала изнутри жутким голосом, пугала нервных прохожих.

В другую кошелку — ценные вещи. Ложечку с монограммой ее матери. Семейный альбом. Серебряный подстаканник с гравировкой через "ять". Веер с последнего бала. Письма тяжелой стопкой, перехваченные лохматым шпагатом. Черепашков гребень. Клавишу от старинного "Беккера". В семнадцатом году пришли в квартиру солдаты, молодые, яростные, хмельные от распахнувшихся возможностей, выкинули буржуазный рояль через балконную дверь, прикладом смахнули со стены ходики с кукушкой. Рояль упал с третьего этажа на мощный двор. Она слышала его последний аккорд, горестный всплеск глубокого, наивного изумления, который долго потом звенел в дворовом колодце, бился отчаянно в непробиваемо каменные стены — не мог утихнуть, а для нее не утих и теперь. Клавишу она подобрала на другой день, когда дворник замел полированные обломки: янтарно желтую, глубинно теплую, словно сохранившую тепло преж-

них прикосновений. Это случилось в четверть двенадцатого пополудни, когда сбросили во двор рояль и смахнули прикладом ходики с кукушкой, и они до сих пор показывают то время — четверть двенадцатого, и безголовая кукушка кричит невпопад, дома и на улице, как однажды перепуганный ребенок, что вскрикивает потом ночами от постоянного жуткого сна. В четверть двенадцатого это случилось, и для нее — не для кукушки, для Дарьи Павловны — начались новые времена.

— Не копошись, — приказала. — Что ты там шуршишь?

— Я, Даша, не копошусь. Я анкеты сверяю.

Кирилл Викентьевич собрался поступать на службу. Совсем не из-за денег: чтобы не томиться без дела долгие дни. В газетном киоске на углу торговали одни пенсионеры, часто менялись, уходя в тот мир, где не нужны уже газеты и журналы, и последний месяц киоск стоял закрытый. То ли не было желающих, то ли пугала подмеченная всеми неумолимость быстрой смерти, словно киоск и был тем перевалочным местом, откуда навсегда уходили пенсионеры. Кирилла Викентьевича это не смущало, и теперь надо было идти в контору да заполнять анкету, а анкет — со старых времен — он боялся пуще всего на свете.

— Глупости, — фыркнула Дарья Павловна, — и больше ничего.

— Глупости, — согласился. — Зато привычно...

Этот человек всю жизнь прожил под чужой анкетой. Как шпион. Вредитель-саботажник. Резидент иностранной разведки. В его анкете все было не так. Социальное происхождение. Национальность. Год рождения. Имя отца и матери. Звали его не Кирилл, а Карл, не Викентьевич, а Вильгельмович, но об этом мало кто знал, да и сам он почти поза-

был. Только фамилию он сохранил, старинную фамилию своей семьи, где было известно о каждом ее члене на много поколений назад. На фамилию не поднялась рука. Потому и спрашивали порой: "Вы, случаем, не из тех...?" "Нет, нет... Я из мещан"... В запертом ящике письменного стола свято хранилась у него ветхая копия первой анкеты, с которой все началось, — его ответы на их вопросы, — и он старательно переписывал с нее в новые опросные листы, сверял до слова, до последней буковки. Потому что он был уязвим, Кирилл Викентьевич, человек без специальности. Потому что время пришло такое, подозрительное. За веком пара наступил век электричества и анкет, и они менялись с годами, они изощрялись в хитрых вопросах, они уже вплотную подбирались к дедушкам-бабушкам, одним своим видом они доводили до судорог, вызывали тошноту и мелкую оскорбительную дрожь, и тогда он в ужасе бежал к своему зятю, знаменитому Игнату Никодимову, большому начальнику по строительной части, который олицетворял для него всю исполнительную и законодательную власть, приносил фруктовый тортик на цветной ленточке и советовался, и делал все по его указке. Он спрашивал, а нельзя ли ему... А тот говорил: "Нельзя". Он спрашивал, а не опасно ли будет... А тот говорил: "Опасно". Он спрашивал, а не стоит ли... А тот говорил: "Не стоит". И тогда он вписывал в ветхую свою анкету новые ответы на новые их вопросы, чтобы не было потом расхождения в мелочах, в досадных мелочах, за которыми не уследишь. Ибо в них, в мелочах — наша погибель. И не сажали его в те годы ни разу, и на допросы не водили, и не грозили лично. На его долю выпала дрожь. Мелкая. Изнуряющая. Долгие годы, без перерыва. Вот он и дрожал, Кирилл Викентьевич, человек без специальности, за

хилое свое материальное благополучие. Какая у него была специальность? Интеллигент, вот и все. Еще он говорил: "Я филолог". А они в ответ: "Дайте диплом". Потому что филолог — это теперь профессия. А в прежние времена — просто образованный человек. Потому он и дрожал, опасаясь всех: время было такое — не прощало ошибок. И тут, на свободе, он был им нужнее, чем там, в заключении. Там и без него хватало народу, а тут, такие как он, создавали зыбкую атмосферу неуверенности, ненадежности, вязкого, засасывающего ужаса. От таких, как он, дрожь расходилась волнами, заражала окрестное население. Что и требовалось от него, дрожащего.

— Ну, — прикрикнула Дарья Павловна, — на каком мы свете?

— А я готов, — ответил весело. — Я пожалуйста.

— Ох, — протянула едко, — не нравишься ты мне. Ой, как не нравишься...

И привычно подхватила загруженные кошелки.

В коридоре они столкнулись с соседкой.

Нос к носу.

Обычно она уходила засветло, вставала у квасной цистерны пораньше, чтобы захватить утренних прохожих, утолить их ненасытную ночную жажду, а тут, видно, нарочно задержалась, в ущерб доходам. Широкая, костистая, тяжелая: встала в полумраке коридора громоздким шкафом, бедрами загородила проход. Лицо блеклое, почти невидное, кожа вялая, втянутая, мешки под глазами до середины щек. Из-под синего халата высовывалось полосатое платье. Из-под платья выглядывала розовая комбинация. У нее всегда выглядывали комбинации. Из-под любого платья. Будто она покупала их на вырост.

— Я вас предупреждала, — начала сразу, пронзительно крикливо, как через шумную улицу. — Да или нет?

Дарья Павловна встала перед ней с кошелками в руках, глядела гордо, независимо, снизу вверх. Они не разговаривали с самого первого дня. С первого слова, с первого взгляда. Враги насмерть.

— День добрый, — начал Кирилл Викентьевич по всегдашней привычке. — Что-то вы нынче позднова-то...

— Я вам сколько говорила? — Она трясла в руке листок с жирным вопросительным знаком от слюнявого химического карандаша. — Считать поровну!

— А я поровну, — испугался. — Поровну — можете проверить.

— Проверила — не беспокойтесь. Тоже грамотные. А копейка?! Опять лишняя?

— Лишняя, — сознался. — Копейка — лишняя.

Эти проклятые тусклые лампочки в коридоре, ванной, кухне и туалете! Мельче их уже не продавались в магазинах. И хоть включали их редко, жгли мало, вечно бродили в потемках, натыкаясь на шкафы, но нагорали по ним, как назло, нечетные копейки, которые никак не хотели делиться поровну. Был общий счетчик на всю квартиру, были счетчики по комнатам, и остаток, который приходился на места общего пользования, надо было делить на две семьи. Но он не делился. Не делился, и все тут. Копейка в остатке вела к вечным скандалам.

— Я же вам объяснял, — начал он терпеливо, но уже слабо зачесалась спина, шея, живот: надвигалась неумолимая чесотка. — Лишнюю копейку надо кому-то приписать.

— А почему вам?

— А почему нет?

Ее глаза скосились к переносице, глядели неиз-

вестно на кого. Жуткие глаза, разноцветные. Один — зеленый, по-кошачьи зловещий, мерцал в темноте. Другой — серый, с желтой полосой наискосок, будто мазнули небрежно тонкой кисточкой по главному яблоку, блестел тусклым бельмом. И вид от этого был безумный, дикий.

— Не нуждаемся, — сказала. — Не беднее вас.

— Что ты с ней разговариваешь? — ненавистно выдавила Дарья Павловна. — Не унижай себя.

— Интересно получается! — Соседку как подстегнули: — Я говорю — не унижаюсь, они — унижаются...

И закричала пронзительно, свербящим криком:

— Буржуйка! Фря недорезанная! Мало мы вас...

Дарья Павловна глядела жадно, с мрачным восторгом:

— Мало вы нас... Мало! Раз жива, значит — мало.

А та уж себя не помнила. Глаза побелели, подбородок заскакал по тощей груди:

— Мало мы вас! Мало...

Она родилась после революции, буржуев не видала и в помине, но ненависть передалась и ей: "Мало мы вас! Мало..." Она была удачливее их, ловчее, богаче, но буржуями считала их: "Мало мы вас! Мало..." Она насмотрелась по телевизору на кинобуржуев, сходства с этими стариками не было никакого, но она улавливала его изощренным своим чутьем: "Мало мы вас! Мало..." Она жила в полном дерьме, как и все вокруг, затюканная, заглушенная, задавленная, но ненавидела только их, буржуев, и никого больше: "Мало мы вас! Мало..."

— Не ссорьтесь, — попросил Кирилл Викентьевич, но зудело уже под коленками, и щеки полыхали огнем. — Давайте я эту копейку с вас возьму.

— Вот еще! — крикнула. — С какой это стати за других платить?

— Я так и думал. Поэтому приписал себе.

— Не нуждаемся, — повторила. — Не нищие.

— Что же тогда делать? — спросил покорно, а сам не удержался — почесал шею. — Куда копейку девать?

— Это уж вам виднее. Вы у нас образованные.

Он шевельнулся, поерзал лопатками, чтобы унять зуд, нервно потер руки.

— Ну, хорошо, — сказал. — Месяц мы платим копейку, месяц — вы. Идет?

Она напряглась, наморщила лоб, лихорадочно выискивала скрытый подвох.

— А позабудем? Или с одного возьмем подряд, два раза?

— Запишем на бумажке.

— А потеряем?

— Не потеряем. — Он уже царапал живот ногтями, судорожно кривил лицо, будто улыбался. — Чего нам терять?

— А вдруг?

— Она сумасшедшая, — хищно обрадовалась Дарья Павловна. — Ты что, не видишь? Давно пора на Канатчикову.

— Ты у нас в уме... — заверещала та. — Весь город тебя знает, полоумную! Небось, нормальный человек не стал бы кошелки таскать...

— Потому и таскаю, что кругом ненормальные.

— Это как понимать?! Это кто ж тебе ненормальный?! За такие слова можно и к ответу. Это тебе не старые времена...

— Старые... — зашлась Дарья Павловна. — Да ты и не нюхала — старые! Это ты... Ты рояль сбросила! Ты!

— Какой рояль? — опешила та.

— Из окна... Об мостовую... Ты! Ты!

— В психушку, в психушку тебя... — визжала соседка. — Знать не знаю никакой рояли!

— Ты! Ты!!..

— В психушку!..

— Жэ дэтэст!

— Буржуйка окаянная!..

— Жэ дэтэст!..

— Вася!.. Иди сюда, Вася!

— Жэ дэтэст! Жэ дэтэст!..

Кирилл Викентьевич привалился спиной к стенке, дрожал от нестерпимой чесотки, с ожесточением, не сдерживаясь, драл тело ногтями. Пятна на лице отливали багровым румянцем, из глаз покатались слезы. Это была идиосинкразия. Повышенная чувствительность. Вечная его болезнь. Как у других бывает чесотка от земляники, клубники, особых запахов. Но землянику можно и не есть, запахи не нюхать, а от людей как убережешься? Как?!

— Ну, пожалуйста... — шептал непослушными губами. — Не надо...

— Вася! — визжала та уже по-поросычьи: шилом сверлила уши. — Ваася!..

Вышел из кухни на сонных ногах желтошафранный Вася, бывший танцор Черноморского ансамбля, оглядел всех полуприкрытыми, снулыми глазами.

— Вася! Что же ты терпишь? Меня оскорбляют, черт паршивый, а тебе — плевать?!

Вася потоптался на скользком паркете, хотел было что-то сказать, да не нашел что.

— Пол, — сказал Вася, — затопчете... Не ототрешь потом.

— Пол! Да пропади он пропадом, твой пол...

И плюнула в сердцах.

— Ну, извини... — промямлил по привычке Вася, а сам набычился, посуровел, сказал с расстановкой:

— Собака ты. Собака и есть. Пес цепной. Трясучка окаянная.

— Ах!.. — завизжала. — Ох!.. — задергалась. — Паршивец! Душегуб! Проститут!.. Води девок! Води... На половику спи с ними, под батареей...

И — кулаками. И — по лицу. По груди, по голове, куда попало...

— Ах!.. — завалилась на пол. — Ух!.. — заколотилась. — Скорую!.. Умираю... Скорую!

Дарья Павловна жадно глядела на них, упивалась зрелищем, счастливо блестела ненавидящими глазами:

— Ой, спасибо... Ох, радость мне... Ну, удружили...

— Перестаньте, — шептал Кирилл Викентьевич, изнемогая от чесотки. — Что же вы...

— Умираю! — верещала та. — Скорую! Ноль-три...

— Ну, спасибо... Ну, удовольствие... Ну, день-то какой!

— Перестаньте. Не надо...

— Скорую! Жии-вее...

Обомлевший Вася рванул трубку с телефона, не попадал трясущимся пальцем в нужную цифру.

— Ну, извини... Что не так: извини...

— Скорую! Вася! Хо-ло-дею...

— Сейчас, — мрачно веселилась Дарья Павловна. — Приедут к тебе. Всыпят за симуляцию...

Она даже засмеялась редкими, отрывистыми звуками: "Ха-ха-ха". И опять: "Ха-ха-ха". Будто кричала жутким голосом неприятная ночная птица. "Ха-ха-ха". В ее смехе не было веселья. Не было удовольствия. "Ха-ха-ха". И опять: "Ха-ха-ха".

— Ты! — визжала та с пола, колотилась о скользкий паркет. — Недорезанная! Из-за тебя, гадины...

— Вот, — сказала Дарья Павловна и подтолкнула

мужа плечом. — Видишь? Она сумасшедшая. Я вошла в ее бред.

— Даша... Ей помочь надо.

— Кирилл Викентьевич! — ее голос противно зазвенел. — Помочь нам с тобой надо. А ей и так все помогают.

И перешагнула через соседку, и независимо пошла к двери: юбка завивалась вокруг бестелесных ног.

— Вот радость, — сказала. — И не ожидала. Праздник. Сплошное удовольствие. Спасибо вам, сволочи!

И вышла на площадку.

Кирилл Викентьевич — воспаленная рана — шагнул следом...

Они вышли на лестницу, и он сразу начал их оправдывать, соседей своих. Он всегда всех оправдывал. Иначе он не мог.

— Они не злые, нет... Они темные, они замороченные. Хаос, Даша...

— И слава Богу, — бросила через плечо. — Слава Богу, что темные. Ты их просвети — все разнесут. В клочья! В щепки! Камня на камне... Забыл, что ли?

Он застеснялся, заковылял еще сильнее, сказал через силу:

— Им плохо, Даша...

— Им?! Это мне плохо. Мне!

— Им тоже.

— Они этого добивались!

— Ничего они не добивались... Сама знаешь.

Она обернулась с нижней ступеньки, яростно прокричала вверх:

— На моей могиле ничего не будет расти, так и знай! Не трудись, не сажай цветочки... Голая земля.

Голая! Пропитаю ядом на тысячу лет вперед. Жэ дэтэст! Жэ дэтэст!..

И пошла вниз по лестнице, тряся головой, изрыгая страшные проклятия: старая карга, кривуля, корежина, ходячий вопросительный знак.

Шли навстречу жильцы, глядели на нее с веселым испугом. Она никого не узнавала в доме. Да и он тоже. Последний грипп прошелся по этажам, что Мамай по Руси. Выщелкнул редких стариков, подобрал старинных знакомых, с которыми прожили полвека под одной крышей. А их пропустил. Их обошел до случая. Вот и выходит: идут навстречу жильцы, а поздороваться не с кем.

На углу дома стоял кондитерский ларек, за стеклом сохли на утреннем солнышке кремовые торты

Кирилл Викентьевич встал у ларька, с мольбой взглянул на жену.

— Незачем, — отрезала. — Только баловать.

— Я куплю, Даша. Фруктовый. К чаю...

Он всегда приносил торт. Когда шел в гости. Иначе он не мог. "Я провинциален, — повторял в свое оправдание. — Я очень провинциален. Самому противно..."

Но она уже глядела через его плечо. Назад. К своему подъезду.

Из подъезда вывалился, как выпал, Вася-полотер, побежал к ним, бестолково махая длинными руками. Бежал, будто падал, в последний момент подставляя ногу. Махал руками, будто отбивался от облепившей нечисти. Рубаха расстегнулась до пупа. Туфли щелкали по пяткам. Желтое лицо перекосило в ужасе.

— Да-арь... Па-ална... Воротись... Воротись, Дарья!

— Ты что? — удивилась. — Мастики хлебнул?

А он все махал, махал руками, отбивался из последних сил:

— Да-арья... Па-ална... Ну, извини... — И вскрикнул, как укололся: — Отходит!

— Я схожу, Даша, — стал проситься Кирилл Викентьевич. — Может, плохо ей...

— Куда?! — прикрикнула. — Иди, покупай торт.

— Я схожу, Даша, взгляну...

— Она бы к тебе пошла?

— Я мигом, Даша...

И заковылял обратно, к подъезду.

— Кирилл Викентьевич, — крикнула вслед, — вы мне противны.

Но он уже торопился, загребал непослушной ногой, бежал неуклюже, вприпрыжку, боком, как изувеченный краб. И Вася-полотер бежал следом. И Дарья Павловна нехотя повернула обратно, потащила наверх тяжелые кошелки.

— Ей плохо... — задыхалась на ступеньках. — Ах, какие нежности... Ах, ах! И пусть плохо. И пусть. И пусть...

В комнате было темно и душно. Пронзительно пахло пролитыми лекарствами и какой-то едкой кислотой. Соседка грузно лежала на кровати, смяв тюлевое покрывало, раскинув ноги, стонала-выговаривала на одной ноте:

— Ой-ой-ой-ой-ой... Ой-ой-ой-ой-ой...

Кирилл Викентьевич боязливо шагнул в комнату, наклонился над ней — чуть не упал:

— Что с вами?

А она — с трудом, синими перекошенными губами:

— Хо-ло-дею... Ссе-серд-це...

И разноцветные глаза скосила на грудь.

Он — к Васе:

— Скорую вызывали?

— Ну, извини... — бормотнул тот. — Но-мер не набирается...

Кирилл Викентьевич заковылял к телефону. Вызвал неотложку. Потом — скорую помощь. Побежал к себе, накапал валлокордину, сразу много капель, потом на кухню — разбавить водой, потом к соседке. Влил ей в рот, и опять в комнату, за валидолом. Дал таблетку, подскочил к Васе, крикнул:

— Грелку... Живо!

Вася заметался по комнате, матерясь, натываясь на стулья, сундук, этажерку, полированный шкаф, спяну не понимая, чего от него требуют. Кирилл Викентьевич опять побежал к себе, теперь уже за грелкой, потом в ванную, из ванной к телефону — поторопить неотложку и скорую помощь, а по квартире уже запахло удушливо половой мастикой, которую стал подогревать на кухне Вася-полотер. Это значило, что он уже успокоился и занялся теперь любимым делом. Но соседка застонала по-слышнее, и Кирилл Викентьевич поменял грелку, дал еще таблетку, и поправил одеяло, и начал ее утешать, потому что плакала она от боли и от обиды, потому что было ей страшно и не хотелось умирать, вдыхая эти удушливые запахи, и куда-то провалилась неотложка со скорой помощью, и он опять заковылял к телефону — поторопить..., и замер в потрясении.

Полотер танцевал в коридоре.

Скользил из угла в угол по диагонали: легко и строго, ловко и благоговейно.

Щетка шуршала по полу. Нога в туфле отбивала ритм. Прямоугольники натертого паркета сумрачно блестели в тусклом свете. Лицо сосредоточенное, вдохновенно счастливое.

Это был уже не полотер: солист Черноморского ансамбля.

Который знал себе цену, знал цену другим и упивался своим превосходством.

Запыхался, встал, склонил голову набок, будто вслушивался в далекие аплодисменты, в восторженные крики "Браво!"...

Тут приехала скорая помощь, соседку уложили на носилки, вынесли в коридор. Вася-полотер встал у стены, потный, распаренный, глядел на жену невнимательно, повторял невпопад:

— Ну, извини... Что не так: ну, извини...

В коридоре она забеспокоилась, зашевелила мертвыми губами, глазом показала на дверь. Кирилл Викентьевич догадался первым, запер дверь на два оборота, ключ положил ей в карман, и она вздохнула поспокойнее, поплыла на носилках вниз по лестнице...

В темном коридорном углу, за отпахнутой входной дверью притулилась Дарья Павловна. Кривила лицо, ломала пальцы, била костяшками по костяшкам, шептала со злой слезой:

— Всех... Всех переживу... Всех!

— Даша, — сказал он. — Теперь пошли.

Она потрясла перед его лицом сухонькими кулачками, яростно брызнула слюной:

— Ну, Кирилл... Ну, Викентьевич... Не прощу тебе, что завели детей! На позор, на муки, на унижение... Умирать буду — не прощу!

2

Гости появлялись под утро.

Всегда — ожидаемые.

Всегда — неожиданно.

Легкий дымок от свечи плавал по затемненной комнате, угадывался не зрением — обонянием.

Блестящий электрический самовар дробил многими гранями поверхность стола.

Тканая скатерть теплых густожелтых тонов не-сминаемо свисала по краям.

Чашки кузнецовского фарфора, — легкие, на про-свет полупрозрачные, с сеточкой склеротических жилок, — золотились тонкими ободками.

В чашках стыл нетронутый чай, цвета старого янтаря.

В хрустальной вазе рдел освещенным боком оди-нокий апельсин: угольком в камельке.

Трюфели — в конфетнице, щипчики — в сахарни-це, сухари — в хлебнице.

В масленке оплывало теплое масло.

Стулья с прямыми спинками, чуть отодвинутые от стола, приготовлены к приходу гостей.

Дверь заперта.

Зеркало занавешено.

Часы остановлены.

Телефон отключен.

За плотно задернутой шторой занимался рассвет неизведанного дня.

Но здесь, в комнате, был еще день вчерашний, и время определялось не часами — усталостью, вол-нение — легким ознобом, ожидание — сердцебие-нием, страх — болью в виске.

Она умела ждать, потому что хотела дождаться.

Она умела ждать, потому что боялась этого...

Гости появлялись без предупреждения.

И день не отличался от прочих, и дела, и настрое-ние, но с вечера ее уже охватывало томительное беспокойство — предвестник события, и она без цели слонялась по комнате, взглядывала в окно на темнеющие улицы, на разбегающихся по домам про-хожих, на гаснущие к ночи фонари: удерживала и

торопила, хотела и пугалась. А потом, вдруг, по неслышному зову задергивала плотную штору, начинала готовиться: в движениях проступала обдуманность. Стелила скатерть, заваривала чай, зажигала свечу и садилась ждать.

И ожидание сгущало таинственность в комнате, и волнение накапливалось невозможным зарядом, и боязнь наливалась каплей у подтекающего крана, чтобы сорваться наконец вниз и разбиться о раковину брызгами страха...

Они появлялись под утро, всегда под утро, когда притуплялся страх, истончалась надежда, угасало волнение, и усталость повисала на слабых плечах мягким грузом, и голова клонилась книзу, одурманенная ожиданием, и самовар повторял никелированными гранями одиноко сникшую фигуру во главе стола.

Сначала ничего не происходило.

Ровным счетом — ничего.

Ни человек, ни зверь, ни сверхчуткий прибор не уловили бы никаких отклонений.

Только вздрагивал ненароком язычок свечи...

Чай в чашках подергивался слабой рябью...

Апельсин в вазе вспыхивал не приметно...

И опять — ничего.

Но она улавливала это, будто включались толчком все чувства, и пространство вокруг неумолимо насыщалось неведомым, и уже давило на уши, как на большой глубине, и затруднялось дыхание, и легонько покалывало тонкими иглами, и напряжение росло — нервное, острое, и насыщение становилось предельно нестерпимым, пространство разбухало, его распирало во все стороны, как латаную футбольную камеру (страшно подумать, что произойдет, если давление не перестанет нарастать — Господи, пронеси мимо!), и оно, это неведомое,

которого было в избытке вокруг, которое переполнило донельзя замкнутый объем, не могло уже не материализоваться, не могло уже не... не могло...

И тогда все замирало.

Пауза.

Мгновение перед взрывом.

Мир замыкался в освещенном пространстве над поверхностью стола.

И в первозданной тишине возникал слабый шорох.

Легкий, почти неуловимый.

То ли шумело в ушах, то ли сипел, остывая, самовар, а может, это утекало время из замкнутого помещения, оставляя после себя мертвый, ледяной вакуум бесконечности.

Шорох нарастал, что-то зловеще надвигалось из глубин комнаты, окружало со всех сторон, наступало осторожно и безостановочно. Как песок в пустыне, путь которого не предотвратить. Шагов не слышно: только шорох, шелест, шуршание одежд, слабое дыхание. Их было много. Много!

Язычок свечи панически метался...

Чай в чашках дрожал в лихорадке...

Блик на апельсине горячно пульсировал...

Самовар жадно захватывал окружающие предметы в своем паническом одиночестве и дробил все мельче и мельче, словно и сам делился на бесконечные грани...

Все это нарастало, ширилось, достигало невозможного уровня своим почти безмолвным воздействием на обнаженные нервы, — пронзительные звуки трубы, железный ритм движущихся колонн, рев танков на марше, — и обрывалось общим согласованным воплем.

Была тишина.

Спокойствие.

Минута раздумья.

(Час, год, столетие?.. Времени не существовало!)

Оттуда, из ничего, они глядели на нее, затаив дыхание.

Думали. Решали. Оценивали.

Может быть, сомневались...

И начинали проявляться на стульях, в зыбком полумраке.

Медленно. Постепенно. По частям.

Как в старом проявителе.

А она глядела — не могла оторваться — в тяжелой истоме, в безысходной тоске, и ноги холодели, отнимаясь, над страшной бездной...

Лицо угольное, в трещинах-морщинах — прокаленной головешкой, волосы ломкие, легкие, горелые, плащ пепельный, из густой сажи, с застежкой на плече: остролицый щеголь, надменно замкнутый, высокомерно холодный. Дрожь пробегала по лицу отблесками скрытого в глубине пламени, воспаленные белки глаз горели непримиримо непрогоревшими углями, обугленная рука с длинными пальцами нарочито небрежно лежала на желтой скатерти.

Горбун с продранной клочьями бородой: нос проломлен, зубы выбиты, ухо обвисло ошметками. Весь липкий, мокрый, засахаренный — поверх грязной рванины. Кривлялся, подпрыгивал, трогал руками ложку, чашку, щипчики, подмигивал гнойными глазками, крепился изо всех сил, чтобы не захихикать.

Юркий, верткий человечек в длинном зипуне: извивался червяком на крючке, сучил беспрерывно руками-ногами — деревянный паяц на ниточках. Рваные ноздри, клеймо на лбу, в разинutom рту огрызок языка. Вдруг костенел в случайной позе,

как шампуром проткнутый, и опять извивался, дрыгался часто-часто.

Обрубок в богатом камзоле, с орденом на груди: руки отрублены по плечи, ноги по пах. Качался, заваливался на стуле: не мог удержаться без опоры. Черный, сожженный рот широко разинут, как остужался на воздухе. Пустые впадины глаз темнели закопченными провалами.

И кто-то пятый, там, за самоваром: бледный, непроявленный, почти размытый. Только взор горящий оттуда: волчьими огоньками в бездорожной степи. И страшно было представить, что же он явит собой, вдруг появившись, и боязно заглянуть туда, за самовар.

А за их спинами чудились невидимые, — толпами, легионами, неисчислимыми массаами до горизонта: молча глядели из темноты.

Было тихо.

Очень тихо.

Кто-то закашлял во мраке, как залаял, надсадно рванул остуженные легкие.

И опять — тихо...

Они глядели на свечу, — даже безглазый глядел, — на живой, трепетный огонек. Озябшие, продрогшие, из вечного мрака-холода — на слабое подобие тепла, уюта, покоя. Глядели — замороженно. Глядели — не могли оторваться. Глядели — припоминали давно позабытое.

И опять кто-то залаял, не удержавшись.

И тогда они медленно, по одному, с великой неохотой оторвали глаза от огня, прямо взглянули на нее...

Сидела перед ними перепуганная насмерть девочка-старушка, легкая, прямая, узкоплечая: телом не перекрывала спинку стула. Голубые жилки на вис-

ках, на переносице, на тонкой шее, изнеженная бледность долгих, беспокойных ночей, мучительных раздумий, быть может — горьких, бессильных слез добровольного затворничества. Одета она была в серый костюм английского покроя, который еще больше суживал, из-под жакета выглядывали пожелтевшие от старости кружева, под горлом темнела камейя с неразличимым рисунком. Тонкие руки перехвачены узким рукавом, ногти длинные, ухоженные, обручальное кольцо почти незаметно, редкие волосы утянуты в жидкий пучок. Из-под жакета жалко топорщились накладные плечи. Была она беспомощно слабая, беззащитно одинокая, отчаянно независимая, как малый котенок посреди своры бездомных собак. И кто-то сзади дышал ей в ухо редкими холодными выдохами. И не было сил обернуться.

— Чай, — сказала хрипло, сухим горлом, — остыл. Я разогрею...

Они молчали.

— Конфеты берите, апельсин...

Они не отвечали.

Глядели пристально. Не моргали.

Только тот, обмазанный чем-то горбун подмигивал непрерывно гнойными глазками. То ли заигрывал с ней, то ли нервы у него шалили.

— Ты Ева?

Огонек свечи прянул от неожиданности.

Она не заметила, кто спросил. Может, щеголь с угольным лицом. Или тот, из-за самовара... Голос тусклый, механический, не окрашенный эмоциями.

— Ева... — откликнулась торопливо. — Ева Кирилловна Никодимова. Отец — Кирилл Викентьевич, мать — Дарья Павловна, муж — Игнат, сын — Максим, внучка — Маринка, жена сына...

— Достаточно.

Говорил щеголь. Это он не размыкал рта: губы спеклись на лице в ломкую обгорелую корку.

И опять они глядели на нее.

Выжидали чего-то.

Хмурились...

— Я старая, — сказала тихо. — Дайте дожить.

— Я слабая, — сказала погода. — Я не осилю.

Дрожь пробежала по лицу искрами незатушенного огня. Белки глаз сверкнули яркокрасными прожилками. Волосы сухо затрещали, как на жарком пламени. Обугленная рука на скатерти, трескаясь по сгибам, попыталась сжаться в кулак.

— Чепуха!

В темноте кто-то зашевелился, зашуршал, с силой пробивался вперед.

— Нечего разговаривать! — сунулось между стульев багровое, сочащееся сукровицей, заживо освежеванное лицо. — Обязана — и все!

И исчезло, будто дернули оттуда, из мрака. И только рука цеплялась за спинку стула, с трудом, по одному, отдирались пальцы. И голос кричал, замирая:

— Обязана! О-бя-за-за...

Она поникла головой, сказала, не поднимая глаз:

— А без этого нельзя?

— Нет.

— А если...

— Никаких — если.

Ежилась, сжималась на стуле, усыхала на виду.

— Ты нас ждала?

— Ждала, — созналась.

— Зачем?

Нет ответа.

— Ну!

— Я боюсь...

— Чего?!

Он отпахнул пепельный плащ, и искры пробежали по обгорелому телу, полыхнули зловеще непрогоревшие угли.

— В твоё время жгут на кострах?

Зажмурилась:

— Нет...

Грузный обрубок в богатом камзоле разинул чёрный, сожженный рот, задышал часто, со свистом, опаленным горлом, засипел, зашипел, завалился на бок.

— В твоё время четвертуют? Заливают горло свинцом?

— Нет...

Замычал, задергался, заюлил руками-ногами верткий человечек в зипуне: огрызок языка бесполезно шевелился во рту. Вдруг заостенел скрюченный, растопыренный, пронзенный невозможной болью.

— В твоё время сажают на кол?

— Нет...

— А мне... — запрыгал, закривлялся, зашепелявил горбун через выбитые зубы, — сперва было щекотно... хи-хи-хи... щекотно... хи-хи-хи... щекотно...

— В твоё время обмазывают патокой и привязывают потом над муравейником?

— Нет...

— Или... — выскочила из тьмы мертвая, синяя, безгубая голова сифилитика: — Сорок лет... в земляной яме... Крысы, как свиньи! Все ноги отъели... Уши... Губы!

— Нет...

— Косточки... — сунулся вперед слюнявый дебил. — Косточки мои мозговые... Выбили об ложечку и сожрали, сволочи! Вкусненькие мои косточки...

— Нет... Нет... Нет!!

И в тишине тусклый, механический голос:

— Чего же ты боишься?

— Не знаю... Всего боюсь.

И взорвалась темнота.

И закричали пронзительно, базарно, гнусаво и шепеляво, хрипло и неразборчиво — на все голоса:

— А тебя пилой пилили?

— Кислотой обливали?

— Детей твоих распинали?

— Жгли? Насиловали? С ума сводили? Свиньям скармливали?!..

— Нет... Нет... Нет!

И общим воплем:

— Так что же?!!

... ее подружки, милые ее подружки, — еще живые, но уже обреченные, — умирали по очереди в ее снах. Медленно тускнели веселые лица, покрывались сероватым налетом дорогие черты, застилались мутной вуалью смерти. А она горько и неутешно оплакивала их, металась, пробовала удержать, — неловкая и неудачливая, как и все мы в наших снах, — и просыпалась под утро задумчивая, растревоженная, на слезами омоченной подушке. И долго потом мучалась за живую еще подружку, с тоской и стеснением заглядывала в ее глаза, с ужасом ожидала нового сна. Порой через месяцы, а то и через годы, снилась ей другая подружка, и плотная вуаль застилала с детства знакомые черты, и ощущение собственной вины, — будто это она отправляла их на смерть, — не покидало ее. Но одно утешало, одно единственное, что и она, может, приснилась уже кому-то, подернутая дымкой смерти, и она, может, и она...

... но что-то рано уходили ее подружки, не дотянув до пенсионного возраста, что-то слишком уж рано при неуклонно растущей продолжительности жизни, и первой ушла Саша, болтушка Саша, кото-

рая по всем правилам должна была пережить весь класс, веселая хохотунья, легкомысленная пустышка, тараторка и балаболка, с вечно сморщенным лобиком над голубыми поросычьими глазками, пухленькая, сдобная, румяная, будто сейчас из духовки, которая всю войну честно прождала своего лейтенанта, а, не дождавшись, повыла, поголосила, поубивалась над их довоенной фотографией, а там, глядишь, махнула бесшабашно рукой, отрезала тяжелую косу, завила белесые кудряшки, да и пошла жить весело, не задумываясь: меняла мужей, друзей, наряды и квартиры, рожала детей, распахивала по свекровям, удирала на юг с очередным кавалером, развлекалась, наслаждалась, упивалась, крутилась юлой в мелких водоворотиках наслаждений, полнела, добрела, пышно раздавалась в бедрах, а там, вдруг, ни с чего вроде, (может, с одного-единственного вопроса, напрямик, самой себе, случайно одинокой ночью без кавалера: "Как бы оно все повернулось, воротись лейтенант с войны?") помрачнела, поскучнела, посерела, будто покрылась липкой, несмываемой пленкой, уже не весело, а зло и отчаянно, наперекор кому-то, швырялась мужьями, друзьями, мужиками, лихорадочно металась с места на место, будто торопилась убежать от неизбежного, капризная и своевольная, в истерическом надрыве, нагло и беззастенчиво предлагала себя каждому, ругалась, свирепела, стервенела в бессильной ярости, и ушла первой, рано и внезапно, как перегорела, не попрощавшись, разругавшись с подружками, злая и непримиримая, одинокая и несчастная, ночью, в прокуренной комнате, у стола с обедками, под заливистый храп случайного командировочного, который удирал потом по водосточной трубе, чтобы не влипнуть в сомнительную историю...

... а за Сашей ушла Лера, светлая ее подружка Ле-

ра, неприступная, холодная красавица, лучшая их ученица, гордость школы и родителей, у которой с младшего класса был уже друг, паж, рыцарь, мальчик с ясными глазами, преданный ей подросток, влюбленный юноша, погибший перед самой войной — со слов очевидцев — в бездонных Магаданских лагерях, которого она оплакивала безутешно, перебирая прошлые воспоминания, хотя можно было оплакать и саму себя, потому что это ее, первую отличницу, с треском вышибли из университета за связь с арестантом, который был связан с соседом-филателистом, который менялся марками с дипломатом из посольства...; и прошли годы в бытовой суете — с редкими развлечениями, со случайными связями, и наступил пятьдесят пятый милостивый год, обычный для одних и ошеломительно прекрасный для других, и тут ее разыскал какой-то доходяга, воротившийся из лагерей, и передал последний привет от мальчика, что не умер до войны, — как уверяли очевидцы, — а сидел еще долго, невозможно долго, пока не сгорел от туберкулеза, и вспоминал ее, и поминал ее, и ждал встречи-свадьбы — одно это держало на поверхности, — и она рухнула, раздавленная и уничтоженная, она билась в долгой истерике, ибо он, мертвый для нее, жил еще двенадцать невыносимо страшных лет, и когда она развлекалась — он голодал, загорала на пляжах — он коченел, спала с мужчинами — умирал в лазаретном бараке, — и с этого момента она стала тускнеть, бледнеть, покрываться нездоровой желтизной, разрушаться на глазах: сетка морщин, как паутина на мраморе, непреодолимая паутина, через которую уже не прорвешься к живым...

... а за Лерой ушла Зойка, хитрая, расчетливая, смекалистая Зойка со шныристыми глазками, что

с первого класса копила перышки, ластики, промокашки да держалась упорно за подруг из-за невостробованной пока корысти, домовитая ее подружка Зойка, что свила с мужем уютное гнездышко и натакала туда детей, мебели, посуды, одежды, машину под окном, беспокойная ее подружка Зойка, которая вечно приbedнялась, завидовала, клянчила, была неистошима и изворотлива в приобретении труднодоступного дефицита, которая все силы и помыслы вбила в то, что вообще не должно отнимать времени — пойди и купи, бедная ее подружка Зойка, которая надорвалась на даче, торопливо перетаскивая — пока не застучали — купленный по дешевке ворованный кирпич, и долго потом болевшая, лежавшая пластом на кровати, наблюдавшая с тоской, как хирело без ухода хозяйство, спивался без ласки муж, уходили из холодного дома дети, выносились на продажу вещи, ржавела под окном машина..., скряга-Зойка, бедолага-Зойка, чистюля-Зойка — на затертой, нестираной простыни голландского полотна, под пыльным, изъеденным молью английским пледом, сама посеревшая, увядшая, тронутая тленом, с глазами жалкими, подернутыми непросыхающей влажной пленкой...

... а за Зойкой ушла Фаня Рабинович, комсорг от рождения, заводила и организатор, которая в школе и в институте, на работе и дома неумемно занималась общественными делами, и которую в сорок девятом году выгнали из редакции журнала, никуда долго не брали, томили в страшном предчувствии, — "Рабинович?.. Ха-ха, Рабинович!" — которая смогла только устроиться — и то по знакомству — секретарем-машинисткой в строительной конторе (а ее муж, юрист с двумя дипломами, сидел на Кузнецком, в каморке под лестницей, и чинил авторучки); пуганая ее подружка Фаня Рабинович, что

ежилась с той поры и старела не по возрасту, и хотя страха вокруг становилось меньше, она боялась все больше и больше, словно аккумулировала его, оттягивала на себя, чтобы остальные могли жить сыто и бездумно, и доживала последние годы свои тихо, пугливо, незаметно, никуда не ходила, никого не принимала, мужа не отпускала от себя, усыхала, уменьшалась в размерах, и медицина ничего не могла поделать, медицина прописывала ей положительные эмоции, которых у нас явная нехватка, и ее муж из кожи лез вон, добывая ей эти эмоции, не гнушаясь ничем, даже злорадством (которое, как известно, тоже относится к положительным эмоциям), но она не хотела злорадствовать, — хоть и были причины для этого, — она ничего уже не хотела, и даже в гробу лежала крохотная, съежившаяся, застывшая под пеленой страха, и если бы покойники могли вздыхать, она вздохнула бы облегченно, когда закрывали крышку, потому что эта крышка надежнее всего защищала ее от вселенского страха, — и когда ее сожгли, и прах замуровали в белую глиняную вазу, а вазу установили в стену с бесконечными пчелиными ячейками, ее муж стал усыхать, ежиться, покрываться той же пеленой, потому что жену сожгли, но страх остался, страх — он заразен, страх неуничтожаем, и если его нет пока с вами, значит он притаился поблизости...

— Я боюсь, — сказала горестно, и язычок свечи метнулся в испуге. — Боюсь...

— Объясни, — потребовал тот, угольный.

Она оглядела их, растерянная, сказала неуверенно:

— Когда мама была беременна мною, они выбросили рояль из окна. Да, да... Вы слышали, как падает рояль на булыжник?

— Я слышал... хи-хи... как падает человек... Глухо... хи-хи... и чуть сыро... Как кусок... хи-хи... мяса об сковородку...

— Рояль, — объяснила, — падает на живот. С жалобным криком. Такой короткий, удивленный вскрик. Сразу всеми струнами. Я его слышу, тот рояль.

— Ишь, какие нежные... — проверещал кто-то за спиной. — А тебя слонами давили? Кишки из-под ступни лезли? А ну, обернись, ты, нежная, обернись!..

И опять они зашумели, завопили, обступали со всех сторон, прижимали к стулу, мелькали в освещенном пространстве изуродованными ликами, дышали в лицо шумно и яростно запахами крови, пота и гнили:

— Мы сделали свое! Мы заплатили! Плати ты! Ты! Твоя очередь! Твоя-ааа!..

Она оправила волосы, одернула жакет, сказала — как ей это удалось? — почти независимо:

— Какие вы настойчивые сегодня.

— Пора, — ответил щеголь.

— Я не уверена...

— Мы уверены.

— Но почему, почему меня?

— А почему нас?

— Вы жили в другое время.

— Умирать всегда несладко. В любые времена.

После паузы она сказала, почти соглашаясь:

— Вы сильные. Вы храбрые...

— Хи-хи-хи... Когда пришла... хи-хи... моя очередь, я ... хи-хи... в штаны наложил...

— Я не хочу! — крикнула. — Не хочу...

— Ты нас ждала?

— Ждала... — созналась.

— Дай руку. Дай!

Схватил ее ладонь горячими пальцами, потянул к свечке.

Она глядела задумчиво, как расплывалось пятно по коже, пузырилось, лопалось от жара. Было почти не больно. Больно, но терпимо.

А оттуда, из-за самовара, глядел таинственно, завораживая, тот, непроявленный. Струйки пара выбивались из-под крышки, смывали и без того неясное изображение.

— Ну! — крикнула она, не выдержав, туда, за самовар. — Не молчи! Чего молчишь? Говори, что дальше?

А оттуда, из зыбкого полумрака, протянулись две худые руки, обмотанные раздутыми жилами, и на ладонях — страшные дыры-отметины.

И горбун уже жадно схватился за одну его руку. И человек на колу схватился за другую. И зашестели во мраке. И задвигались. И поняла она, что там происходит.

А потом высунулись из темноты две руки, ладонями кверху, — "Ева, — сказал голос. — Руку!" — и она тоже ухватилась за них, поспешно и неоглядно.

Они держались, сплетя пальцы, крепко, молча, по-мужски, и на плечах человека-обрубка тоже лежали чьи-то руки.

Это и была цепочка.

Цепочка, которая замкнулась.

А потом кто-то, совсем уж жуткий, — безликий, безглазый, с проломами на черепе, кожа — струпьями, мясо — клочьями, — высунулся из мрака, дунул на свечу...

Чужие пальцы в ее руках стали утончаться, терять форму, оплывать сосулькой в кулачке ребенка.

Миг — и нету.

Она сжала пустые уже ладони, крикнула в темноту:

— А что я могу? Что?!

В ответ — шорох. Тихое, едва приметное шелестение. То ли шумело в ушах, то ли сипел, холодея, самовар, а может, время вливалось обратно, в пустую теперь комнату, неспешно заполняло объем...

Начинался день сегодняшней.

3

Игнат Никодимов знал про себя все наперед.

Как будет месяцами лежать без движения, на одеревенелой спине, распластанный, беспомощный, прислушиваясь к частым перебоям надорванного сердца. Затекает поясница, немеют губы, холодеют обескровленные ноги, вены на руках истыканы иглами, и страх тонкой увертливой змейкой заползает под одеяло.

Как будет корчиться ночами от невыносимо острых почечных колик, в судорогах, в липком поту, внятно ругаясь отборным матом в редкие паузы. Скомкана простыня, разодрана зубами наволочка, оборваны в лохмотья губы, и мелкий зазубренный осколок долго и упрямо продирается наружу, по узким каналам, обдирая по пути нежные ткани.

Как неумолимо станет подкрадываться беспощадная слепота — бельмом, катарактой, помутнением хрусталика, отвоевывая исподволь, без боя, дальние пространства. Сдвигаются горизонты, меркнет солнечный свет, глохнут яркие тона, и мир вокруг расплывается, размывается, теряет четкие очертания, будто за старым, оплывшим стеклом.

Как сползет на мозги замораживающим ледником преждевременный склероз — рассеянностью, забывчивостью, рваными провалами в памяти, хороня под собой события и даты, оставляя на поверхности нелепые валуны-обрывки несвязных воспоминаний. Забываются имена, стираются в памяти лица, с мучительным напряжением вспоминаются в разговоре привычные с малолетства слова, и чье-то имя в записной книжке доводит до иступления вечной своей неразгаданностью.

Как неприметно накопятся в теле омертвевшие, отработанные клетки — грузом, баластом, тяжестью и одышкой, принеся с собой глухую, неподъемную усталость. Утекает в песок первозданная легкость, пропадает навсегда ловкая удачливость, громоздятся до небес этажи недостижимого, и всю оставшуюся жизнь, день за днем, надо таскать на себе бессмысленные килограммы накопленного мертвого веса.

Игнат Никодимов знал про себя все наперед, за многие годы до старости, и с тоскливой покорностью ждал неизбежного.

И в лучшие его часы, в минуты удач и триумфов, глубоко запрятанным сидело ощущение болезни, старости, мучительного конца. Это было захоронено далеко. Это было утоплено в глубине. Это был нарыв на кости, который, созревая, упорно прорывался наружу, тюкал неумолчно частыми, злыми молоточками. И это было наказанием Игнату Никодимову за подлую его жизнь. Знать про себя все наперед. Примерить к себе все мыслимые болезни. Переболеть заранее. Перестрадать. Перемучаться. Прикончить свою жизнь задолго до конца. Воскресать с надеждой всякое утро и умирать от страха к ночи.

Где же вы, прошлые времена, когда он, удачливый и беспощадный, беспечно шагал по трупам?! Ах, молодость, молодость! Как тебя не хватает! Сколько дел можно переделать без оглядки на старость, оставаясь навечно молодым! Сколько великих и подлых дел!

По ночам ему снились люди, которых он обокрал.

Человек во френче, с оспинами на узколобом лице, отретушированный портретный вождь, которого он впитал целиком, неоглядно: и лицо, и одежду, и душу, и мысли.

Человек в шляпе по уши, бородавчатый толстяк, простак с хитрым прищуром, которого он скопировал внешне, неохотно, будто чувствуя крестьянским своим нутром, что это временно, ненадолго.

Человек в отлично пошитом костюме, с непроработанным лицом, заурядный и безликий, у которого он перенял полную невыразительность, спасительную посредственность, внешний лоск и внешние приличия.

Человек на трибуне, вальяжно представительный, у которого он позаимствовал широкий, призывный жест вперед и вверх, как бы подхватывающий зал, подталкивающий его на свершения.

Человек в кабинете, недоступно строгий за чудовищным столом-крепостью, у которого он взял привычку постукивать по столу карандашиком, что сбивало с толку робких подчиненных и ставило на место чересчур ретивых.

Человек в машине, мумией за стеклом, у которого он углядел способность стекленеть на народе, каменеть, даже слегка бронзоветь, являя собой будущий свой памятник.

Кто-то, размытый за давностью времен, от кото-

рого пришло солидное покашливание, умение промолчать, умение вовремя хохотнуть на начальственный анекдотец независимо подобострастным смешком.

И неотличимые ряды одинаковых фигур в темных габардиновых плащах до пят, в кепках, в тупоносых ботинках, одноликие, одноразмерные, однойцовые близнецы, будто отштампованные в одной форме, у которых он забрал общее сходство, принадлежность к клану. Плащи со временем светлели и укорачивались, заострялись носки ботинок, на кепках отсыхали козырьки, превращая их в шляпы-береты, но непременно оставалась спасительная одноликость — залогом успеха.

По ночам ему снились люди, которых он обокрал.

Сначала, наверно, потому, что вглядывался, высматривал, примеривал — а нельзя ли еще что-нибудь перенять, употребить с пользой, чтобы плотнее влиться в заветные ряды, стать неотличимо своим, а потом они уже снились просто так, по привычке, скорее как ошеломленные свидетели его вечного перерождения.

Потому что Игнат Никодимов менялся постоянно.

В свое время он носил френч и сапоги, он натягивал шляпу по уши, он примеривал костюмы у хорошего портного, и призывно поднимал руку кверху, и советовался с народом, и тюкал по столу карандашиком, и бронзовел за стеклом машины... Все в свое время. И оспины были у него когда-то. И неуловимый восточный акцент. И сочный народный юморок с матюжком сквозь зубы. И блистательная заурядность. Даже бородавка выросла у него в нужный момент. Даже уши оттопырились временно. Даже брови загустели. Все приходило в свой срок

и уходило в свой срок, исчезая без следа — до новой необходимости.

По ночам ему снились люди, которых он обокрал.

Человек без френча: щупленький, косорукий, совсем не страшный, с оспинами на узколобом лице.

Человек без шляпы: толстенький, мордастый балагур-пасечник, любитель выпить да пожрать, да пощупать крутозадых молодок.

Человек без бровей: лицо как стертая монета — ни цены, ни страны, ни года выпуска.

Человек на трибуне, растерянный и смущенный: без призывного жеста, без спасительной бумажки, без пропущенных через усилитель бурных аплодисментов.

Тот, в кабинете, без стола-крепости: уродливый карлик на паучьих ножках.

Этот, в машине, в напрасных потугах забронзоветь, вертлявая пародия на самого себя.

Кто-то, неясно размытый: может, за давностью времен, а может, потому, что все забрал у него Игнат, высосал полностью, как паук муху, оставил за собой сухую шкурку.

И неотличимые ряды голых одноликих фигур с портфелями — фиговыми листиками.

Всех обобрал Игнат Никодимов, никого не пропустил для скорой своей пользы.

Они ушли навсегда, — одни — на пенсию, другие — на тот свет, — но они остались в Игнате: частью своей, сутью своей, знаками позабытых времен, что ждут в Игнате нужного часа, чтобы объявиться заново, заново родиться на свет.

Но порой вздрагивает Игнат Никодимов, потому что чувствует уже не во сне, а наяву, как ощупывают и его внимательные взгляды молодых глаз.

И ежится, и нервничает, и стискивает зубы, не желая сдаваться.

Ибо и с него кто-то уже снимает мерку, как гробовщик с покойника.

И его разворовывают по частям.

И его используют для скорых нужд подрастающие Игнаты...

Он лежал на спине, руки поверх одеяла, голова уложена ровно, посредине подушки, лицо — посмертная маска: строгое, отрешенное, в меру суровое. Дышал легко, ровно, будто совсем не дышал, спал солидно, с достоинством, как на показ, торжественно плыл во сне в те края, куда следует плыть, и ничего не слышал вокруг — не желал слышать.

Но проснулся сразу, мгновенно, как уколол кто: от боли...

Он лежал на спине, укрытый до подбородка тяжелым ватным одеялом: Знаменитый Игнат Никодимов, гордость деревни, большой начальник по строительной части. Грузный нос, каменный боксерский подбородок, мятые складки щек, пресыщенная губа, приплюснутые к черепу большие, обросшие волосами уши, плотный, газонный ежик волос, тяжело набухшие веки под неожиданно седыми бровями. Где-то там, в глубинах комнаты, торопливо захлебываясь, тикал будильник, стучал лихорадочно, торопил, обгонял сам себя, а может, это был не будильник, может, это был его пульс. И где-то еще там, за окном, как живой вздохнул ветер, застонал тяжело, отчаянно, в глухой тоске, а может, это был не ветер, может, это стонал он сам.

Он лежал на спине, затаив дыхание, и вслушивался в тихие, вкрадчивые шаги внутри себя. Это исподтишка подбиралась боль на мягких, звериных

лапках: наказанием, возмездием, знамением будущих болезней. Боль играла с ним — кошка с мышкой. Боль забавлялась его беспомощностью. Боль окутывала ватной пеленой страха. Предчувствием беды. Торопливым желанием умиловать кого-то. Ненавистью к тем, кому не успел еще отомстить.

На тумбочке у кровати всю ночь горела настольная лампа: Знаменитый Никодимов не любил темноты. На тумбочке у кровати горкой лежали лекарства: Знаменитый Никодимов боялся смерти. На тумбочке у кровати стопкой громоздились журналы "Здоровье": Знаменитый Никодимов следил за прогрессом медицины. Чтобы не упустить момент. Чтобы не упустить тот момент, когда начнут, наконец, лечить от смерти. Где-то там, в недостижимых верхах, были особые больницы, кудесники-врачи, недоступные ему лекарства, но и они пока не спасали — только оттягивали момент. Некрологи в газетах пугали его, но заодно и приносили удовлетворение высшего равенства, утихомиривали и ласкали взор: великие люди умирали не хуже самых обыкновенных, значит там, у них, еще не было чудасредства, спасительной таблетки-микстуры — "перед употреблением взбалтывать".

Но прогресс уже надвигался. О прогрессе писало "Здоровье". Уже пересаживали сердце. Уже переставляли почки. Приживляли оторванные конечности. Возвращали с того света абсолютно безнадежных. И это подстегивало настырное желание пробиваться в самую закрытую лечебницу, к самому заветному лекарству, которое достанется сначала только избранным. На каждую смерть не напаешься. На всех безусловно не хватит. А ждать у него не будет времени. Он не может торчать в общей очереди. Это молодые пусть подождут, когда

в любой аптеке, в штучном отделе, будут продаваться таблетки от смерти — без рецепта врача. А ему, Игнату, надо быть первым у той заветной дверцы, когда выйдет некто в белом халате и скажет ласкающим душу голосом: "Кто тут Знаменитый Никодимов? Вот вам таблетка".

Он лежал под одеялом, как матерый волк в западне, с любой стороны ожидая удара. Но боль не торопилась. Боль выбирала момент. Замахивалась, но не била. Колола, но не ранила. Нападала, но понарошке. А он стервенел, беспомощно злой, свирепо беззащитный, и одна мысль подстегивала, торопила, ярила кровь: бороться! Из последних сил! За закрытую больницу. За дефицитные лекарства. За право на бессмертие.

А его, Игната Никодимова, могли спровадить на пенсию.

Шло к этому.

Дожить бы в полном здравии, умереть на посту в силе и блеске, а не сгнуться в общей толпе пенсионеров, на которых, конечно, не напасешься ни роскошных казенных венков, оплаченных по безналичному расчету, ни особых кладбищ, ни некрологов в два столбца. Вот побегают тогда его родственники, настоятся в скорбных очередях, насуют в наглые руки скомканные десятки, чтобы был гроб как надо, да автобус вовремя, да могилка к сроку, и опустят небрежно Знаменитого Никодимова в развороченную яму, залитую доверху талой водой, под матюжок хмельных гробовщиков. Вглядывался Игнат по телевизору в похороны великих людей, завидовал недостижимым почестям: желчь разливалась по телу.

Ему тоже нужны кладбища, куда не каждого хоронят. И приспущенные флаги не помешают. И залпы артиллерийского салюта. И ордена на поду-

шечках. И улицы, перекрытые милицией. И гражданская панихида. И речи представителей общест-венности, утвержденные заранее. Чтобы лежал Игнат в гробу, с удовлетворением сложив руки, получал удовольствие от собственных похорон, от бессильной зависти врагов-единомышленни-ков.

Всего он хотел, ненасытный, от жизни.

Всего — даже красивой смерти...

Всю свою жизнь он пробивался к закрытому кладбищу.

Всю сознательную жизнь.

Хитрый и оборотистый от рождения, ловкий и цыганистый, уже с детства он не мог допустить, что-бы у кого-то было то, чего нету у него. Всю свою напористость, нахрапистость, ярую силу бросал он на достижение ближней цели: достать, выменять, выклянчить, выцарапать, вырвать силой, если надо — украсть. Жизнь сама ничего не давала: все с бою, кулаками, ногтями, острыми зубами.

Мальцом в бедной избе все выглядывал в миске у брата, не перепал ли тому кусок пожирнее, лез в драку, щипался, кусался, когда не мог осилить, сбрасывал миску на пол, чтобы никому не доставалось.

Ребятенком на пыльной улице не мог смириться с чужими успехами в нехитрых играх, вечно лез верховодить, переломать по-своему, исподтишка пакостил тем, кто был половчее его, пошустрее, поудачливее, донимал их своей настырной ненавистью.

Учеником в классе вечно лез на первую парту, да тянул старательно руку в безуспешной попытке обойти других, да постоянно делал гадости смирному чистюле-отличнику, которого не мог переплю-

нуть: то тетрадь ему порвет, то ручку сломает, то зальет чернилами учебник.

Подростком в толпе одногодков все высматривал кто во что одет, скрипел зубами на чужую обновку, норовил располосовать ненароком, мазнуть дегтем, закидать грязью, оборвать с мясом пуговицу.

Парнем на гулянках хороводился с девками, отбивал себе самую приглядную, чтобы уж лучше ни у кого не было, умирал от зависти к кудрявому плясуну, да к развеселому гармонисту с тульской гармонией, все примерялся проткнуть ее неприметно острым гвоздем.

Били его не раз, гуртом и поодиночке, а он, размазывая кровавые сопли по острому лицу, только щурился заплывшим глазом, будто завидовал их силе и сплоченности, будто искал, как бы и тут перенять что можно, а чего нельзя — испортить, загадить, запакостить.

Летом в деревню наезжали дачники, — на свежий воздух, на парное молочко, — и бегал он к ним с лукошком, продавал грибы. Отскочившие шляпки крепил спичкой к ножке, чтобы гриб был непорченный, торговался неуступчиво, расхваливал первосортный товар, а сам все выглядывал у них, чего был лишен: и одежда другая, и пища, и привычки. Вся деревня жила бедно, почти что вровень, а тут открылись Игнату новые дали для его неутихающей зависти, открылись — и поманили.

Рядом был город, заманчивым силуэтом на горизонте: дома, купола, железная башня торчком; и выбегал иной раз на Воробьевы горы, валился на бугре на пересохший бурьян, глядел пристально, не моргая, словно примерялся с какого края подступать. И жаром обдавало лицо, потели ладони, колотил крупный озноб — предвестник будущих удач.

А тут подошли смутные времена, когда зашевелился народ по деревням, поползли слухи, заскакали уполномоченные. Еще не привязали крестьян к земле на вечные времена, еще не запрягли в государственную барщину — без паспорта, без права на выезд, без надежды на сытую жизнь, а Игнат Никодимов уже учуял цыганистым своим нутром: надо мотать!

И он рванул в город.

Останься он дома, кто знает куда завела бы его натура? Мог пробиться в председатели колхоза, чтобы уж главнее никого на деревне не было. Мог затаиться в гордыне, презирая белый свет, кулаками вымещая неудачи на жене и детях. Мог спиться на зло всем, чтобы в пьяном кураже выказывать в глаза свое превосходство и свое пренебрежение. Сидели и до него по избам великие гордецы и завистники: удовлетворялись по незнанию малым, завидовали по неразумению крохам.

А тут, в городе, притих поначалу Игнат, оглушенный, потерянный, не мог разобраться в отношениях. Работал землекопом на стройке, играючи махал лопатой, ел в дешевой столовке, спал в общем бараке: настырные глаза беспокойно шарили по сторонам, подмечали недоступные пока городские прелести. Может, было это самое томительное время в его жизни: что-то носилось в воздухе, почти неуловимое, дразнило ноздри, выскальзывало из-под пальцев, держало в вечном напряжении, наполняло рот тягучей голодной слюной. Вот-вот, за этим углом, с минуты на минуту, вот-вот... Но город сопротивлялся пришельцу, не поддавался просто так, с наскока, как не поддается собачьим зубам тугой каучуковый мяч. Может, проходили мимо незамеченными его, Игната, возможности, а он и не знал, не различал, не умел воспользовать-

ся. И росла злость, росло желание, зависть и обида.

А потом, наконец, пришел долгожданный случай, со стороны, может, и незначительный, а для него — решающий. Было собрание, обычная производственная бодяга, все шумели вразнобой про недостижимые брезентовые рукавицы, а он — будто уколол кто — вскочил вдруг и обвинил громогласно своего начальника, старого спеца. Он, сказал Игнат, нормы нам занижает. Можем вроде больше, а делаем меньше.

Холодом опажнуло комнату. Посуровели выборные лица. Нормы занижает?! Саботаж... Агент... Промпартия!.. Спец побледнел — глазки заметались за стеклами пенсне. Спец начал оправдываться — язык не поспевал за словами. И Игнат охнул про себя. Инженер! Бог! Испугался! И кого? Землекопа!.. Так вот что носилось в воздухе, дразня Игнатовы ноздри, так вот он, его путь, верный и безошибочный... И Игнат все понял. Игнат изменился в момент. Стал орать на каждом собрании, сначала неумело, а там и посмелее, совать под нос мозолистые ладони, к месту и не к месту тыкать своим крестьянским происхождением, пугая до обморока нервную, забитую интеллигенцию.

Его сделали десятником, но он не успокоился: только вошел во вкус. Теперь уж он знал: хочешь жить — пугай других. Это стало непреложным правилом, законом, естеством. Была потом вечерняя школа, был рабфак, работы и учебы разные, но путь оставался один: испугай, подумни, придави каблуком, кинь потом подачку, приласкай, успокой — и человек твой, с головы до пят, со всеми потрохами. Это был уже фундамент, на котором можно построить жизнь. И Игнат начал жить!

Время ему благоприятствовало: страх носился в воздухе. Их было много, источников страха, реаль-

ных и кажущихся, созданных специально и рожденных испуганным воображением, и волны страха, налагаясь друг на друга, сталкивались, отражались, дробились, создавали сложную картину, когда уже и не разберешь, откуда они идут, эти волны, из какого источника. В этом и была хитроумная выдумка изошренных специалистов, когда каждый боялся каждого и каждый каждого пугал. И были зоны нестерпимых пиков страха, когда умирали от тихого ужаса. И были зоны кажущегося покоя, где жили в иллюзии устойчивой жизни. И были зоны частых колебаний, где зуб не попадал на зуб. Зоны сдвигались, зоны перемещались в пространстве, меняли положение, чтобы нельзя было к ним привыкнуть, приспособиться, прожить на отлете свой век. Страх давил, глушил ростки, убивал и корежил, и лезла из земли несмелая, пуганая поросль, стлалась понизу, как деревца в тундре, под студеными ветрами Ледовитого океана, и взлетали кверху приспособившиеся, переродившиеся мутанты: чудовищные пародии на людей.

И Игнат Никодимов тоже взлетел...

Сначала он лез за счет способностей.

Была энергия, хитрость, напор, практическая смекалка.

Долез до упора, повертел головой, осмотрелся: не удовлетворило.

И начал Игнат вертеться ужом.

Камушек к камушку, полешко к полешку: по-муравьиному закладывал фундамент.

Тут уж все годилось для дела.

Сам из бедноты — напомнить где надо.

Брат-колхозник — козырнуть при случае.

Блокнотик с анекдотами — повеселить начальство.

Дефицитные материалы — нужному человечку.

С тем — выпить, с этим — по бабам, тому — подарок, этому — открытку к празднику... "За малые копейки можно столько друзей завести!"

Тут, на его счастье, подошло время великих посадок. Когда страх половодьем затопил землю, смыл, сокрушил, порушил, оставил после себя грязь, пену, обломки судеб. В ту пору вымели со стройки все начальство, подчистили до прорабов: что ни день, охал народ на нового своего врага. Приезжал на стройку нарком, сам вчерашний бухгалтер, проводил совещание с уцелевшим персоналом, и Игнат сразу учуял, изошренным своим чутьем: вот она, его минута! Упустишь — другой не будет! Встал, попросил слово, обратил на себя благосклонное внимание:

— Мне двадцать восемь лет. Фамилия моя Никодимов. Звать — Игнат. Сам я из деревенской бедноты, работал землекопом, окончил рабфак, и вот я считаю, что самое главное в текущий момент — сорвать происки внутренних врагов!

Его заметили, его повысили сразу, через несколько ступенек, благо была такая необходимость. И стал Игнат командовать стройкой. А там уж и горизонты другие, и возможности: не зевай, Никодимов! Меняйся со временем. Вместе со всеми меняй время.

Он был доступен еще поначалу, в первые годы, ходил в одиночку по стройке, запанибрата с работягами: мог покурить в холодке, выдать анекдотец, хлебнуть их молочка. Ловок был, легок в обращении, умел расположить к себе, вызвать доверие. Потом он взмыл, Игнат, в те недосыгаемые высоты, откуда до ближайшей стройки — километры инстанций. Погрузнел, посолиднел, заматерел. Голова набычена, плечи провисшие, шаг тяжелый. Сидит за

чудовищным столом, посреди бесконечного кабинета: секретарша, курьеры, двойные двери на входе — не прорвешься. Там, внизу, была кумовщина, грубые приемы, тут, наверху, закулисные хитро-сплетения, тонкая политика, игра.

Ездят на охоту в заповедные края, стреляют кабанов да лосей, уток да фазанов, после охоты, в избушке у егерей — под водочку, под жареную свежатинку — снюхиваются друг с другом.

Ходят в бани, в отдельные помещения, парят мяса-телеса, потом в холодке — с пивком, с красной рыбкой — лялякают о высоких делах.

Укатывают за границу особыми делегациями, с достоинством оглядывают вражий мир, в номерах, в задушевной беседе, прощупывают соседа.

Собираются на квартирах, строго по выбору, хвалят детей, хозяйку, финские гарнитуры, за обильным столом — первый тост за начальника, второй — за прекрасный пол — лепят союзы-группировки, разрабатывают стратегию-тактику, назначения и перемещения.

И не поверит теперь никто, что когда-то он, Игнат Никодимов, силком вращался в интеллигенцию. Медленно вращался, с трудом, с родовыми муками. Налицо была явная несовместимость, анти-тела кучами кидались на защиту и погибали бесславно от икания, рыгания, густой чесночно-луковой отрыжки, новые вставляли на их место, но он был хитер, Игнат, сметлив и изворотлив, подтесал и подлакировал сам себя. Ходит теперь на высокие приемы, обучен обхождению с дамами, пьет-ест а-ля фуршет, с благородным изяществом носит заграничные костюмы.

Меняется время, тоньше становятся приемы, хитрее методы, но в отношении с подчиненными все по-старому: испугай, раздави, потом приласкай,

кинь подачку, и готов еще один холуй, хоть ноги об него вытирай. Свистни — прибежит. Мигни — сделает. Рядом с тобой, слева и справа, лезут вверх другие честолюбцы, отпихивая друг друга. И если ты не раздавишь их, они раздавят тебя. И если ты не сделаешь из них холуев, они сделают холуя из тебя.

Все преодолел Игнат, ко всему приноровился, но чем выше взлетал в поднебесье, тем неудержимее манили новые высоты. И не может он успокоиться, потому что не видит у тех, что над ним, видимых преимуществ. Таких преимуществ, что остается только поднять руки и признаться в собственном бессилии. Нет у них явных преимуществ, неотличимо одинаковы они с Игнатом, — и он с референтами мог бы не хуже, — и потому не радуют его любые почести, мизерные в сравнении, не веселят новые назначения, которые не сравнить с самыми заманчивыми.

Нет, не успокоился Знаменитый Никодимов, и не успокоится теперь никогда...

Но неожиданно пришла боль.

Боль ударила исподтишка, наотмашь, свалив с первого удара.

Боль сбила щелчком чванливое превосходство, напыщенную самоуверенность, глубокое равнодушие ко всему и ко всем.

Боль грубо взломала корку, и проглянул наружу пуганый, мятущийся человек, который, оказывается, знал про себя все наперед и с тоскливой покорностью ждал неизбежного.

Он лежал в особой больнице, глотал редкие лекарства и умирал от жгучего страха. Боль ходила вокруг, примеряясь для нового удара, не торопясь, смакуя его беспомощность, а он, униженный и раз-

давленный, судорожно дергался ничтожным червяком на ее крючке.

Приходил из соседней палаты выздоровевший бугай, потешался над его страхами с вершин своего здоровья, а он не огрызался даже, не одергивал, не ставил нахала на место, а только беззащитно качал головой. Навещали его заботливые холуи, приносили конфеты с апельсинами, говорили пустые слова, а он впивался жадными глазами, искал сочувствия, дружеской заботы, обычного внимания, и находил одну лишь корысть, притворство, блудливое беспокойство, а не пора ли переметнуться к новому хозяину. Столько наплодил холуев Игнат Никодимов, обложил себя во столько слоев, что не прорваться через них случайному человеку, который вздохнул бы за компанию, пожалел, дружески поправил подушку.

И пришла вдруг бессонной ночью прозрачная, как стеклышко, мысль-озарение:

— Умру — рады будут. Умру — а им наплевать...

И пришло вдруг старинное, дедовское желание умереть чисто, по-хорошему, на жалость людям. Чтобы смахнули слезу, проглотили комок, задавились глухими рыданиями. Будто он уже и не большой начальник по строительной части, с курьерами и с секретаршами, а обыкновенный деревенский дед, в треухе да в опорках, что досиживает на приступочке последние дни свои, палит жгучий самосад. Давно оторвался Игнат от родни, от земли, от деревни. Думал — навсегда. Но пришла старость, боль и страх, и властно потянуло назад: на Бога, на суеверие, на верные бабкины приметы. Держит деревня на привязи, отпускать не желает. Значит, недалеко ушел Знаменитый Никодимов. Значит, когда рубал корни, не все перерубил. Значит, не до сердцевины зачерствел, не до самого срединного ядрышка. И зазеленела на нем, как на мертвом,

завалившемся дереве, неведомо откуда проклюнувшаяся листва.

Потом его подлечили, залатали, выписали на работу, но осталась внутри незалеченной щемящая пустота, которую не заполнишь удачами, не насытишь заманчивыми возможностями. Будто углядел Игнат во время болезни что-то важнее важного, главнее главного, недоступное связям и интригам. И дрогнул Знаменитый Никодимов. И испугался. И заметался в безуспешной попытке умилоустивить неизвестно кого, неизвестно какими средствами. Потому что наподличал всласть за долгую жизнь, гнусных дел наворотил — невпроворот.

Ему бы и тут найти связи, знакомства, извернуться, словчить, приспособиться, да некому теперь польстить, некого обойти, некуда проскользнуть ужом. Весь его опыт, вся накопленная гнусь не стоят гроша. Нутром чует, крестьянским своим чутьем, что годится здесь другое, простое и естественное, как перевозданная жизнь, которую они, Игнаты, превратили в изощренную ложь. Они-то думали: все дозволено. Они-то решили: у нас по-новому. Свой бог, своя совесть, свой счет чести и бесчестия. Раскрутили маховик до чудовищных оборотов, — с матом, с гиканьем, с бесстыдным непотребством, — распустили ремни, вывалили пуза, устранили границы дозволенного: мы хозяева, цари и боги! А на старости вдруг оказывается: а у хозяев-то жила тонкая, а у царей — страх смертный, а у нового бога — боязнь Бога старого.

И начал Игнат делать добро. Изредка. Несмело. Не за новые блага, не за ради выгод, а просто так, "за спасибо". Как делали до него мироеды, убивцы, звериные души, замаливая свой грех, обливаясь напоследок сладкими слезами раскаяния. Чтобы открылась перед концом жизни отдушина, чтобы

высунуться из своей душегубки, глотнуть хоть разок чистого воздуха. Не то захлебнешься завистью, задавишься злостью, задохнешься в собственных нечистотах лжи, грязи и бесчестия.

А маховик крутится, маховик посвистывает по-разбойничьи, маховик долго теперь не остановишь...

Угодничает Знаменитый Никодимов, пресмыкается, давит, ломает, интригует, крутится на пупе, чтобы удержаться на достигнутом, не уйти раньше времени на пенсию, быть в первых рядах к чудо-лекарству. И тут же потихоньку помогает, облегчает, заботится о ком-то, чтобы умиловить, ублажить, устроиться загодя, обезопасить себя в будущей жизни, если она, конечно, есть. И после каждого подлого дела к нему приходит боль. И после каждого добра — тихая, спокойная ночь.

Стареет Игнат, уходят силы, копятся в теле омертвевшие клетки, лишают верткости, гибкости, прежней змеиной бесхребетности. Держится Игнат только на опыте, на старых связях. Уходят друзья, — на пенсию, на вечный покой, — и он остается в одиночестве, среди молодых ловкачей, у которых и язык, и приемы, и ловкость другая, и которых пока еще не пугает дальняя старость.

Зависть полыхает в нем холодным пламенем: зависть к заманчивым высотам, которые уж теперь недостижимы.

Страх колышется в нем крутыми волнами: страх к будущему, которое скрыто истончившейся завесой.

И после добрых дел, на сон грядущий, читает он свежие газеты.

И ждет заслуженной награды.

И после подлых дел, в бессонные ночи, читает он журнал "Здоровье".

И ждет неминуемого возмездия...

Через двойные рамы, через глухие портьеры, со двора до самых верхних окон понеслось гулко, из-под арки:

— Здорово, мужики да бабы! Здорово, коты да собаки!

Шла по асфальтовой тропке мимо подъездов женщина крепкая, приземистая, толстоногая, шла широко, размахисто, до предела отмахивала рукой с тяжелой авоськой, переваливалась бедрами из стороны на сторону, шла деловито, по-хозяйски, как владелица этого дома, и подъездов, и тропки, оглядывала всех цепко и придирчиво, кричала зычно, бодро-весело каждому стоящему, сидящему, идущему мимо:

— Здорово, мужик! Здорово, баба! Здорово, кот! Здорово, собака!

На нее глядели приветливо, улыбались рассеянно, хихикали ехидно, крутили пальцем у лба, откликались со стороны с опаской, — еще догонит, накостьляет по шее:

— Здорово, дурочка!

Подошла к нужному подъезду, перехватила половчее авоську с продуктами, крикнула радостно старичку-сморчку на скамейке:

— Здорово, жених!

— День добрый, Настасья Петровна, — вежливо ответил старичок и приподнял над бледной лысиной соломенный картузик.

— Настенькой зови. Забыл, что ли?

И встала перед ним, подбоченившись, себя показала.

— Как жизнь-то? — поинтересовалась. — Течет?

— Течет, Настенька, течет, вытекает помаленьку.

— Ладно уж... Чуток тебе помоложе — замуж бы взяла.

— Да помоложе и я с удовольствием.

— И чего ж вы, мужики, всё неладные такие? Никак Настеньку замуж не берут... — И вдруг, будто переключили: — Ты уж, небось, пожрал?

— Пожрал, — ухмыльнулся. — Я, Настенька, с утра пожрал.

— А я бегу. Ух, и наемся!

И пошла отмахивать через две ступеньки — широко, тяжело, по-мужски.

— К лешему ваш лифт. Настенька и без лифта. Настенька кого хошь снесет... Настенька какая? Настенька такая — грузи больше!

На верхнем этаже встала, ключом открыла дверь, громко затопала по паркету.

— Эй, вы! Спите, что ли? Настенька пришла.

Никто не шелохнулся в комнатах. Будто их и не было.

— Разоспались... Работнички!

Пришла на кухню, разложила продукты на столе, поставила чайник. Нарезала хлеба, ломтей с десятков, чтобы уж потом не отвлекаться, помазала густо маслом, наложила крупными ломтями: на два — колбаски, на два — сыру, на два — брынзы. Остальные ломти щедро обмазала сладким творожным сырком. И отдельно еще черный ломоть: с подсолнечным маслом, с солью.

— Эй! — крикнула в коридор без особой охоты.

— Жрать-то станете?

Послушала тишину, сказала довольная:

— И шут с вами. Сама все сожру.

Налила чаю — кружку эмалированную, литр, не меньше, покидала туда сахару без счета, да и навалилась на бутерброды — только скулы затрещали.

— Настенька бедовая, — хвалилась пустой кухне.

— Настенька жрать горазда. На Настеньку не напа-сешься. Как сяду — скоро не встану... Мужики На-стеньку обегают: не прокормишь. Мать родная оби-жает: не напасешься. Сладкие кусочки внуку да внучке, а Настенька — перебьется...

Доела хлеб, допила весь чай, закусила ломтем с солью, с подсолнечным маслом, икнула, вздохнула, утерла нос рукавом:

— Вам, дуракам, не оставила...

Вскочила с места легко и проворно, переобулась в хозяйкины шлепанцы, подхватила ведро с водой, тряпку, щетку, пошла, согнувшись, мыть-подметать, пыль смахивать, трясти, скрести, полы отти-рать до блеска. Колотила щеткой по дверям, по плинтусам, говорила громко, не стесняясь:

— Спят — не спят, а у Настеньки проснутся... Надо — не надо, а у Настеньки встанут... У Настеньки в руках горит. Настеньке лялякать некогда. Настень-ке с уборкой управиться да чайку попить...

Убрала коридор, полюбовалась на чистоту, про-шлепала по влажному еще полу, застучала в дверь кулаком:

— А ну, отпирай! Слышь, что ли? Мне убираться пора. Прождешь вас тут до морковкина заговен-ья...

... и опять она убегала от криков, от колготни, от назойливых людей и суетливого их беспокойства, на бегу раздвигала кусты, на скаку сбивала грибы, перепрыгивала через поваленные стволы и сухой ва-лежник, — в самую чащу, глушь и безлюдье, к завет-ной полянке, где воздух — в пропеченном, засто-йном мареве, где сосны — оплывшими свечками, одна к одной, стенками высоченного стакана, зали-того доверху расплавленным солнцем. Вставала, замерев, пугливым животным, слушала тишину,

скрип сосен, детский лепет березовых листьев, и, успокоившись, обвыкнув, доверившись, стягивала через голову сарафанчик, стелила на пружинящую траву, присев, торопливо сдергивала легкое бельишко, валилась, распластавшись, в пугливой белизне, отдавшись одному только небу, да облакам, да солнцу, что беспощадно накидывалось на нее, прогревало жаром, наливало соком, как прозрачную виноградину, пробиралось до корней волос, покрывало обильной испариной в пахучей травяной духоте, бисерными капельками на лбу, на груди, на животе, морило, усыпляло, утягивало в сладкую, вязкую дремоту, и только заблудившийся муравьишка на спине своими прикосновениями не давал провалиться в обморочный сон, да трескучие стрекозы, зеленые, с черными крыльями, — а в кустах уже стоял кто-то, большой и сильный, вместо головы — солнце, и она, оглохшая, ослепшая, в травяном дурмане, полная взбодренных сил, тянула к нему руки, и человек-солнце, человек-небо, человек-бог шагнул из кустов на поляну..., и тут, как обычно перед пробуждением, большой черный рояль упал тяжело и распластанно, животом на крупный булыжник, и вскрикнул коротко, всеми струнами, ребенком в кошмарном сне...

— Отпирай давай! Слышь, что ли?

Она подняла от стола старую, непослушную голову, задумчиво поглядела вокруг. Утреннее солнце с трудом пробивалось через плотную штору, неярко освещало густожелтую скатерть, чай цвета старого янтаря в хрупких, склеротических чашках, слегка бликующий самовар, апельсин в вазе, призывно отодвинутые стулья.

На стене против окна, кнопками в обои, в ряд висели разнокалиберные фотографии, и Ева огляде-

ла их все, слева направо — ”Здравствуй, моя милая”, потом справа налево — ”Здравствуй, моя хорошая”, ни одной не пропустила. Болтушка Саша, веселая ее подружка, тараторка и балаболка — давно уже мертвая — очень любила сниматься и раздари-вать свои карточки кому попало. И на первом, потре-скавшемся от времени фото она стоит, как в строю, плечом к плечу со своим юным лейтенантом, пух-лая, румяная, с трудом серьезная: толстая коса пе-реброшена через плечо, узкий лобик значительно на-морщен над голубыми пороссячьими глазками. И глядя на этот снимок, так и напрашивается верени-ца будущих фотографий в солидном альбоме: он и она, взрослеющие на глазах, с новыми чинами и морщинами, и еще дети, куча детей вокруг них, все строгие, серьезные — будущие лейтенанты или жены лейтенантов, и очередной младенец на руках, жадно присосавшийся к щедрой груди. Но следующий сни-мок на стене был уже послевоенный, как из друго-го мира, из другого века, когда она отплакала, отголосила по своему лейтенанту, и веселая, улы-бающаяся, вся в белесых завитых кудряшках — горькая складка у губ — стоит в обнимку с усатым мужиком. А дальше — что ни фото, то новый муж, или кавалер, или попутчик в дороге, а то и случай-ный, на ночь, мужчина, от которого только и оста-лось, что эта фотография, где он бесстыдно лапает ее пышные, напоказ, прелести, — глаза в смертной тоске. Вот она на машине, на пароходе, на глассере, за столом, в палатке, на пляже, — раздобревшее те-ло едва прикрыто нескромной тряпочкой, — на танцах, на вечеринке, на пикнике, в кровати, посре-ди детей своих, каждый из которых не похож на другого. ”Сколько у меня детей? — говорила бывало, потряхивая шалью. — И не скажу сразу. Знаю только, что вечером должна принести в дом

шесть кило макарон”. И снова в загул! Застолья, пляски, песни патефонные, жаркие простыни с пышными подушками, — только пальцы хрустят непрерывно — непременными карнавальными кастаньетами... И от снимка к снимку менялось веселье у нее на лице, у нее, у болтушки Саши. Смех маской закрывал знакомое лицо, глушил дорогие черты, обволакивал вуалью жестокого веселья. И вот уже совсем незнакомая, молодящаяся женщина взახлеб и с надрывом, назло и нарочно хохочет прямо в объектив посреди грязных тарелок и пустых бутылок: руки растопырены, рот разинут, глаза выпучены — наглая, жесткая, непримиримо несчастная...

— Эй! Не дразни Настеньку! Распалюсь — дверь высажу...

Встала от стола, пошла на онемелых ногах, откинула крючок.

— Здравствуйте, Настенька.

А та уже втащила в комнату ведро с водой, щетку, тряпки, глянула неодобрительно:

— Ишь, сору-то накопила... Пол у тебя кто загваздал?

— Народ был, Настенька, люди разные.

— Это у тебя-то люди? Да ты век на запоре сидишь.

Ева засмеялась тихонько, сказала ласково:

— Значит сама... Ходила много.

Старый кот с подстилки повел на Настеньку блеклым глазом, шевельнул в знак приветствия облезлым хвостом. Лежал он пластом, на боку, вытянув в стороны лапы, плешивый живот редко и трудно вздымался от сиплого дыхания.

— Котяша! — обрадовалась. — Котяшка... Ты все живой? Ну, живи, живи дальше...

— Ему девятнадцать лет, — сообщила Ева. — Он у нас долгожитель.

— Да знаю...

Села к столу, с сомнением оглядела мелкие чашки, в руки взять побоялась:

— Ну и мелкота... Курям на смех! И не напьешься... Апельсин у тебя для красоты или есть можно?

— Можно есть.

Взяла сразу, очистила рывком, в два приема запихнула в рот.

— Сладкий... Больше нету?

— Нет.

— Вышла бы продохнуться. Заодно — апельсины купила.

— А я на балконе гуляю.

— С балкона чего увидишь? Одни крыши.

— И крыши, и двор, и переулочек кусочек. Что нового на свете, Настенька?

— Не скажу, так и не узнаешь.

— Как узнать? Вы одна только и рассказываете.

— А Игнат? — спросила с удовольствием, заранее зная ответ. — Его спроси.

Ева налила в миску теплой еще воды из самовара, сказала с усмешкой:

— Да он неинтересно рассказывает.

Та так и пыхнула от стеснения:

— Настенька — искусница. Настенька — говорливица. Настеньку — заслушаешься. Пойдут у Настеньки детки — сказками заговорю.

Ева полоскала чашки в теплой воде, оглаживала хрупкие, полупрозрачные стенки кузнецовского фарфора, который так приятно брать в руки, перетирать, ласкать пальцами. В этих чашках, как в живом существе, была душа: тонкая, нежная, легко ранимая. Эти чашки навечно хранили тепло прежних чаепитий, дружеских разговоров с подружками, их

тайн и доверчивых взглядов. Не то что новая, только что купленная посуда, холодная, грубая, непроницаемо равнодушная — кусок бездушной глины.

— А как у вас личные дела?

— Скоро уж, — пообещалась. — Непременно рожу. Он, дурак кривой, счастья своего не понимает. Настенька — работница. Настенька — добытчица. Настенька — рукодельница, каких поискать.

— А кто — он?

— Да почтальон наш! Во дворец поедем — с лентами, с шарами, с медведем спереди. Иначе я не согласна.

— А он-то хоть знает?

— Не, еще не знает. Но глядеть на меня глядит...

Пыхнула краской на обе щеки, вскопчила, уронила стул, побежала по комнате вся в волнении. Кот-долгожитель недовольно шелохнулся на подстилке, вяло, неодобрительно просипел.

— Котяша! — грохнулась перед ним на колени, схватила в охапку, стала тискать да тормошить, как малого ребенка. — Котяша мой, котяшка...

— Настенька, — испугалась Ева. — Вы не очень... Он у нас старенький.

— Да ладно, — отмахнулась. — У самой бабка древняя. Знаю, как с ими обращаться...

Сразу забыла про кота, обернулась к Еве, радостно сообщила:

— Бабка у меня глазастая — сил нету! Вчера улеглись спать, у Кольки за занавеской — с женой шебуршня... Бабка-то — сто лет в обед — полезла на комод глянуть, да и завалилась на Кольку. Ее поднимают, а она еще и ругается: "Обгородили, черти, комнату, я и заблудилась в потемках.." А Колька аж посинел весь: "Я, — говорит, — с этого дела способность могу потерять..."

Захохотала, засморкалась, закашляла трубно.

Кот-долгожитель обнажил стертые клыки, мяукнул погромче. Не любил кот шума и криков. Был он молчун, задумчивый и самостоятельный: весь в Еву.

— Вы бы с ней, — сказала Ева, — поговорили, с бабушкой. Нехорошо подглядывать.

— Да у нас, — заискрилась Настенька, — всякую ночь возня. То у Кольки с женой, то у батяни с маманей... Самой интересно.

Ева прополоскала чашки с блюдцами, уложила сушиться, забралась с ногами на тахту:

— Почитать вам, Настенька?

— Почитай.

Раскрыла книгу, огладила с удовольствием страницу, а та прихватила из конфетницы пригоршню конфет, мигом сдернула обертки, запихала горстью в рот да и пошла, согнувшись, елозить тряпкой по полу.

Тут и вошел неслышно Знаменитый Никодимов, в толстых шерстяных носках, без тапочек, встал в дверях, утирая ладонью рот.

А Настенька уже заслушалась, позабыв про работу, на корточках, с мокрой тряпкой, у ведра с грязной водой...

Игнат Никодимов ел суп по утрам.

По давней деревенской привычке наваливал миску с верхом, истово орудовал ложкой, выскребал остатки, вымакивал хлебом, заправлялся на весь день. Суп любил жирный, густой, наваристый, с мяском, с мозговой косточкой, чтобы постучать ее об ложку, выбить содержимое, заесть напоследок. Суп заменял ему чай, кофе с бутербродиками, вечные яичницы, которыми пробавляются хилые горожане. Игнат этого не терпел. Игнат уважал в еде существование. Когда не было супа, выливал в ту

же миску пакет молока, крошил хлеб, ждал нетерпеливо, а потом вылавливал огромные намокшие куски, давился, чавкал, лупил на лоб зрачки, подбавлял еще хлеба, и Ева вздрагивала от омерзения, слушая непотребные звуки, глядя в выпученные его глаза. Потому и называлась эта еда — глазолуповка. Глазолуповка — хлеб с молоком.

Он встал в дверях комнаты, сытно вздыхая, цыкая пустым зубом, дергая из носа въедливый волосок. Дернет — и взглянет на пальцы. Дернет — и еще взглянет. Чего стесняться? Небожь, не на банкете. Все свои.

— Настасья, — сказал. — Чего прохлаждаешься?

Настенька зыркнула снизу сердитым глазом:

— Ты спишь, а я работаю? Хитрован какой...

Игнат постоял, подумал, злиться себе не разрешил:

— Суп давай вари.

— С уборкой управлюсь, тогда и сварю.

— Дура ты, — снисходительно, по-отечески сообщил Игнат. — Пока уберешь, все бы и сварилось. Раньше домой пойдешь.

Ева взглянула на него мельком, с привычным небрежением. Не иначе, наворотил вчера паскудства выше головы. Вот и подобрел к утру, помягчел, заглаживает вину. Видно, есть чего заглаживать.

— У, редька с квасом! — ругнулась Настенька. — Говорено тебе — не умею зараз. Голова болит думать.

— Охо-хо, — развеселился Игнат. — Тоже мне, мудрость...

Думать, и правда, было нечего. Настенька варила только суп на мясе, да кашу, да компот. Другого не умела. Хитрость невеликая, но сразу два дела не делала. Сначала убирала, потом варила. От двойной работы болела у нее голова, путались мысли, слу-

чались всякие перебои. Могла соль в компот кинуть, сахар — в суп, луковицу — в помои.

— Иди отсюда, — приказал Игнат. — Нам поговорить надо.

— Ты мне не тычь! — крикнула вдруг и пошла вон из комнаты, зацепив Игната крепким плечом. — Дверь не закрывайте. Слушать буду.

Он закрыл.

Саданула дверью об стенку: гром по квартире пошел, кот в испуге перевалился на спину.

— Кому сказано?!

Он и тут сдержался, слова поперек не сказал. Видно, сотворил вчера что-то особо гнусное, самому на страх. Ева даже похолодела от тех возможностей, которые у него были.

Игнат привычно оглядел комнату, глаз ни на чем не зацепил. Проигрыватель, стопка пластинок, раскрытые книги кругом, — детская привычка читать сразу несколько, — картинки по стенам, расписные доски в лошадях и розах, портреты едва знакомых людей, которых он встречал когда-то в хрестоматиях. На картинках по стенам летали длинноногие ангелы, разгуливали разломанные на куски люди, скрипач пиликал на скрипочке на крыше дома. Все это было ему знакомо, нагоняло тоскливую зевоту в обязательных заграничных походах по музеям. Скукота, маята, интеллигентские вывихи. Одно слово — абстракционизм.

Цыкнул языком посильнее, выбил из зуба хлебный катыш, сказал громко, доедая остатки:

— День-то сегодня какой, помнишь?

... Она любила его месяц до свадьбы, — наваждение, дурман, колдовство, — и одну ночь — после. Были в молодом Игнате наивность, простота, сила, жажда познания: это ее прельстило. Хотела потом переделать, пыталась привыкнуть, собиралась даже

уходить, но тут родился Максим, Максимка-Максимушка, светлая головушка, увалистый шажок, и как-то стало на время не до Игната. А потом привычно, а потом безразлично, а там, глядишь, и годы ушли. Она его физически не переносила. Она так его ненавидела в молодые годы, что даже не беременела от него. Как он ни старался, как ему ни хотелось населить мир Игнатами Никодимовыми, ее неприязнь убивала все.

— Эй! — крикнул Игнат прямо в лицо. — Со всем, мать, оглохла. Рехнулась со своими книгами...

А она не слышит. Она давно его не слышит, который уж год. Он говорил — надо слушать. Он спрашивал — надо отвечать. Она взяла и оглохла.

— Грубиян, — подала голос Настенька. — Мужик нетесаный...

— Вот уволю, — пообещал за дверь, — запоешь Лазаря.

Прошел по комнате, мягко ступая толстыми носками, взял со стола сухарик, повертел в руке, бросил обратно. "Выбросить, — отметила машинально. — Все сухари". Подошел к коту, ногой почесал пузо, перевалил на другой бок. Кот вяло оскалился, поморщил нос от пахучего носка. "Вымыть, — отметила. — Вымыть и расчесать". А сама глядела с тахты, притулившись в уголке мелким воробышком, зябко куталась в серый шерстяной платок. Лоб наморщен, седые волосы всклокочены, руки — в вечной мольбе — прижаты к впалой груди. Было ей знобко. Было всегда неуютно. Как на вокзальной скамейке. Обмороки. Головокружения. Кровь из носа. Она глядела неприкаянно посреди школьных подруг, она ежилась на групповых институтских портретах, лучшие ее девичьи платья болтались на ней мешком, будто она и в них забира-

лась в укромный уголок. С годами неуютность росла, наливалась холодной кровью, болезненно пульсировала в сосудах, знобила в любую жару. Сторожила соседей, избегала сослуживцев — все одна да одна. Работала в музее, в запаснике. В подвал ныряла, как в избавление. Бродила с удовольствием посреди бронзы и старых холстов. Наверх поднималась без охоты. Когда поумирали милые ее подружки, — болтушка Саша, Лера, Зойка, Фаня Рабинович, — ушла на пенсию, спряталась от людей за плотными шторами — никто к ней, и сама ни к кому.

— Слышь?! — крикнул Игнат что есть мочи. — Максимка сегодня именинник. Сорок годков!

Она дрогнула. Глаза метнулись вбок, пальцы хрустнули суставами...

— Забыла, — созналась тихо. — Как же я так?..

И улыбнулась. И потеплела. Глазами зашарила по дверному косяку. Вот придет Максим, Максимка-Максимушка, светлая головушка, увалистый шажок, и поставит его, как обычно, к косяку, и отметит карандашиком рост на сороковой год его рождения. Сколько лет Максимушке, столько и меток. И при переезде с квартиры на квартиру все бросала без сожаления, одни метки брала с собой, помечала на новый косяк.

— Ева! — пробилась через стенку Настенька. — С рожденьцем... Чай давай пить, с конфетами!

А Игнат протопал по комнате, сказал озабоченно:

— Два праздника на носу. У сына — рождение, у внучки — свадьба. Народ зову на свадьбу нужный, ответственный. Праздник праздником, а под это дело хорошо бы кой-кого угостить, кой с кем поговорить.

Но Ева уже опять не слышала. Глядела издалека и отрешенно, зябко куталась в старушечий свой

платок. От нее Игнат не таился. Ее не стеснялся. Она одна была единственный закулисный свидетель блистательного взлета Знаменитого Никодимова.

— Надо с Маринкой поговорить, чтобы поменьше шпаны собирала. А то набегут нечесаные да патлатые, — стыдно гостей звать. Максимке скажи, чтобы без фокусов. Сама приоденься, в парикмахерскую, что ли, сходи... Мне теперь, мать, держаться надо. Первый пробой — смерть! Вон, шакалы, так и ходят кругами, ждут падали...

Тут — шум из его комнаты. Что-то по полу поползло, тяжелое, со скрипом.

— Настасья! — заорал во все горло. — Опять за свое?!

И — туда...

”Что я знаю? — подумала вслед. — Одного его. Ни горя особого, ни особой радости... Почему я тогда? Господи, ну почему же я?!”

И глаза по привычке метнулись к стене...

... Лера, светлая ее подружка Лера, гордая и неприступная красавица, уже на детском своем снимке стояла, будто в капсуле невозможной исключительности, и мальчик с ясными глазами, единственный допущенный в ее царство, выбранный на служение из всего человечества, стоял рядом, глядел спокойно, чисто и преданно, как заколдованный мальчик Кай на прекрасную Снежную Королеву. И от снимка к снимку менялся только возраст королевы и ее избранника, но оставались неизменными строгий взгляд, недоступная красота, ясные мальчишечьи глаза — рука об руку, под неслышный котильон, через бесконечную анфиладу счастья... Вот они стоят — юные, прекрасные, на пороге удивительной жизни — в невыразимо прелестный зимний день. Февраль. Солнце. Первое после зимы теп-

ло. Лунки под деревьями. Сухой травы проталины. Ломкий ледок на дорожках. Треньканье синичек. Вялые, блаженно счастливые лица. Старые собаки в щенячьем восторге. Воздух — неиспробованным напиком... А потом, вдруг, все оборвалось. Исчез с фотографии мальчик, сгинул бесследно в глухих Магаданских лагерях за связь с соседом-филателистом, который менялся марками с дипломатом из посольства, и осталась она одна, невенчанная королева-вдова: невозможно прекрасная, неприступно надменная. Ведь у них уже был день. Их день! И спасибо за это. И достаточно. Это обжорам нужно много. Жирным и вульгарным обжорам, что пихают в рот непомерные куски, давятся и чавкают, рыгают и икают, не ощутив даже вкуса. А им хватит и одного дня на оставшиеся годы. Лунки под деревьями. Сухой травы проталины. Треньканье синичек. А если жизнь подарит и в будущем такой день, это уже невозможный праздник. Праздник, который ты не заслужил... А потом прошла по снимкам война, в сапогах, в ватнике, с киркой и лопатой, и пришла победа, после стольких мук и несчастий — первая в их жизни победа над невыдуманным врагом, будто победили не только Гитлера, но и всю несправедливость на свете, будто те, довоенные жертвы легли на общий победный алтарь, — а вместе с победой пришла жизнь, и надежда, и несмелая улыбка на снимке — подснежником во льдах. Ах, победа, обманщица-победа! Что ты там нашептываешь, кого оправдываешь, куда завлекаешь? Не все ж нам тосковать, не все убиваться, надо когда-то и жить. Раз уж ты дотянул до победы: надо жить! А мальчик... Ну что — мальчик? Сколько их, мальчиков, полегло на войне? Одним больше — и все тут... И пошли фото послевоенные: попроще взгляд, посмелее одежды, потеплее ее красота. Королева

стала выезжать в свет. Царица снизошла до своих подданных. Бытовая суета, доступные развлечения, нехитрые удовольствия. Но на снимках она оставалась одна, всегда одна: место мальчика никто не смел занять... И опять все оборвалось. Несчастливая, замучившая себя женщина глядела с последних снимков: черные круги под глазами, впалые щеки, беспокойный взгляд, нездоровая желтизна на лице, подьедающая ее красоту. Желтизна густела от снимка к снимку, прекрасное лицо тускнело и темнело, как темнеют иконные лики под слоем стареющей олифы, под мелкой сеткой морщин-трещин, через которые уже не прорвешься к ней, а от нее — обратно к живым. Ведь это она предала мальчика, друга, рыцаря, потому что он еще жил, а она считала его мертвым двенадцать невозможно страшных лет. И когда она развлекалась — он голодал. Загорала на пляжах — он мерз. Спала с мужчинами — он умирал в лазаретном бараке... Но недаром она была королевой. Королевы уходят из жизни по-королевски. Когда сами захотят этого. Неслышно притворив за собой дверь... Берегите королей, граждане! Берегите — не прогадаете. Пробросаетесь — пожалеете...

Когда Игнат вошел в комнату, Настасья, пыхтя и надсаживаясь, двигала по полу приземистый трехстворчатый шкаф. Шкаф не хотел ехать, мерзко верещал нутром, а она, навалившись сильным плечом, бурчала под нос матерные ругательства.

— Настасья!

— Подсоби давай... — прохрипела яростно. — Камней туда наклал, что ли?

— Вот я тебе сейчас камнем по дурной башке! Сколько тебе говорить: не трожь мебель...

— Да погоди ты... — встала с досадой. — Кончу — спасибо скажешь.

Комнату было не узнать. Кровать уже стояла в дальнем от окна углу. Стол — посреди комнаты. Стулья — вокруг него. Кресла — рядом у стены. Ковер скатан в трубу, журналы "Здоровье" разложены по столу, как в агитпункте, тумбочка в красном углу: не иначе, под телевизор. Сколько она к ним ходила, столько и двигала его мебель: даже шкаф разболтался уже от частых передвижений.

— Как ты тут живешь? — удивлялась. — Когда все не на месте... Спать надо у стены: чтоб не на проходе. Стол посерединке — как положено. Шкаф — в угол. Ковер — над кроватью. Телевизор купи, календарь на стенку, радио, салфеток поболее... — А сама покраснелась, размечталась: — Кроватку ребятеночку за шкаф: чтоб не мешал никто. Покрывальце, ленты, мишку плюшевого... Картинок на стену — у Евы выпрошу. Гитару, пластинки: гости придут... — И вдруг озабоченно: — Курить мужику не дам: кури на лестнице. Грязную одежду в коридоре сымай. В штанах на кровать не ложись. Матерно слово в дом не носи...

— Все? — перебил Игнат, стервенея. — Или еще скажешь?

Она опускалась с высот медленно и нехотя, опала вяло, как парашют без воздуха:

— Все...

— Ставь на место.

— Жди...

— Настасья, ставь, как было!

— Да я... — сказала с ненавистью. — Я в твоей комнате и убирать не стану. Так в пыли и задохнешься, чёрт окаянный!

И пошла вон, расшвыривая стулья.

— Сегодня чтоб проваливала! — крикнул яростно. — Не то с милицией выведу...

Она обернулась в дверях, уродливо скривила лицо:

— Выйду замуж — он те морду-то начистит! Помнишь тогда Настеньку...

— Ты выйди сперва!.. Дура!

А боль уже тронула — мягко, предостерегающе, у самого сердца, и он испугался сразу, сбавил тон, сказал примирительно:

— Иди уж, вари суп...

Как-то так выходило в его жизни, что он всегда командовал. И они, люди, слушались его. Они признавали сразу его право распоряжаться ими. Одна она, дуручка, не желала никак подчиняться. То ли по дурусти не понимала выгоды, то ли не могла поумному подлаживаться. И нарушала тем самым выверенный годами механизм отношений.

— Я те сварю супу, — пообещала из коридора. — Я те такого наварю — пузом намаешься.

Игнат постоял посреди комнаты, поглядел на разорение, но переставлять мебель не захотел. Что-то стало ему тупо и безразлично, пусто и неприкаянно: можно, в конце концов, и так жить. Стол посередке, кровать в углу, кресла — вдоль стены. "Вот дура, — подумал незлобиво. — Дожала-таки меня..." И испугался вдруг на свое безразличие, — никому он никогда не спускал, вечно добивался своего, давил настырностью каждого, — и начал торопливо, судорожными рывками двигать стол, шкаф, кровать на старые места.

Когда кончил переставлять, рухнул без сил в кресло, дышал тяжело, со всхрипыванием, молча материл растреклятую дуру, от которой теперь не избавишься, тронутую психушницу Еву, которая ее привадила, и еще кого-то, молчаливого и опасного, что издали следил за Игнатом, терпеливо поджидал, когда споткнется: первый пробой — смерть!

И опять он ощутил свое сердце — обнаженное, незащищенное. Будто лежало оно на чьей-то грубой ладони, и рука постепенно сжималась, пальцы сдавливали податливую плоть, медленно, неумолимо. И вздохнуть трудно, и пошевелиться боязно, и кричать страшно.

И от всего этого стало невмоготу Знаменитому Никодимову.

Позади была трудовая неделя с подвохами, с подкопами, с обкладыванием его невидимыми противниками.

Впереди была трудовая неделя с контрударами, вывертами, разгадыванием хитроумных вражеских замыслов.

Жил Игнат как на войне. Бился Игнат насмерть. Отстаивал захваченные некогда рубежи.

И потому в выходные дни желал отдыха и тишины перемирия...

5

Он открыл створку шкафа, стал вынимать обувь.

Туфли летние, туфли осенние, ботинки на меху, еще туфли, еще ботинки, галоши, тапочки, сапоги шевровые военных времен, еще сапоги...

Все свое детство, до самых гулянок-полюбок, пробегал Игнат босиком, либо в опорках, либо в разбитых отцовых сапогах и потому на всю жизнь сохранил почтение к хорошей обуви. Надевает бережно, носит аккуратно, во-время чинит, чистит, мажет кремом, драит бархоткой. Сапоги шевровые с военных времен — одно загляденье. Каблучки, набоечки, глянец — хоть теперь надевай!

Выложил всю обувь, в два приема вынес на лестничную площадку, туда же притащил стул. Сел, об-

ложился щетками, тюбиками с кремом. Внизу лифт ходит, народ шевелится, а сюда — никто. Живет Игнат на последнем этаже, одна квартира на площадке, — сам выбирал, специально: сиди в холодке, покуривай, надраивай до блеска хорошую обувь. И никого тут нет выше его, Знаменитого Никодимова.

Взял в руки ботинок, оглядел придиричиво, страхнул незаметную пыль фланелькой, особой тряпочкой нанес тонкий слой крема, потом прошелся слегка щеткой с мягким ворсом и напоследок стал оглаживать бархоткой, любовно, нежно, едва касаясь, будто ласкал податливое, упругое тело. И вот уже выстроилась рядком чищенная обувь, заблестала невозможным глянецом. И вот уже разгладились морщины, и подобрело лицо, и проступила на нем поверх застывшего величавого равнодушия простая человеческая заинтересованность.

Загудел лифт, побежал кверху трос, и к великому неудовольствию Игната кабина доползла до его этажа.

Приехали гости.

Дорогие родственнички.

Родители Евы.

Принесла их нелегкая!..

Первой вышла Дарья Павловна с неизменными кошелками в руках, кивнула вскользь и надменно, независимо прошла в квартиру мужским широким шагом.

За ней появился робко Кирилл Викентьевич с коробкой на голубой ленточке. Короткий коричневый пиджачок обтянул барабаном живот. Ветхий воротничок парадной белой рубашки врезался в шейные складки. Громадный узел полосатого галстука не закрывал верхнюю пуговицу. Широоченные черные брюки высоко вздернулись над раздутыми

галошами. Смешной, водевильный старик с пухлыми щечками и наивно сияющими глазками. Вот-вот отколет коленце на потеху публике, козлиным тенорком споеет арию.

Шагнул из лифта здоровой ногой, подтянул следом увечную и сразу порозовел, сконфузился, запрятал торт за спину.

— Я провинциален, — сказал в свое оправдание. — Я очень провинциален. Самому противно.

— Вечно вы, — отметил Игнат, берясь без удовольствия за очередной ботинок. — Зачем тратились?

— Фруктовый, — забормотал старик, багровея. — Восемьдесят четыре копейки... Дешевле не бывает...

Снизу застучали. Кулаком по тонкому железу.

— Дверь закройте, — приказал Игнат. — Лифт требуют.

Тот суетливо завертелся вокруг непослушной ноги, с грохотом хлопнул дверью, тяжело наступил напоследок начищенный ботинок, оставил на нем след. Игнат аж крякнул с досады.

— Идите в квартиру, — сказал, морщась. — Всю обувь мне передавите.

Тот привалился к двери лифта, прошептал обреченно и отчаянно:

— Я... к вам... Я по делу...

— По делу? Ну-ну... Какое же у вас дело?

— Да все то же... Все то же... — И одними губами: — Анкета...

— Что? — не расслышал Игнат и любовно подышал на глянец ботинка.

— Анкета...

— Опять? Теперь-то чего?

Кирилл Викентьевич выдохнул беспомощно, платком утер вспотевшее лицо.

— Хочу, — застыдился, — в киоск пойти. Газеты продавать.

— Вам деньги, что ли, нужны? — обиделся Игнат. — Скажите — я дам.

— Нет, нет... Благодарствуйте. Нам хватает. Даже, — рискнул пошутить, — на торт остается...

Но Игнат шутки не принял.

— Торт, — повторил, — это лишнее. Зря тратились. А в киоске вам негоже торчать. Скажут — Никодимов прокормить не может.

— Да что вы! Да никто и не узнает!.. А нам, — признался, — дома скучно. День большой, дела маленькие. А там люди кругом — подходят, разговаривают...

— Глупости! Вставать надо рано, кипы таскать, выслушивать каждого дурака. Через неделю надоест.

И заработал бархоткой, оттирая до блеска мягкую кожу, и отвернулся от старика: разговор окончен.

— Анкета, — шепнул тот в изнеможении. — Для киоска...

— Для киоска анкета не потребуется.

— А вдруг...

— Вдруг? — прикинул Игнат. — Вдруг — не лишнее. Давайте сюда.

Взял у него ветхий, протертый на сгибах листок, развернул, проглядел профессионально:

— Все верно. Так и заполняйте.

— Хорошо, — согласился Кирилл Викентьевич по военному. — Непременно.

— Вопросов будет поменьше, но ответы те же.

— Конечно. Обязательно.

— Про деда с бабкой можно опустить.

— Опустим.

— Про царскую армию можно убрать.

- Уберем.
- Про оппозицию теперь не надо.
- Сделаем.
- Остальное — как здесь.
- Понял.

Он соглашался, Кирилл Викентьевич, он всегда соглашался. Такая у него от жизни привычка. И если от тебя не требуют чересчур много, это уже счастье.

— Я подумал, — осмелел вдруг. — Анкета ведь старая...

- Ну?
- Довоенная...
- Вижу.
- Время другое... Подход другой.

— Подход другой, — согласился Игнат. — Сущность та же. Только не разберешь сразу. Что теперь вроде можно — на самом деле не рекомендуется. Что не рекомендуется, то нельзя. А об нельзя и говорить нечего. Ясно?

— Ясно.

— Анкета, чтоб вы знали, она вечна. Она вне времени. При коммунизме отомрет государство, но анкета останется. Понятно?

- Понятно.
- С этим вопросом все.

Кирилл Викентьевич прижал торт к груди, попросил с мольбой:

— По пунктам... Прошу вас, по пунктам...

Игнат вздохнул тяжело, с тоской, взглянул на расставленную обувь. Отдых сегодня не получался. В тишине, в прохладе, наедине с любимым делом. Погнать бы всех к чертовой матери, припереть дверь лифта, чтоб не ездили, поставить заградительные решетки. Но был он сегодня добрый. Хотел быть добрым. Пытался. Обязан после вчерашнего.

— Читайте, — приказал.

И взялся за очередной сапог.

— Фамилия, — прочитал старик дрожащим голо-
сом. — Тут все правильно. Имя... — и поглядел про-
сительно. — Имя — можно по-настоящему?

— Нельзя.

— Понял. А отчество?

— Тоже нельзя.

— Год рождения?

— Прекратите.

— Национальность?

— Слушайте, — сказал Игнат, — там есть хоть один
пункт правды?

— Есть... Место рождения.

— Вот его и оставьте. Зачем вам теперь правда?
Прожили век — и ладно.

Тот посмотрел в первый раз прямо: глаза полез-
ли из орбит, вот-вот перельются через край.

— Хочется, — сказал убежденно.

Игнат оторвался от сапога, глянул с недоуме-
нием. Сильному не понять слабого. Сытому — го-
лодного. Умному — глупого. Доброму — злого. Мо-
лодому — старого. Здоровому — больного. И наобо-
рот. И наоборот. И опять наоборот...

— Раньше надо было менять анкету, — сурово ска-
зал Игнат. — Лет десять назад. Когда времена были
помягче.

— Так кто ж тогда знал, что они помягче?

На это Игнат не ответил. Повертел сапог перед
глазами, оглядел придиричиво, прошелся фланель-
кой по голенищу. К обуви он относился ласково.
Нежно и с любовью.

— Образование... — забубнил старик. — Социаль-
ное происхождение... Родственники за границей...
Хоть что-нибудь-то можно?!

— Нельзя, — отрубил Игнат. — Да и незачем.

А тот подковылял поближе, неуклюже переступая через расставленную обувь, корежась стыдом, выволакивая себя из панциря на свет Божий:

— Хотелось бы... Хоть напоследок... Карл Вильгельмович, немец, лютеранин, из купцов первой гильдии, учился в Гейдельбергском университете, сочувствовал кадетам, два брата в Америке — шестьдесят лет не видел...

— Вы что, — перебил Игнат, пугаясь, — под монастырь хотите меня подвести?

А тот дрожал в лихорадке, переступал здоровой ногой, исходил крупным потом:

— Хоть на могиле... На могиле можно написать правду?

— На могиле? — переспросил вдруг Игнат.

— На могиле...

— На мо-ги-ле... — протянул задумчиво, заранее радуясь своей доброте, и решил окончательно: — На могиле — можно!

Тот и просветлел...

Вышла из квартиры Настенька, встала перед Игнатом независимо, сказала обидно:

— Жрать будешь?

— Нет.

— Ну и пес с тобой...

— Настасья!

Игнат шелохнулся на стуле: сердцем ощутил боль. Но была она послабее, помягче, утихала постепенно, будто удалялась насовсем. Знал Игнат это ощущение, не первый раз откупался.

— Ладно, — сказал. — Прощается...

А она уж углядела коробку в руках, навострилась, облизнулась жадно:

— Торт?

— Торт, Настенька, — заторопился Кирилл Викентьевич. — Фруктовый...

— С вишенками?!

— С вишенками.

— Больно мелкий... Есть-то можно?

— Конечно.

Сразу подобрела, оттаяла, подхватила коробку, побежала в квартиру:

— Идите торт есть! С вишенками!

— Вы ешьте, — сказала Ева. — Чаю налейте.

А ее упрашивать не надо: убежала на кухню, отхватила ножом добрую половину — и в рот.

— Настеньку чего просить? Настенька всегда согласная... С чаем — оно долго. Без чая — оно вкуснее. Кто много ест, тот много работает... Кто работает, тому жрать подавай...

Подмолотила кусок, отрезала еще половинку. От половинки еще половинку. От той половинки еще одну... Пригорюнилась на последний кусочек, застыдилась — подобрала и его. Смахнула в рот сладкие крошки, облизала вощеную бумагу, вздохнула, икнула, запрятала подальше пустую коробку... и насторожилась, услышав комнатный разговор, и побежала туда в волнении.

Посреди комнаты стояли две кошелки. Мимо них, из угла в угол, отшагивала Дарья Павловна.

— Ты, матушка, мне не перечь, — говорила сердито. — У Маринки у твоей свадьба, а приданого — шиш. Ни тебе одёжки, ни белья.

— У нее джинсы есть, — сказала Ева, слабо улыбаясь. — Им теперь ничего больше не надо.

— А спать тоже в джинсах? Белья купи.

— А я, — Настенька с ходу ворвалась в разговор, — так сплю. Безо всего. Жарко больно в рубашке.

Дарья Павловна встала посреди комнаты, ногой прислонилась к кошелкам:

— Нету, что ли?

— Есть, как нету? Ненадеванная, с бантами. Шуршит... — и зарделась, зашмыгала носом. — Как замуж пойду, надевать стану.

— А жарко?

— Потерплю.

— Вот, — сказала Дарья Павловна. — Слыхала? У ней всего припасено, а ты внучку голой отдаешь.

— У меня больше было, — похвасталась Настенька. — Колька-обалдуй жене перетаскал. Оденет мою рубаху, розовую, всю как есть прозрачную, и гуляет себе за занавеской, Кольку завлекает. Я глянула раз: у ней и нету ничего под рубахой, доска доской.

— Вот, — повторила Дарья Павловна, — видала, чего на свете делается? Отстаешь, матушка. Беги давай в магазин, купи такую.

Ева слушала молча, внимательно, не поймешь — соглашалась или нет, а потом сказала тихонько, в легком удивлении:

— Рано выходит, — сказала. — Пожалееет потом.

— Ты-то когда выскочила? А я? Чем она хуже?

— Зато я — в самый раз, — Настенька засмеялась от удовольствия. — Девушка солидная, знающая, с пониманием. Всякому мужчине — подарок.

Дарья Павловна посерьезнела сразу, сказала строго:

— Ты, Настасья, на свадьбу зови. Гулять будем.

— А ты думала... — согласилась та. — Тебя — первой.

— Скорее зови, а то помру.

— Не помрешь. Я скоро... Еды наварю — полные столы. Не то что у ней...

И кивнула на стол.

Дарья Павловна оглядела самовар с чашками, сухари с конфетами, подскочила к Еве, нацелилась хищно:

— Опять кто был?

— Были, — созналась.

— Ты, матушка, сумасшедшая. Лечилась бы.

— Ты бы лечилась, матушка, — поддакнула Настенька-дурочка.

— Для чего? — неслышно спросила Ева.

— Дурь выйdet.

— А что останется?

Дарья Павловна сжала кулаки, прокричала яростно, — глаза блеснули прозеленью:

— Зачем за него выходила? Дура! Зачем?!

— Мама, — сказала. — Сорок лет прошло, мама. Сорок! Что теперь говорить?

— Жэ дэтэст! Жэ дэтэст!..

— Да не стоит он ненависти, мама. Такой мелкий — одно презрение.

— Это вы!.. Вы измельчали! — прохрипела. — Добренькие... Мягонькие... Цыпляточки!..

И опять побежала по комнате, всплескивала руками, бешено плевалась слюной:

— Давайте презирать друг друга! Ну, давайте! Ненавидеть — хлопотно. Для ненависти нужны силы. А презирать — это такое удовольствие! Такое наслаждение! И дешево. И ничего не стоит. Давайте презирать друг друга! Ну давайте, сволочи!

— Ты чего... — плаксиво закричала Настенька. — Чего пугаешь? Страшно ведь...

— Она шутит, — успокоила Ева. — Шутит она.

— Шучу, — выговорила Дарья Павловна перекошенными губами и пнула ногой кошелку. — Я, матушка, всю жизнь шучу. Обхохочешься...

В кошелке зашипел невидимый механизм, жутко

и задавленно крикнула изнутри ломаная кукушка. Помолчала — и еще крикнула. Два раза.

— Ишь, — сказала, остывая, и оглядела стены.

— Дура! Развесила покойников — и рада.

И щелкнула по фото костлявым пальцем...

... Зойка, хлопотливая ее подружка Зойка, хитрая и расчетливая домоседка, которая вечно при-беднялась и клянчила, глядела на Еву со стены, где балконная дверь, немногими своими фотографиями, и глаза у нее были шныристые, завидующие, остренький носик озабоченно наморщен, будто она и тут, у Евы в комнате, хотела углядеть, что бы такое перенять, чем попользоваться, на что еще Ева может сгодиться. Зойке было некогда фотографироваться. У Зойки — забот невпроворот. И потому каждое ее фото — не блажь, не прихоть и развлечение, а ступенька, уровень, очередной этап ее существенных приобретений, зафиксированный для потомства. Только завистливее глаза — от снимка к снимку, беспокойнее руки, корысть покрывает пленкой живое лицо. Вот она с мужем. С детьми. В квартире. При мебели. Возле машины. И наконец — самый главный снимок жизни: она, и муж, и дети, около машины-куколки, на фоне новенькой дачки с балкончиком, с яблонями, вишней-клубникой, с клумбой на газончике, — хоть теперь в иллюстрированный журнал. Но напоминанием, предупреждением, беспокойным диссонансом — пустое место в углу снимка, где срезан уже дерн, раскопана земля, заготовлен шифер под кирпичный сарай, и машина уже нагружена где-то ворованным кирпичом, шофер выкручивает на проселочную дорогу, чтобы проехать неприметно, в потемках, и дата на обороте точно обозначила день, когда она, Зойка, бегом, задыхаясь, обмирая от страха, перетаскивала кирпи-

чи, чтобы не застучала милиция, совала шоферу в карман малые деньги, с удовлетворением ехала домой, спала без просыпу, намаявшись, а к утру не смогла подняться с постели, и не поднялась уже никогда. С этой кровати она глядела теперь, бедолага-Зойка, с последнего своего снимка, скряга-Зойка, чистюля-Зойка, на нестираной простыне голландского полотна, за которой давились в очередях, под изъеденным молью английским пледом, который достала с переплатой, сама посеревшая, увядшая, с глазами жалкими, в непросыхающей влажной пелене. Ушла из глаз корысть, успокоились ненасытные руки, и оставалось только наблюдать с унылой обреченностью, как покрывается пылью дефицитная мебель, спивается без присмотра муж, разбредаются из дома дети, продаются вещи, ржавеет машина, гниет дача... И не было в муже участия — сама отучила. Не было в детях сострадания — сама не привила. Не было в родне сочувствия — сама отвадила. Жизнь — ловушка. Хочешь прожить ее в свое удовольствие, без детей, забот, утомительных обязанностей, и ждет тебя под конец ничем не заполненное одиночество. Хочешь прожить ее для других, в кипении дел, в самоотдаче, но приходят молодые, которые тебя не понимают, и с ними приходит твое обиженное одиночество. Хочешь прожить ее для семьи, для детей, но дети уходят, узы ослабевают, и остается при тебе твое больное, бесильное одиночество. Под изъеденным молью английским пледом. На застираной простыне голландского полотна...

Дарья Павловна шагнула на балкон.

Ева встала с дивана, закуталась в платок, пошла следом.

Настя — за Евой, прихватив из вазы последние конфеты.

Кот-долгожитель поплелся следом на обмирающих лапах.

Встал в уголке на кучку песка, вздернул хвост, сгорбился, напрягся, стыдливо щурился на яркий свет.

Плыла над домом, над двором, над городом тихая похоронная музыка.

Деревья вокруг встали торжественно, склонив книзу верхушки.

Пропыленная за лето листва провисала без движения.

Белье на балконах опадало цветным трауром.

Ни шагов, ни машин, ни детских со двора криков.

Даже солнце спряталось за плотное облако, и было неясно, собирается ли оно оттуда выходить.

— Чегой-то грусть наводят, — сказала Настенька: рот полон конфет. — Не люблю я.

— Похороны, — объяснила Ева. — Умер кто-то.

Вышел на балкон Игнат Никодимов, прислушался, беспокойно завертел головой. Эта музыка ему не нравилась. Она его пугала. Она напоминала о несбыточных надеждах и неоплаченных счетах. Эта музыка его обижала и задевала лично. Растаскали по случайным людишкам торжественный номенклатурный обряд, трубят всякому не по чину.

— Играют, — сказал. — Деньги на ветер дуют.

Приковывлял следом Кирилл Викентьевич — красный еще, не остывший от разговора. Не глядел на Игната, прятал виноватые глаза, стыдился за бурную вспышку. Ева прижалась к нему, погладила по голове, нежно потерлась носом о нос. Его она любила. С ней было ему хорошо. Стояли, молчали, слушали музыку, наливались по горло скорбью.

— Вот бы, — мечтательно сказала Дарья Павловна, — балкон обвалился... Заодно и похоронят.

Настенька так и скакнула назад в комнату, крикнула оттуда, подавившись конфетой:

— Да чтоб тебе!.. Накличешь еще!

— А что? Все равно помирать.

— Мне помирать не к спеху, — Настенька поджала губы. — Деток нарожу, на ноги поставлю, обжечю, внуков нянчить стану.

— И правильно, — согласилась Ева. — Чего вам торопиться? Живите себе, нас вспоминайте.

— Я и живу.

— Животные! — завопила Дарья Павловна. — Инфузории! Протоплазмы-туфельки!.. И жить не живете, и помирать не умеете!

— Мне не нравятся ваши разговоры, — сказал Игнат строго. — О мертвых надо говорить с уважением.

— Да-да, — поддакнул Кирилл Викентьевич. — Вот именно.

Она всплеснула руками в горестном изумлении:

— Кирилл! Викентьевич! Ну что ты их боишься? Что ты все поддакиваешь?..

— Я, Даша, робею... — признался. — Перед должностными лицами.

— Чушь собачья! Какие они лица?! Приглядиись внимательно.

Тут он застеснялся опять:

— Зато, Даша, меня не боятся... Никто-никто.

— Нашел чем хвастаться.

— Я горжусь этим, Даша. Этого трудно добиться, чтобы тебя не боялись.

— Умница моя, — сказала Ева. — Какой ты у меня распрекрасный!

И прижалась к нему ласково. И схватила его за руку, переплела пальцы.

— Вы! — крикнула Дарья Павловна в лицо Игнату. — Вы меня не запугаете! Буду радоваться, когда хочу. И плакать, когда хочу. Так и знайте! Одна я и буду. Одна на всем свете!

И захохотала неживым смехом, как закричала спросонок ночная птица:

— Ха-ха-ха..!

И опять:

— Ха-ха-ха...

И опять...

— А я, — не попад сказала Настенька, — всех вас переживу. Вот увидите.

— И живите, — сказала Ева.

— На здоровье, — сказал Кирилл Викентьевич.

— Дуракам — всегда счастье, — завистливо сказал Игнат.

Снизу загудела машина. Властно, по-хозяйски.

Стояла у подъезда черная "Волга", мир отражала в промытых своих боках.

— Иду! — крикнул Игнат.

Но уже побежали по переулку мальчишки, любопытно оглядываясь назад.

Важно и неуклюже понесли венки.

Потом — красные подушечки.

Гроб без крышки.

Повели под руку женщину, простоволосую и трепаную, что причитала на одной ноте, тоскливо и жалобно.

За ней шел долговязый юнец, некрасиво морщил лицо.

За ними — густая толпа. Там плакали, сморкались, крестились украдкой, утирались платками.

Вдруг что-то застопорилось.

Все встали.

Засуетился распорядитель.

Покойник глядел вверх, запрокинув голову,

будто оглядывал напоследок окна и балконы, запоминал все, как есть.

— Ой, — сказала Настенька, — чего это он устался? Не люблю мертвых...

И ушла в комнату.

— Живых тоже не люблю, — сказала Дарья Павловна и ушла за ней.

Игнат ничего не сказал, ушел деловито следом. Покойник покойником, а у него — машина под окнами. У него — дела.

— Я поехал, — крикнул из коридора. — Кто спросит, буду к вечеру.

Встал перед зеркалом, огляделся придирчиво, дернул из носа волосок. К старости полезло из Игната дедовское, темное, кустистое, жуть-смуть, страхолюдство лешачье в облике, и он старательно прячет это, прикрывается привычной маской, не выходит из дома без проверки. Поморщился, погримасничал, разминая мускулы, но оставалась на лице неуверенность, плохо скрытая боязнь, не до конца успокоенная совесть. Чего-то еще не хватало для полного искупления. Чуть-чуть...

— Слышь? — подошла Настенька. — Чего скажу...

— Ну?

А она робко, как не она:

— Возьми, — попросилась. — К Маринке на свадьбу... Я с уголка, мешаться не стану.

Игнат сразу и не понял:

— Зачем тебе? Там ресторан — сами сготовят, сами и подадут.

— Да я — гостьей. Я с подарком...

— Настасья, — сказал весело, — рехнулась, дурочка?

— Возьми, чего тебе? — заныла. — Не объем, небось. Возьми, поглядеть охота... Не то реветь стану.

— На свадьбу? — протянул Игнат и вдруг опять

обрадовался новой своей доброте, и сказал с облегчением, с радостью, чувствуя, что откупился на сегодня, откупился полностью, в который уж раз уравнивал весы: — Ладно. Можно и тебя.

— Ох! — взвилась. — Ну, радость... Ну, спасибочки... Моя свадьба будет — тебя позову!

Под окном стоял гроб. Играла музыка. Плакали родственники. Но Игнат опять ничего не боялся. У Игната настроение поднялось. Бодрость появилась. Кровь заиграла. Мысли игривые.

Положил глаз на Настю: ноги крепкие, грудь высокая, зад тяжелый — баба в соку.

— Тебе сколько лет? — спросил со значением.

А она — тоже не без умысла:

— Сколько-нисколько, все мои.

— Ох, Настасья, попадешься ты мне под горячую руку...

— Больно испугалась, — захихикала. — Да я трех мужиков поборю...

— Шустра баба... Ладно уж, иди поешь.

Она и побежала по коридору, сотрясая стены, гулко загремела посудой.

Игнат опять встал у зеркала, взглянул на себя с удовольствием. Неуверенность на лице исчезла, боязнь улетучилась, и уже проявилась обычная неприступность в углах губ, в прищуре глаз, в морщинах нахмуренного лба. Все было у него в порядке. Можно выходить на улицу. Можно ехать по новым делам. Боль ушла. Страх смерти исчез. Искупление состоялось. Хорошо тому, кто попался ему сегодня. Плохо тому, кто попадет завтра...

Неслышно играли музыканты.

Беззвучно плакали родственники.

Не нарушали тишину причитания вдовы, просто-волосой и трепаной.

Покойник, не отрываясь, глядел на балкон.

Тень от листьев падала на мертвое лицо, шевелилась, переливалась зыбкими отсветами. Выражение на лице менялось непрерывно, и от этого менялось издали само лицо, становилось на миг пугающе знакомым, удивительно близким, будто в путаных ее старушечьих снах, куда приходили они изредка, почти неразличимые, — болтушка Саша, красавица Лера, чистюля-Зойка, Фаня Рабинович...

— Папа, — сказала Ева. — Пошли в комнату.

Но он ее не услышал.

— Да, — согласился. — Богатые похороны.

И она его не услышала.

— Обожрешься, матушка, — сказала Дарья Павловна на кухне.

— Погоди, — ответила Настенька. — Скоро рожу.

Ева вошла в комнату и вздрогнула...

Они были здесь!

Они надвигались со всех сторон: тьма, легион, несметные толпы.

Они окружали, обкладывали, нависали, наваливались невесомой тяжестью.

Они глядели на нее, невидимые. Думали. Решали. Оценивали в последний момент. Но не проявлялись в зримых образах. А может, и проявлялись, но на ярком дневном свете оставались неразличимы.

И она поняла: пора.

И решила про себя: нет!

— Если, конечно, вы просите... — сказала беззвучно. — Я слабая. Что я могу?

Они глядели на нее мудро и печально, беспощадно и жалеючи. Они одни знали по опыту, как тяжело прорываться через пелену, через липкую паутину, являя миру истинный свой облик.

И второй раз она сказала неслышно:

— Если вы, конечно, настаиваете... Я застенчивая. Я дикая. Год на улице не была...

А они молчали, они ждали терпеливо и настойчиво, как ждали когда-то другие их первого — наружу — шага.

И в третий раз она сказала:

— Если это, конечно, необходимо... Но почему я? Почему все-таки я?!

Но уже подошла к двери.

Встала.

Взялась за ручку...

Закружилась голова. Ослабли колени. Кровь каинула из носа. Слеза из глаза. На помощь! На помощь...

А они глядели ей в спину, подталкивали взглядами.

И те — на стульях.

И тот — за самоваром.

И подружки — со стен.

И только одна глядела ей в лицо.

Глазами в глаза...

... Фаня Рабинович, пуганая ее подружка, глядела на нее с двери единственной своей фотографией, и страх волнами плескался в ее глазах, словно до последнего момента она была не уверена, что же вылетит из аппарата: пуля или птичка. Она боялась не только фотографа, она всего боялась в жизни: страх неснимаемыми слоями закрывал лицо, ранней сединой пробивался в волосах. Первый слой — страх сорок девятого года, когда с разбойничьим посвистом гонялись за космополитами, и ее выгнали из редакции, не брали на работу, томили в предчувствии катастрофы. Другой слой — страх пятьдесят третьего года, когда сажали "врачей-убийц", приглядывались к ней на улице, прислушивались к выго-

вору, — "Рабинович? Ха-ха, Рабинович!" — когда шел уже упорный шепоток о спешно выстроенных бараках в далеком Биробиджане. Страх последующих, нестрашных вроде годов, когда жила она тихо, пугливо и незаметно, усыхала, уменьшалась в размерах... Те лагеря уходят в прошлое. Те ужасы потихоньку забываются. Те мученики остаются позади, в общем ряду мучеников, рассыпанных по истории. Но страх прилипчив. Страх накапливается в крови. Страх неприметно передается по цепочке. Чтобы вырваться однажды наружу в зверином вопле дебила, в истерии неврастеника, в изощренном садизме убийцы. И нет в нас наивности, нет простоты и неоглядного доверия: все выел страх... И большой черный рояль вечно будет лететь из окна на булыжник, падать тяжело и распластанно, вскрикивать коротко, всеми струнами, как ребенок в кошмарном сне...

— Папа! — крикнула Ева, неслышно и отчаянно.
— Папочка...

Но он услышал.

И приковылял поспешно, волоча увечную ногу, цепляясь за стол и за стулья.

Схватилась за него, как в детстве, зажмурилась, стиснула зубы и храбро шагнула через порог, через нелюдиму свою застенчивость, робость и испуг...

И остролицый щеголь улыбнулся слегка, ломая корку обгорелых губ.

И кривляка-горбун закивал быстро и одобрительно.

И юркий человечек, червяком на крючке, расслабился облегченно.

И обрубок в богатом камзоле успокоенно привалился к спинке стула.

И кто-то там, за самоваром: потухли огоньки в глухой степи...

Руки опять сцепились.
Цепочка замкнулась.
Мостик перекинулся.
Процессия тронулась...

Побежали мальчишки.
Понесли венки.
Красные подушечки.
Гроб без крышки.

Покойник глядел вверх, на балконы и облака, и тень от листьев меняла непрерывно его лицо.

За гробом толпой шли родственники.
Причитала трепаная, простоволосая жена.
Морщил лицо долговязый юнец.

Позади всех выступала торжественно, как на параде, сухонькая девочка-старушка в сером костюме английского покроя, глядела строго впереди и вверх, и под руку с ней — пухлый, водевильный старик на увечной ноге, что улыбался прохожим доверчиво и лучисто.

За ними переваливалась с боку на бок толстоногая, широкозадая дурочка: ревела в три ручья, умывалась слезами, неутешно сморкалась в рукав.

За ней ползла с тихим урчанием черная "Волга". Шофер развалился на сиденье: ни развернуться, ни обогнать. Рядом с шофером сидел по-хозяйски ответственный мужчина, глядел перед собой неприступно и значительно.

За ними за всеми широко и по-мужски отшагивала угрюмая старуха — старая карга, кривуля, корежина, ходячий вопросительный знак. Платье яростно завивалось вокруг бестелесных ног, руки оттягивало тяжеленными кошелками. Шла — изрыга-

ла неслышные проклятия, морщила в плаче лицо, плевалась по сторонам бешеной слюной.

— Люди! Подумайте о детях, люди! Подумайте о собственных детях, сволочи! Ваши дети захлебнутся в вашем дерьме! Жэ дэтэст! Жэ дэтэст!

Но ее никто не слышал...

Москва, 1974—1976 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

Дина и Маринка	5
Максим Никодимов	112
Ева и Игнат	233

**Отзывы на эту книгу
просим посылать по адресу издательства:
Possev-Verlag, Flurscheideweg 15
D-6230 Frankfurt a. M. 80**

Проф. С. Г. Пушкарев

Самоуправление и свобода в России

Известный русский историк описывает и анализирует развитие различных форм народного самоуправления в рамках и условиях свободы, существовавшей в ту или иную эпоху дореволюционного времени: в древней Руси, в Московском государстве XVI - XVII веков, в период империи. Далее излагаются взаимоотношения свободного самоуправления с революционными процессами и решениями вплоть до крушения нормального правопорядка и разгула антинародной большевистской диктатуры. Книга изобилует историческими и статистическими сведениями.

1985

176 с.

20 н.м.